

Вл. Крымов

**ПОРТРЕТЫ
НЕОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ**



Париж 1971



1878-1968

Вл. Крымов

**ПОРТРЕТЫ
НЕОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ**



Париж 1971

**Copyright
by B. V. Krymova**

Посмертное Издание

АВТОПОРТРЕТ

Я сын раскольника, мой отец до двадцати одного года помогал ловить неводом рыбу на одном из Мазурских озер, куда выселился, или вернее бежал из Карелии, мой дед Тихон Крымов с сотней рыбаков его артели, поселились в деревне Анфригово. Переселенцы были приняты исключительно любезно прусскими властями, знали этих староверов, как честных и хороших работников, прусский король освободил всех от военной службы на три поколения, полная свобода строить моленные с колоколами и право ловить рыбу во всех Мазурских озерах, рыба через торговцев шла в Кенигсберг и Берлин. Стали жить довольно зажиточно, хотя никто не знал ни слова по-немецки, и так до конца, до смерти не знали немецкого языка!

Ближайший городок оказался с удивительно русским названием Альт-Ухта и я посыпал туда человека, чтобы привезти метрическое свидетельство моего отца, у меня сохранившееся, родился он в 1841 году.

Дальнейшее совсем необычно, отец оказался отщепенцем, уехал в Россию, вернулся в русское подданство и крестился по православному обряду — чем он при этом руководился, могу только догадываться, полагаю что не только религиозными соображениями, но и карьерными. Моя мать, Молчанова, тоже из карельских староверов, влюбилась в молодого отщепенца представительной внешности, даже красивого, и под его влиянием тоже перешла в православие — это была семейная драма и для Крымовых, и для Молчановых. Все родственники без исключения оставались раскольниками, бабушка Молчанова, которую я совсем не помню, заболела с горя и быстро умерла. А мой отец купил себе шапо-кляк, может быть и фрак, стал чле-

ном городского клуба и был выбран в старосты православного собора в городе Динабурге.

Как решила молва, он был наказан за свое отступничество и умер от энцефалита в сорокалетнем возрасте, мне тогда было три года.

После смерти отца вдова-мать быстро беднела, все тратила на меня и успела дать мне высшее образование...

В 1901 году кончил с отличием Петровскую Академию, ныне Тимирязевскую, мое дипломное сочинение было напечатано на средства Академии, профессор Вильямс предложил мне остаться при нем ассистентом, но я пробыл очень недолго, вернее только номинально, и занялся большими коммерческими делами дальних родственников. Стал работать и в других больших акционерных предприятиях, потратил на это много энергии, о чем теперь очень сожалею.

В 1910 году умный и талантливый стариk А. С. Суворин узнал откуда-то о моих организаторских способностях и предложил мне управление его сложными делами, заключивши условие на пять лет и выдавши мне полную доверенность, какой не было ни у одного из его трех сыновей. Я переселился в Петербург, о чём давно мечтал, хотя предложенный мне оклад был меньше того, что я уже зарабатывал.

В то же время, занимаясь весьма сложными делами «Товарищества Новое Время», в 1913 году я решил издавать свой журнал, «Столица и Усадьба», совершенно нового типа для России.

Рассчитывал на верхний слой, на знатных и богатых, и им журнал понравился, сразу появилось много объявлений по высокой цене и уже на третий год журнал дал большую прибыль, а главное ввел меня в высшие круги России, к которым по своему происхождению я никак не принадлежал.

Журнал «Столица и Усадьба» любимое мое детище, погибшее в октябре 1917, и об этом больше всего жалею; журнал не был запрещен, мог все-таки продолжаться, но не было ни необходимой бумаги, ни красок, ни типографии, какая могла бы его печатать.

Уехал из Петербурга 11 апреля 1917 года по вполне легальному паспорту Временного Правительства, еще с двуглавым орлом, и никогда своей национальности не менял. Три раза вокруг земного шара, жизнь в разных странах, и наконец, с апреля 1933 года постоянно в Париже, а с июля того же года все в своем старом большом доме на берегу Сены в Шату, отдавшись всецело литературной деятельности.

Писал в газеты со школьной скамьи, не печатали, а я продолжал писать, но позже стали печатать и даже сплошь, и даже по высокому гонорару.

«СВЕРХЧЕЛОВЕК» НАИЗНАНКУ

Мы встретились впервые в 1896 году на первом курсе Петровско-Разумовской Академии. Он сразу выделялся своей внешностью среди других студентов. Русский и не русский, высокий, худой с вихлястой походкой, не то англичанин, не то скопец, без всякой растительности на лице.

Мы жили тогда в общежитии Академии. Он вошел, мы познакомились, и он прямо начал рассказывать какой он видел сон:

«...Громадное чудовище с несколькими головами, больше слона... а я веду его на цепи и нещадно бью плетьью... когда я проснулся, я понял что это чудовище толпа».

Этот коротенький рассказ сразу захватил меня, и я заинтересовался Поповым больше чем другими товарищами. Старался с ним сблизиться, но он тugo шел на сближение. Стороной я узнал, что он сын богатого купца, фабриканта-суконщика, что у них большой старый особняк в Староконюшенном переулке, на Арбате.

Очень хотелось побывать в этом доме, несколько раз намекал об этом Попову, но он делал вид, что не понимает моего желания, да и никто из товарищей у него дома ни разу не был. По отдельным фразам и намекам я понимал, что в доме очень мрачно, там лежит разбитый паралический отец, с которым он никогда не разговаривает, а если что нужно непременно, то посредницей является старая нянька, когда-то его вынинянчившая и теперь домоправительница. Ни слова об отце он никогда не говорил.

Попов не всегда ходил на лекции и часто не ночевал в общежитии. Где он пропадал, что он делал я не мог узнать, всякие прямые расспросы были бы бесполезны, он ответил бы только ироничной и даже обидной фразой, вроде того что «это никого не касается». У меня в то вре-

мя, к сожалению, тоже была неприятная манера говорить с иронией и даже иногда обидно, но я старался не обижаться на ответы Попова, так мне было интересно что-нибудь узнать о нем и вообще понять его, этого странного человека, выделявшегося среди других товарищей. В нем не было ни мягкости, ни душевности, никогда он не делал никому никаких одолжений, но тем не менее и другие почему-то интересовались им. Он окружал себя какой-то таинственностью, и в то же время трудно было понять, где только рисовка, а где настоящая оригинальность.



В первые же дни нашей совместной жизни в общежитии Попов привез большой ростбиф, необычайной величины, я видел потом такие только в больших ресторанах.

«Это моя нянька для меня готовит... прошу, пожалуйста».

Я сразу попал в кружок «белоподкладочников» богатеньких и знатных сынов, и у нас образовалась своя группа, почти все поселились в одном коридоре, который почему-то назывался теперь «Кобылинский проезд», по имени самого маленького по росту из нас, П. А. Кобылина, поступившего в Академию после того как он окончил филологический факультет в Петербургском университете. Профессор Незеленов предлагал ему остаться при нем для дальнейшей ученой карьеры, но Кобылин неведомо почему решил бросить филологию и поступил в высшее агрономическое заведение; до самого конца курса я так и не мог понять что общего у Кобылина с агрономией и естественными науками вообще, филология была ему гораздо ближе, и только много лет спустя я понял, почему он так сломал свою карьеру.

Ростбиф Попова был быстро уничтожен, но он сам демонстративно к нему не прикоснулся, точно подачку привез нам. В общежитии нас кормили сытно, но все-таки к вечеру у молодых желудков опять был полный аппетит и когда не было поповского ростбифа, посыпали нашего коридорного Хрисанфа купить десятка три яиц, клали их

в большой чайник, заливали кипятком из «куба», постоянно кипящего котла, и с аппетитом съедали эти полусырые яйца. Иногда покупалась бутылка водки, но ни Попов, ни я водки не пили.

**

Один из товарищей, из семьи колокольных ярославских фабрикантов, Дмитрий Оловянишников, еще меньше Попова ходил на лекции и с первого же курса его исключили, так что ему потом пришлось вновь держать вступительные экзамены и уже по-настоящему признаться. Дмитрий О., Димка, говорил только о женщинах или о декадентской литературе. Литературу он знал очень мало, но гонялся за всеми новинками и с восхищением говорил о каких-то новых сумбурных произведениях.

Это было на первом же курсе, когда Димку еще не выгнали из Академии за провал на экзамене, он как-то приехал из Москвы и рассказал что вчера вечером был в цирке Саламонского. В цирке Саламонского избранное общество бывало только по субботам, тогда в первом ряду почти сплошь были мундиры военных, лицеистов и несколько из нашей компании. Я бывал тут редко, у меня не было для этого денег, но большинство моих товарищей были богатые, богатым был и Попов, хотя мы никогда не знали сколько у него денег, он намеренно о деньгах не говорил, точно относился к ним с презрением. Прежнюю Петровскую Академию правительство считало революционным гнездом, среди высших учебных заведений того времени она действительно была самой левой, зачинщиком всяких забастовок и борьбы с правыми профессорами. Короленко учился в тогдашней Академии и оставил о ней интересные записи. Как известно, Академия была закрыта и преобразована с таким расчетом, чтобы привлечь сюда сыновей богатых помещиков, и на вступительном конкурсе предпочтение отдавалось сыновьям землевладельцев, плата была четыреста рублей в год. Преподавание было обставлено с удобствами, аудитории были настолько большие, что никогда не бывали переполнены; нас тогда было всего триста с небольшим студентов. На-

сколько хорошо было оборудование и размеры аудиторий видно хотя бы из того, что через десять лет в Академии было уже две тысячи студентов, а теперь при Советах больше четырех тысяч.

Так вот Димка рассказал, что теперь у Саламонского замечательно интересная молоденькая наездница, румынка, или венгерка, красавица Регина, и вчера он видел как после окончания представления уехала с Поповым в его шарабане. Попов всегда ездил в шарабане, когда мы на паровичке приезжали из Петровско-Разумовского на Бутырскую Заставу, Попова всегда ждал шарабан с рысаком, и никогда никого из товарищей он с собой не приглашал, хотя иногда оставлял кучера ехать домой на конке, сам брал вожжи и куда-то уезжал со своим клетчатым английским плэдом, постоянным его спутником.

У Димки была какая-то редкостная палка, с резным набалдашником из слоновой кости, по его словам она принадлежала какому-то Папе, эта палка нравилась Попову. Как раз во время рассказа Димки вошел Попов и в первой же фразе предложил Димке:

«Хочешь поменять Регину на палку?»

Мы удивленно слушали. Димка сразу согласился, но выразил сомнение, как же это Попов может распоряжаться Региной, даже если она его любовница.

«Это тебя не касается» — сказал Попов — «отдай палку Кобылину, а я дам тебе записку и через два дня, если Регина не будет твоей любовницей, ты получишь палку обратно, а если будет, то я ее получу...»

Через два дня выяснилось, что палка перешла в собственность Попова, а Димка с восхищением рассказывал о Регине:

«Дивная женщина, бархатное тело, только злющая... и что поразительно, она действительно любит Попова, я уверен в этом, она сделает все что он ей прикажет... ему стоит пальцем двинуть она к нему придет обратно».

Попов ровно ничего по поводу этого инцидента не говорил, как будто это его вовсе не касалось.

У каждого была своя комната и часто ходили один к другому, подолгу болтая, мало о лекциях, меньше всего о политике и больше всего о женщинах. Каждая комната запиралась на ключ, но у коридорного был общий ключ, которым он мог отворять любой номер для уборки. Попов приделал к своей двери дополнительный замок, и его комнату коридорный отворять не мог и насколько я помню, за все годы совместной жизни в общежитии, я ни разу не был в комнате Попова и даже не знал было ли там мягкое кресло и умывальник, как завел Кобылин и ему некоторые последовали. Умывальная была общая в каждом коридоре, но у некоторых были теперь свои умывальники и мягкие кресла, купленные за свой счет (у меня не было ни того ни другого, мне тоже хотелось, но не на что было купить). Во всем общежитии было четыре двойных номера, предназначавшихся для двоих, один из них нанял для себя одного Гришка Стакеев и обставил своей мебелью, и у него в комнате особенно часто собирались — но это продолжалось недолго, при переходе на второй курс его исключили, он нового вступительного экзамена не держал, и мы потеряли с ним связь, он уехал в свою родную Елабугу и был расстрелян большевиками после октябрьской революции.

Подымает вспомнить, что его дядя проиграл в Монте-Карло несколько миллионов золотых рублей и был потом единственным пенсионером Казино, до смерти получал эту пенсию и как-то говорил мне:

«Вот как умно поступил, не проиграл бы миллионов, все отняли бы большевики и был бы нищим теперь, а так вот живу, да еще в таком благодатном месте как Монако...»

Ему запрещено было играть в Казино, под угрозой лишить пенсии, но он нередко совал кому-нибудь из знакомых монетку и просил поставить за него на такой-то номер.

Иногда мы играли в карты, только в азартные игры, и накрупно; в долг и на запись играть не разрешалось. Мне всегда хотелось играть, всегда не было денег и жила надежда что вот вдруг выиграю в карты десять-пятнадцать рублей; но чаще проигрывал последние два рубля.

У Попова всегда были деньги, но он никогда в карты не играл и, подходя к столу игравших, иронически улыбался или делал какой-нибудь презрительный жест.

**

Как-то мы шли с Поповым в Москве по Кузнецкому, о чем-то говорили и он вдруг остановился у витрины антикварного магазина.

«Замечательная чашка» — сказал он — «зайдем...»

Зашли в магазин и не торгуюсь он купил эту чашку, заплатил довольно дорого, не помню сколько, тогда для меня это были очень большие деньги. Чашку завернули в изящный пакетик и мы пошли дальше. На углу Петровки встретили какую-то знакомую даму Попова, явно случайно.

«Вы любите фарфор?» — спросил Попов обращаясь к ней. Дама ответила что-то неопределенное, была удивлена этим вопросом, а Попов протянул ей пакетик:

«Вот вам маленький подарок, замечательная чашка».

И больше ничего, мы пошли дальше. Я знал, что бесполезно спрашивать у Попова мотивы его поступка, он все равно ничего не скажет, но потом я долго думал об этой чашке. Давая тогда маленькие репортерские заметки в газеты «Курьер» и «Московские Ведомости», я получал за них то рубль тридцать копеек, то рубль семьдесят, и очень дорожил этим заработком, а он покупает зачем-то чашку за 30-40 рублей и отдает ее первой встречной даме, неизвестно почему, он сам потом сказал, что видел ее до этого только один раз и что она бывше не годится для «сексуальных коллизий...»

В другой раз с кем-то из товарищей по Академии я был в одном из увеселительных садов Москвы с открытой сценой, в Каретном ряду (там потом были первые спектакли Московского Художественного Театра до переезда в Камергерский переулок). В этот день известный в то время французский авиатор Жильбер должен был подняться из этого сада на аэростате с двумя пассажирами. У площадки, где надували воздушный шар, мы встретили Попова, оказалось что он один из пассажиров Жильбера!

Они действительно полетели, спустились где-то верст за пятьсот от Москвы, причем их сильно потрепало, когда шар снизился. Корзину долго волокло по полю, она цеплялась за кусты и плетни, балласта, мешков с песком, уже не было, но в конце концов крестьяне ухватились за гайдроп и остановили шар. А Попов приехал потом в общежитие Академии с повязками и говорил, что непременно полетит еще раз...

Попов занимался только перед экзаменами. Тогда он запирался у себя в номере, облагался книгами и зубрил день и ночь.

В течение пяти-шести дней он впитывал в себя весь годовой курс и экзамены всегда выдерживал. Через неделю он забывал все, что знал. Разумеется не все — кое-что оставалось. О нем составилось мнение, что он исключительно способный человек. Способный и в высшей степени странный.

Брат Попова, студент Московского Университета, старше его, женился на их коровнице. Громадная расплывшаяся баба, безобразная, с большущими грудями. Этот брак был для нас всех загадкой.

Попов его оправдывал и находил, что она прекрасная женщина и что брату именно на ней надо было жениться.

«Неграмотная, грязная, старая баба — как ты можешь это оправдывать?» — попробовал я как-то сказать Попову.

Попов ответил резко:

«Только ограниченные умы интересуются такими деталями — дело совсем не в этом, тебе не понять».

Этой неграмотной коровнице боялся не только ее муж, но как будто и сам Попов. Он возил ей подарки и ездил к ней советоваться по каким-то делам. В то же время мы знали, что Попов влюблена сейчас в какую-то баронессу, утонченную женщину, известную в Москве. Я старался узнать кто это, как ее фамилия, но на все вопросы Попов отвечал уклончиво. Он нарочно окружал себя тайной. В этом он видел особое удовольствие.



Несмотря на его замкнутость, мы постепенно сближались. Он был поклонник Ницше — я тогда тоже. Мы понимали его мышление не совсем так, как он этого хотел и главное для нас было в том, что мы не с толпой, не с мнением большинства, а какие-то особенные... Мы вместе выписывали журналы по философии и психологии, но кажется читал их только я, а Попову всегда было некогда и он говорил о каждой статье почти презрительно: ничего нового, он давно все это знает. Он предложил мне издать за его счет по-русски какой-нибудь мой перевод с французского, понятно не роман, а что-нибудь «ценное и важное». Мы вместе поехали к университетскому профессору Фортунатову и расспрашивали его, какую книгу по социальным вопросам наиболее интересно перевести на русский; при этом Попов определенно намекал, что книга должна быть левая, революционная, будет запрещена цензурой, но именно потому и интересно ее издать, если не в России, то заграницей. Фортунатов направил нас к своему ассистенту Випперу и посоветовавшись с ним, мы выбрали книгу Бабефа, самого крайнего революционера. Цензура ее понятно не пропустила бы. Я стал ее переводить, но уехал очень недалеко, мое знание французского языка было слабо даже для перевода такой книги, все время лазил в словарь и советовался с Кобылиным.

Как-то Попов дня три не появлялся в общежитии, неизвестно где пропадал.

«Где ты был?»

«Охотился на тигров» — без всякой улыбки ответил Попов.

«Не говори ерунды...»

«Не ерунда, что я говорю — говорю, и в Москве можно охотиться на тигров и если ты этого не понимаешь, тем хуже для тебя... охота очень опасная, но в этом ее прелесть» — закончил Попов.

Потом, много позже, я понял о чем он говорил. Не будучи никаким революционером, совершенно безразлично относясь ко всяким социальным вопросам и программам, Попов нарочно, ради сильных ощущений, сблизился с кучкой революционеров, вероятно эсеров, вероятно с террористической группой и в чем-то им помогал.

У Попова был товарищ по гимназии Федя Г., теперь наш студент, племянник генерала Соболева, командующего войсками Московского военного округа. Соболев был ближайшим человеком к великому князю Сергею Александровичу, и Федю Г. приглашали на балы в доме генерал-губернатора. Попов на этих балах не бывал, но весной когда дядя Феди Г. переезжал в лагерь, они оба жили в громадной квартире чуть не в тридцать восемь комнат, на Спириidonовке, полагавшейся командующему войсками.

Однажды, на последнем курсе, под каким-то предлогом я зашел к ним. На звонок вышел Попов, сам отворил дверь. Он был совершенно голый с черным маленьkim галстуком на шее. В таком же костюме был Федя Г.

«Умеешь стрелять?» — вместо приветствия спросил Попов.

«Стрелять... нет я не люблю. А где стрелять, почему стрелять?» — недоумевал я.

Меня провели в следующую комнату, большую залу. В одном ее конце стояла мишень, приkleенная к пустому ящику, и был сильный запах порохового дыма. На столе лежали разные револьверы и пистолеты.

«Почему вы оба голые?»

«Жарко, во-первых, а во-вторых так удобнее стрелять» — ответил Попов. Не обращая дальше на меня внимания они стали продолжать стрельбу. Я вообще не любил стрельбы, мне был неприятен гром выстрелов, и я поскорее ушел.

Это было уже на четвертом курсе, весной, экзамены уже кончались, но мы оставались для практических занятий на полях, в лесу и в био-химических лабораториях. Хотя я несколько раз упоминаю, что на лекции не всегда ходили, но все-таки в специальных высших учебных заведениях, таких как Академия, работать так или иначе приходилось, в противоположность тому что делалось, скажем, на юридическом или филологическом факультетах, где бездельничали.

Как раз против дверей моей комнаты в коридоре была дверь студента Каянуса, мы с ним только здоровались, но никогда не разговаривали, да и ни с кем из других студентов он, кажется, дружен не был. Каянус исправно ходил на лекции и практические занятия и ничем не выделялся кроме своей необщительности. Мы знали, что он сын начальника Привислинских железных дорог, живущего в Варшаве, и только.

Я выходил из своего номера, чтобы идти завтракать в столовую, когда раздался оглушительный выстрел. Было явно, что в номере Каянуса. Я бросился к двери, но она была заперта изнутри, прибежали еще двое-трое и мы большим поленом выбили нижнюю филенку двери, отворили запор и вошли. На полу лежал в луже крови мертвый Каянус, из груди около сердца клокотала кровь. Рядом валялось охотничье ружье и какая-то необструганная палочка. Немедленно прибежал инспектор Академии Ф. Г. Правосуд, доктор медицины. Вызывать других врачей было бесцельно. Каянус был мертв. Помню, что его отцу немедленно послали телеграмму в Варшаву и отец ответил, что на похороны сына он не приедет, хороните как хотите, расходы верну...>.

Весь этот день только и говорили, что о самоубийстве Каянуса и между прочим об этой палочке. Коридорный Хрисанф рассказывал, что эту палочку он как-то выкинул в окно, полагая, что Каянус ее нечаянно занес к себе в номер, просто неочищенный кусок ветки, но Каянус принес ее обратно, и теперь он ею нажал курок, приставивши дуло ружья к сердцу.

Наутро по всему общежитию стало известно, что покончил самоубийством другой студент, Маркович, тоже мой однокурсник. Маркович отравился цианистым калием, который легко мог достать в лаборатории.

В общежитии стало какое-то тревожное настроение, и когда к вечеру сообщили, что на краю парка повесился еще один студент, из левых, живших на третьем этаже, его я совсем не знал, наш директор Рачинский растерялся и предложил всем, кто может уехать временно из общежития и даже давал свои деньги на дорогу у кого их не оказалось. Практические летние занятия были приостанов-

лены. Было еще и четвертое самоубийство, о котором мы так и не узнали подробностей, даже инспектор Правосуд, такой общительный и товарищески настроенный, не хотел ничего сказать.

Причины самоубийств тоже оставались невыясненными, и я только догадывался отдельно для каждого случая.

Когда узнали о третьем самоубийстве, о повесившемся, приехал из Москвы Попов. Он вошел ко мне в номер и сказал:

«Если я буду кончать самоубийством, то понятно застрелюсь, это гораздо красивее чем принимать яд и потом умирать в конвульсиях или висеть на дереве с высунутым языком...»

Потом еще добавил:

«Как глупо, что самоубийцу непременно стараются спасать и даже считают самоубийство преступлением... Во всяком случае человек вправе распоряжаться собственной жизнью и нечего вмешиваться и мешать ему. Хочешь умирать — умирай».



Во время государственных экзаменов, Попов и Федя Г. жили на квартире Соболева.

К Соболеву позвонил по телефону начальник московской жандармской полиции генерал Шрамм и встревоженно сообщил ему следующее:

«Ваше превосходительство, у вас в квартире помещается склад прокламаций и другой нелегальной литературы и даже оружие боевой группы социал-революционеров».

«Что за абсурд» — рассердился Соболев.

«К сожалению, Ваше превосходительство, это совершенно точно... Мы давно уже имели об этом сведения, но я не хотел этому верить. Вчера во время отсутствия вашего племянника и его товарища, в вашей квартире были наших два переодетых жандарма, под видом монтеров телефонной станции. Они вскрыли несколько больших чемоданов и у меня в руках имеются образцы взятой оттуда литературы...»

Соболев разъяренный, стремглав примчался в Мос-

кву. Все оказалось совершенно верно. Произошло бурное объяснение с племянником и Поповым. Попову было приказано немедленно уехать из Москвы заграницу, а Федя Г. скрылся где-то в имении родственников.

**

Попов диплома не получил, но это его видимо никак не беспокоило, года три я ничего не знал о нем и потом встретил его где-то заграницей в одну из своих поездок, кажется на юге Франции. Помню, что я получил от него открытку из Турингии, в которой было только несколько слов по-немецки: — «аллейн, аллейн, эвиг аллейн...» При этой встрече он рассказал мне, что года два прожил в Мюнхене, слушал лекции в университете, но какие лекции, на каком факультете, было неясно. Зато интересно было другое. Он показал мне несколько номеров мюнхенских газет, где о нем писали. Видимо у него были еще деньги, потому что в Мюнхене он завел свои выезды, чуть ли не беговую конюшню. По полицейским баварским правилам нельзя было обгонять выезды высочайших особ, членов королевского дома, а Попов нарочно это делал — в первый раз это ему прошло безнаказанно, но потом его привлекли к ответственности и в газете был отчет суда, его приговорили к какому-то штрафу.

У него в Мюнхене была молодая красивая сожительница, она жила с ним в одной квартире и о ее сексуальности Попов рассказывал очень пикантные подробности, которые, к сожалению, неудобны для общей печати, но могли бы полностью войти в одну из глав сочинений Крафт-Эбинга.

Попов с удовольствием вспоминал об этой своей сожительнице, где она теперь он не знал и вообще это была его манера, после тесной близости вдруг все прервать и даже никогда не переписываться. Он вспоминал о ней с удовольствием, хотя из-за нее ему пришлось уехать из Мюнхена. Она, выдавая себя за жену Попова, набрала в мюнхенских магазинах, особенно у ювелиров, на большую сумму и когда к Попову стали поступать требования уплаты за жену, оказался долг чуть ли не в 150.000 марок. Или

у него не было уже таких денег, или просто он не хотел платить, но бросивши все, обстановку квартиры, лошадей, Попов уехал из Баварии...

**

Вновь напомнил он мне о себе необычайным письмом — письмо было из Петропавловской крепости!

Оказалось, что поверивши каким-то газетным сообщениям, Попов вернулся в Россию с решением ехать добровольцем на японскую войну. В этих газетных сообщениях говорилось, что революционеры находящиеся в эмиграции, могут возвращаться в Россию прощенными, если они пойдут на войну. Попов приехал в Верхболово с большим сундуком-шкапом, с несколькими специальными кожаными картонками и баулами, в которых между прочим было два цилиндра, черный и серый, и еще шапо-кляк, его тут же арестовали жандармы и через несколько дней он оказался в каземате Петропавловской крепости — это были отзвуки его московской жизни. Видимо генерал Шрамм оставил нужную папку о Попове. Письмо Попова из крепости было удивительно и неподражаемо. На двойном листке сверху на первой странице была дата и два слова:

«Дорогой Володя» — и дальше вся страница чистая. Интересно отметить, что мы всегда звали друг друга по имени отчеству, хотя и на ты, он был Николай Евграфович, а я Владимир Пименович, и тут в письме он впервые называл меня Володей.

Чистой была и вторая страница, и третья и только на четвертой внизу было две-три строки.

«Ты понятно прочтешь то, что я пишу, а они (он разумел жандармов) пусть пробуют какими угодно реактивами, ничего не прочтут. Твой Николай Попов».

Чистые страницы письма были измазаны вдоль и поперек разноцветными реактивами, видимо над этим письмом перлюстрация крепости усиленно работала, но действительно ничего не прочли, так как там и читать было нечего, Попов просто издевался над жандармами, и я только удивлялся, как это письмо дошло, почему жандармы позволили издеваться над собой. Мне потом пояснил один

из знающих чинов полиции, что по закону письма заключенных должны непременно доставляться адресатам, если в них не обнаружено ничего противозаконного, а на чистых страницах письма действительно ничего противозаконного не было!

**

И опять я долго не знал, что с Поповым. Кто-то сообщил, что по каким-то ходатайствам высокопоставленных лиц он освобожден из крепости и уехал добровольцем на японскую войну, а через некоторое время в газете «Русь» стали появляться очень интересные корреспонденции с фронта за подписью «Кириллов», и тоже кто-то сказал, что Кириллов и есть Попов. Только позже я понял, почему он взял себе такой псевдоним, очевидно имел в виду Кириллова из «Бесов» Достоевского. Газету «Русь» издавал тогда старший сын нововременского Суворина, Алексей, он поссорился с отцом.

Как сблизился Попов с Алексеем Сувориным я не знаю, но он оказался корреспондентом газеты на русско-японском фронте, и его корреспонденции тогда отмечались и перепечатывались другими газетами, и русскими и заграничными. О его поведении на фронте рассказывал потом мне и он сам, и можно было бы отнести к этим рассказам с некоторым недоверием, но подтверждали и другие знавшие его на войне.

Один из офицеров рассказывал мне:

«Попов проявлял какую-то безумную, необычайную, глупую храбрость. Он всюду лез на передовые позиции под обстрел...

Я его, понимаете, уговариваю уходить, сидим на открытой скале, японцы обстреливают нас пулеметным огнем, пули свистят, из восьми пушек батареи осталась одна, весь состав убит или ранен, а он говорит — надо раньше позавтракать... Начинает умышленно, небрежно и медлительно распаковывать свой чемоданчик и вынимает оттуда консервы. Взял в руки коробку сардинок, а в это время, дзинь, пуля пробила ее и масло потекло ему на колени... Я вскочил, чтобы убегать, а он опять говорит — позвольте, куда вы, надо же съесть сардинки — и начи-

нает спокойно открывать ключем коробку, но не успел открыть как был ранен навылет в грудь и упал. Мы с оставшимися тремя солдатами стащили его вниз, где были еще живые лошади и тут он очнулся.

«Что... я кажется ранен... Пустяки... Поедемте в лазарет...»

Несмотря на наше сопротивление, он сел верхом на лошадь, просил его подсадить, и поддерживаемый сбоку солдатом, доехал до перевязочного пункта.

Когда ему тампонировали рану, Попов вдруг спросил: «Где мой несесер?.. Я сегодня еще не чистил зубы».

Он потребовал, чтобы ему дали зубную щетку, вычистил зубы и впал в бессознательное состояние.

По приговору отряда, где был Попов, ему был присужден Георгиевский солдатский крест, но высшее начальство этого назначения не утвердило, зная видимо его прошлое».

**

Попов вернулся с войны в Петербург. «Русь» в это время нуждалась в деньгах, как и с самого начала. Попов дал Алексею Суворину сколько-то денег и стал совладельцем газеты, и редактором, так как сам Алексей Суворин в это время уже мало интересовался газетой.

Попов жил где-то на Кирочной. Я помню одну из комнат: большой зеленый бархатный диван-тахта, мягкий ковер на полу и против дивана зеркало во всю стену. Курительный столик — трубки для курения опиума, кальяны, еще какие-то необычайные курительные приборы.

«Что у тебя здесь, место для оргий?»

«Оргия слово неподходящее — ответил Попов — «красота жизни заключается в отклонениях от нормального и вся жизнь есть оргия».

«Пригласи меня как-нибудь».

«К сожалению, это невозможно, ты слишком нормальный человек».

Одним из более частых гостей Попова в это время был сиамский принц, воспитывавшийся в Пажеском корпусе. Его часто видели вместе с Поповым на скачках и в

ресторанах. Ходили слухи о том, что происходит у Попова на Кирочной; называли поименно еще нескольких лиц.

Этот сиамский принц потом женился на русской и уехал в Сиам, как наследник престола. Будучи в 1929 году в Сиаме, я узнал, что он умер вскоре после приезда, а его русская жена куда-то уехала, не то в Европу, не то в Америку...

Я горел тогда стремлением стать известным журналистом, войти в какую-нибудь газету. Говорил об этом с Поповым. Он предложил мне стать совладельцем «Руси». Я слышал что у «Руси» дела плохи, тираж падает и нет больше денег.

«Ты можешь мне показать ваши бухгалтерские книги?»

«У нас нет книг» — ответил Попов. «Я тебе так скажу все что надо».

«Какой у вас тираж?»

«Около шестидесяти тысяч».

«Не меньше?.. Говорят, что у вас тираж за последнее время сильно упал».

«Ты знаешь, что то что я сказал, то сказал — тираж шестьдесят тысяч».

«Я хотел бы видеть вашу типографию ночью, во время выпуска газеты».

«Хорошо, поедем сегодня ужинать к «Медведю» и оттуда в типографию».

Так и сделали. Приехали в типографию во втором часу ночи. В редакции было пусто и полутемно. Стол в кабинете Попова был завален гранками и полосами газеты. Он взглянул на них, сделал какие-то отметки синим карандашем и мы пошли в типографию.

Полуцилиндры стереотипов были уже наложены на валы машин. Через минуты две начали печатать. Заведующий типографией подошел к Попову и под гул машин что-то стал говорить ему. Я, отойдя от них, спросил мимоходом печатного мастера у машины:

«Когда кончаете печатать?»

«Без четверти три».

Прикинувши скорость машины и время печатания, все-

го час с небольшим, я понял что Попов лгал — тираж был меньше тридцати тысяч...

Попов сразу понял в чем дело. Он оставил заведующего типографией, быстро подскочил ко мне и сказал резко:

«Это холопский поступок...»

«Эпитет для твоего поступка подбери сам» — ответил я, и направился к выходу. Попов пошел за мной, остановился в коридоре на полдороге и бросил мне вдогонку еще что-то, чего я не рассышал.

Казалось бы что после такого случая мы навсегда станем чужими и больше никогда не встретимся, но меня бессознательно влекло к этому необычному человеку и я тоже был почему-то всегда интересен Попову — мы снова встретились, но прошло много лет...

**

Газета «Русь» давно кончилась. В Петербурге говорили, что Попов совершенно разорен и что он куда-то скрылся. Я тогда не жил постоянно в Петербурге, только приезжал время от времени.

Вдруг в газетах появилось сообщение, что русский авиатор Попов совершил полеты над Петербургом на аэроплане Райта.

Полеты состоялись. В присутствии царя с аэродрома около Новой Деревни Попов поднялся на аэроплане Райта, пролетел над городом, сделал круг над Исаакиевским собором и благополучно вернулся. В то время это была сенсация, невиданное зрелище. Это был первый полет в Петербурге. Как известно в 1903 году братья Райт делали свои первые пробные полеты на построенных ими аэропланах во Франции; тут после русско-японской войны Попов познакомился с ними и получил один аэроплан для полетов в России — заплатил ли он за него Райтам или нет, я из разговоров с Поповым выяснить не мог.

После полета Попов был позван в ложу царя. Царь подал ему руку и благодарил его.

Через некоторое время были приобретены первые

аэропланы для Военного Ведомства и Попов был сделан инструктором Красносельской Авиационной школы.

Месяц или два он учил офицеров летать, а затем, как сообщили газеты, во время одного из полетов разбился насмерть.

Первые сообщения оказались неверны — Попов был только тяжело ранен. У него была переломана рука, несколько ребер и череп дал трещину. Было установлено тяжелое сотрясение мозга и полтора месяца он пролежал в больнице, не приходя в сознание.

Около его постели оказалась каким-то образом великая княгиня Анастасия Михайловна, сестра Сергея Михайловича. Она дежурила тут по целым ночам, газеты печатали бюллетени о здоровье Попова и ежедневно звонили из Царского Села и справлялись о Попове.

Когда Попов наконец несколько поправился, то оказалось, что он совершенно потерял память. Он не только не помнил момента катастрофы, но забыл всех своих родных и знакомых, забыл иностранные языки, разучился писать по-русски и должен был наново узнавать названия разных предметов.

Великая княгиня увезла его на Ривьеру в Канны и поселила у себя на вилле.

На этой вилле Попов прожил лет десять. Я ничего не знал о нем. Говорили, что он помер. Другие рассказывали, что он жив, но стал совсем ребенком, что он еле ходит.

Уже во время войны я вдруг получил от него письмо, писанное каракулями, точно ребенком.

«Дорогой Володя, я очень виноват перед тобой, прошу простить меня. Я сейчас больной человек и сильно поглувел...»

**

Опять долго я о Попове ничего не слыхал. Но в 1927 году, живя в Монте-Карло, я узнал что какой-то русский, Попов, служит стартером на гольфе в Манделье около Канн.

Я навел справки — оказался он, Николай Евграфович Попов. Написал ему письмо, звал его приехать, но он от-

ветил, что служит сейчас лакеем и ему как лакею отлучаться нельзя!

Мы с женой поехали к нему в Манделье.

К нам подошел высокий, худой, загорелый, совсем не русский человек в длинном пальто и в теплом вязаном кашнэ.

«Чем могу служить?» — спросил он.

«Попов, это ты?»

«Володя. Вот не узнал. Я рад тебя видеть. Я служу тут лакеем, то-есть не лакеем, а стартером, но это одно и то же. Я лакей богатых».

«Я слышал о тебе, что тебя тут все знают и все очень любят».

«Я глупый, глупых любят».

Он повел нас на гольф. Просил подождать пока ему можно будет уйти со службы. Подходившие англичане и американцы приветливо окликали его — «алло, Попов... как поживаете».

Видно было, что к нему относятся не просто как к стартеру, а что знают его странное прошлое, что около него ореол загадочности.

Иностранцы вообще ищут в русских какой-то загадочности, необычайности, вспоминают «Бесы» Достоевского, но за Поповым действительно было странное прошлое, уже хотя бы то, что он лет десять был сожителем великой княгини Анастасии Михайловны, гостил при Датском Дворе, а раньше, сын миллионера, как-будто был революционером, это знали на гольфе.

В самом имени «Попов» для игравших на гольфе было что-то интригующее. Для иностранцев, особенно для французов, русская фамилия Попов сделалась чем-то нарицательным, и это одна из немногих русских фамилий которую иностранцы при всем желании никак не могут перевратить, переставивши ударение и совершившись ее исказив, Попов остается Попов.

Я пробовал когда-то спрашивать Н. Е., откуда у него такая фамилия несомненно духовного происхождения, но он говорил, что его предки никак его не интересуют и никаких духовных лиц — родственников — он не знает, и

вообще для него ценные интересные люди, но не родственники...

**

Он забрал с собой два чайника, сахар, меду, банку варенья, еще какой-то большой, мягкий пакет и мы пошли к его дому.

«Варенье варит мне брат... Я брата выписал из России, его жена померла, помнишь ее? Варенье он варит превосходно. Вы непременно должны попробовать».

До его дома было довольно далеко. Нас перегоняли автомобили и из нескольких Попову кричали:

«Алло, Попов... Гудбай, Попов...»

Один Пакар остановился и предлагал подвезти нас, но мы пошли пешком.

«У тебя тут много знакомых».

«Да. Я глупый, глупых любят».

«Что это у тебя в пакете?»

«Это мне сегодня еще два пиджака подарили... Мне англичане много пиджаков дарят и другой одежды... У меня пар тридцать было, я раздаю».

«Сколько ты получаешь жалованья?»

«Жалованья мало, семьсот франков в месяц... Но на чай дают англичане, американцы, большие англичане».

«Сколько же тебе дают?»

«Иногда сто франков, иногда пятьсот, а вот тут есть один англичанин, так вот он мне дал две тысячи на чай... Маршал Хэйг очень тепло ко мне относится, делает мне подарки».

Мы подошли к маленькому двухэтажному домику на окраине. Вошли внутрь. В одной комнате некрашеные табуретки, в другой превосходная мебель.

«У тебя хорошая мебель. Ты меблированный дом заарендовал?»

«Нет, он был пустой. Это дом почтальона. Я когда женился нанял этот домик, но забыл что он без мебели. Мы с женой приехали — нет ни стула, ни кровати. Сидели и спали на полу первые дни. Потом я послал телеграмму датской королеве и попросил, может быть она мне одну комнату отдаст из своей виллы, у нее в Канн вилла».

«Каким образом ты мог послать телеграмму датской королеве?»

«Она меня очень любит. Мы у нее жили как-то в Копенгагене восемь месяцев с великой княгиней... Она телеграфировала, чтобы мне дали мебель, а потом вот эти табуретки докупили».

«Значит ты женат, я этого не знал».

«Я второй раз уже женат, только мы разошлись с женой. Мы то-есть не разошлись, не поссорились, а решили что лучше жить порознь... Она ко мне иногда приезжает».

«А где же твоя первая жена?»

«Моя первая жена была очень богатая, американка... После смерти великой княгини я был очень болен, поехал в Швейцарию в санаторию, знаешь там, где голые ходят... Там была одна американка тоже. Говорили что она не совсем нормальная, но это неправда. Интересных людей всегда зовут ненормальными... Мы с ней много говорили, читали вместе и даже говорили о том, чтобы пожениться, но потом решили, что лучше не надо... Один раз ночью она стучит ко мне в дверь, я уже спал, и говорит: Николай Попов, я решила, я должна выйти за вас замуж... Ну, мы назавтра и повенчались... Прожили мы с нею больше года. Я ездил к ее родителям в Америку. У них там дворцы... Потом мы решили с ней, что нам лучше разойтись».

«Она оставила тебе деньги?»

«Нет, я отказался... Мы с ней переписываемся часто».



Попов уговаривал нас чаем. Ничего больше кроме хлеба с вареньем не оказалось. Обстановка была необычайная.

«Тут наверху живет художник Стелецкий... Еще брат тут у меня живет».

Стелецкий сделал несколько рисунков из жизни гольфа и Попов, добавивши крохотный текст, напечатал брошюру. На обложке Попов отпиливает у какой-то английской леди высокие каблуки.

Трава покрывающая гольф, то-есть то пространство, на котором летают мячи, по-английски «грин» — это не просто трава, эта трава должна быть такой, как нужно по

правилам гольфа, выработанным столетиями: низко подстриженная, густая, без сорной травинки, гладкая как ковер, и самые злейшие враги «грина» это дамы на высоких каблукках, они делают в нем дырки, портят священный «грин». Дырки на «грине» должны быть, но только там, где им полагается и столько, сколько полагается. Попов разложил эту брошюру у своего места стартера, и англичане охотно ее покупали.

Попов рассказывал, как прежде чем стать стартером на гольфе, он работал поденщиком, выпалывая на «грине» сорную траву, целый день на коленках и получал за это какие-то гроши.

«У тебя я вижу много книг, что ты читаешь?»

«Я устаю очень. Мне некогда читать... Я читаю теперь только одну книгу».

«Какую книгу?»

«Я потом тебе скажу, когда мы опять познакомимся поближе... Мы ведь сейчас как чужие после двадцати лет. Я не знаю какой ты стал».

«Скажи все-таки, покажи книгу».

«Ты, вероятно, этой книги не знаешь, она самая важная на земле после Библии и Евангелия... Автор ее неизвестен...»

«Да какая же это книга, покажи мне...»

«Я не знаю нужно ли тебе ее показывать».

Но он все-таки встал и прежней, такой знакомой, расхлябанной походкой пошел в другую комнату, где стоял книжный шкафик. Походка и голос у него не изменились за эти долгие годы.

Попов принес большую книгу английского издания в желтом кожаном переплете. Он нес ее прижимая к груди, как любимого ребенка, или как ребенок куклу.

«Угадай какая это книга».

«Как же я могу угадать?»

Я взял ее почти силой у Попова и раскрыл. Латинское издание «Подражание Христу».

«Да это же Фома Кемпийский».

«Так ты знаешь эту книгу?.. Я никак не предполагал, что ты знаешь».

Голос Попова стал мягче, теплее. Он стал ласково смотреть на меня. Опять нас связала ниточка близости.

«Только это ведь предположение что ее написал Фома Кемпийский. Автор точно неизвестен. Я читаю ее на четырех языках и все нахожу новые красоты. Мне говорили, что нет хорошего перевода на французский, но я читал ее впервые именно по-французски и она завладела мной. Победоносцев переводил ее всю жизнь на русский язык и перевел, говорят, прекрасно, но не могу никак достать этот перевод... Уже раньше я читал по-английски еще и по-немецки, но когда мне подарили этот латинский подлинник, видишь какое дивное издание — я только тогда понял какие необычайные и неисчерпаемые богатства и красоты языка хранятся в этой книге... Непереводимые красоты... Я так рад, что ты все-таки эту книгу знаешь — ведь это самая ценная книга на земле после Библии... А ты ее читал? Какого же ты мнения о ней?»

«Я тебе своего мнения тоже лучше не скажу. Ведь ты сам говоришь, что нас разделяет двадцать лет, и нужно сначала заполнить этот громадный прорыв, а тогда поговорим».

«Я ненавидел людей, особенно богатых, а теперь я люблю всех. До этой службы на гольфе я полол траву, а потом пошел служить лакеем в богатую виллу около Канн. Я был старшим лакеем, подавал к столу. Подавал суп в большой серебряной вазе... Старинная английская ваза. Один раз я принес эту вазу, и у меня явилось непреодолимое желание надеть ее вместе с супом на голову моего барина. Я бросил вазу на пол и убежал с этой службы. А теперь я этого уже не сделал бы, я примирился, я всех люблю, и меня уже нельзя оскорбить».

Когда мы уходили, Попов провожал нас на вокзал. У кассы стоял хвост. Увидевши Попова несколько человек закричали ему:

«Попов здравствуйте... куда вам нужен билет, я возьму для вас».

Многие, стоявшие в хвосте, знали его, улыбались.

В феврале 1930 года в русских газетах было напечатано:

«Третьего дня в Канн трагически покончил с собой известный русский летчик Николай Попов. Он приехал в Канн из Манделье, где он служил на гольфе, нанял номер в бане и через некоторое время оттуда раздался выстрел. Попов выбрился, взял ванну и затем застрелился. В его кармане нашли четыреста франков и два письма: одно брату, другое начальнику местной полиции. В этом письме он просит начальника полиции отдать половину денег тем полицейским, которым придется возиться с его трупом, а остальные переслать брату. Бритву он завещает хозяину бани и надеется, что она принесет ему счастье, как приносит веревка повешенного».

ОРДЕН БАЛЕТОМАНОВ, КШЕСИНСКАЯ

Да, именно орден или корпорация, как есть орден масонов, Мальтийский орден, полумифический орден Розенкрайцеров.

Такая балетная организация существовала только в России, а теперь нигде не существует. Императорская балетная школа воспитывала совсем исключительных людей с особенными взглядами на жизнь, особенно танцовщицам внушалось в течение десяти лет, что с титулованными богатыми, вообще известными, не говоря уже о великих людях, нужно разговаривать, во всем с ними соглашаясь, всегда быть любезными и таким образом открыть путь к собственной карьере и такую карьеру многие воспитанницы балетной школы сделали, стали сами титулованными или богатыми, в законном браке или просто в долголетней связи.

Среди балетоманов были и действительно знатоки танцев, но большинство попадало в этот орден по другим соображениям, тут можно было создавать важные связи и попасть в эту группу людей было не так просто, петербургские карьеры строились на связях по балету.

**

Никаких танцевальных способностей у меня никогда не было, даже самые простые семейные танцы избегал танцевать, вальс и польку танцевал только в одну сторону и на семейных вечерах старался устраивать разные игры с фантами или даже маленькие любительские спектакли, лишь бы не нужно было танцевать... А вышло так, что значительный кусок жизни оказался связанным с балетом, в нашей жизни много случайного и непредвиден-

ного, но многие случайности мы подготавливаем сами, иногда даже не сознавая этого.

Я был еще гимназистом, когда узнал в нашей провинции, что у наследника, будущего самодержавного царя Николая Второго, есть фаворитка, балерина Кшесинская, и выписал из Петербурга ее фотографию. Меня интересовало не то, что она балерина, а то, что это фаворитка царя, в моей детской среде многие смотрели на царя как на какое-то божество и вот это божество выбрало себе в фаворитки какую-то Кшесинскую. Этим пока ограничивались мои связи с балетом, но дальше пошло иначе.

В Москве, на первом же курсе Академии, ныне Тимирязевской, я впервые попал в роскошное Дворянское Собрание, с грандиозным залом с мраморными колоннами — был великосветский благотворительный базар и вход бесплатный. За главным киоском, украшенным цветами, сидела красивая и элегантная молодая женщина, продавала бокалы шампанского, а около нее стоял генерал с зелеными отворотами, ее муж, Желябужский, она потом стала артисткой Андреевой и временно женой Максима Горького.

В дневнике Николая Второго под датой 6 июля 1890 года записано: «Положительно Кшесинская 2-ая меня очень занимает» и 17 июля вторая запись — «Кшесинская 2-ая мне положительно очень нравится».

Прошло много лет и уже выросло два новых поколения, которые ничего не знают об этом русском прошлом и потому уместно пояснить, почему Кшесинская 2-ая, Матильда Феликсовна: была Кшесинская 1-ая Юлия на шесть лет старше сестры, тоже из Императорской балетной школы, но она звание балерины не имела, она вышла замуж за барона Зедлица и скоро со сцены ушла.

Об этой записи в дневнике наследника никто не знал, пока Николай Второй не отказался от престола и все дворцовые архивы были раскрыты.

**

Непременно решил выпить бокал шампанского из рук Андреевой, спросил товарища сколько надо платить — не

меньше двух рублей, а у меня было в крамане всего три, я подошел к киоску, хотел отдать все три, но одумался, дал только два, так как иначе не было бы денег на трамвай обратно в Петровско-Разумовское. Так вот на этом же вечере я познакомился с маленькой балетной танцовщицей из Московского балета, совсем маленькой, танцевавшей только «у воды» и изредка выступавшей *фигуранткой* в отдельной роли, она произвела на меня очень сильное впечатление, настоящий Императорский балет, и связь с ней продолжалась почти пять лет! Тут уже невольное сближение с балетным мирком, только московским, но все-таки Императорский балет...

Прошло столько лет, но точно звучит еще в ушах звук театральной кареты, старой, расхлябанной, запряженной четверкой, в них развозили по домам балетных после спектакля. Железные обода кареты громыхали по булыжной московской мостовой и уже квартала за два было слышно, что едет эта карета и может быть едет ко мне Женя — и она приезжала, а я временно жил тогда в комнатке пятого этажа на углу Страстной площади, в меблированных комнатах «Россия», а ниже был ресторан Таракыкина, ставшего потом владельцем известного ресторана «Прага» — изредка я заказывал в ресторане Таракыкина большой бифштекс за рубль, но такая роскошная еда возможна была только изредка. Все остальные академические годы жил уже в общежитии Академии и тут у нас была вполне обильная и здоровая еда.

Эти подробности не имеют прямого отношения к балету, но они характерны для тогдашней московской жизни.

Денег у меня тогда не было, но часто ходил в балет, так как получал контрамарки за восемьдесят копеек, жизнь и интересы балетного мирка стали мне близкими, но связь с петербургским балетом началась только с переселения в Петербург, по пятилетнему договору, предложенному мне стариком А. С. Сувориным и совсем изменившим мою жизнь, вместо провинциальной она стала столичной, вместе промышленности и торговли, печатное дело, к чему меня давно тянуло, еще гимназистом писал в газеты, часто впustую, а иногда по три копейки за строчку...

В Петербурге стал довольно часто встречаться с Кше-

синской, бывал в ее богатом особняке, через нее началось знакомство с великими князьями и петербургским балетным мирком. Балетных приглашала к себе Кшесинская только по строгому выбору, только несколько избранных балетных бывали у нее, а другие только завидовали ее роскошной жизни и даже проникались враждебностью. Мой журнал «Столица и Усадьба» помог мне знакомиться с любыми балетными. Раз в год в бенефис кордебалета устраивался балетный ужин в ресторане «Кюба» и один такой, уже последний, мне пришлось даже устраивать. С началом войны эти ужины навсегда прекратились. В бенефис кордебалета разрешалось делать подношения отдельным танцовщицам, все места продавались по увеличенной цене и попасть на этот бенефис без особых связей было невозможно.

**

В Москве вышел «Дневник Теляковского, директора Императорских Театров». Несомненно, что Теляковский, действительно много лет, с 1898 года вел дневниковые записи, но несомненно и то, что они для издания сильно перефасонены, сначала он был вообще смешен с директорского места после революции, но в 1923 году ему была назначена пенсия от советского правительства, пользовался он ею недолго, в 1924 году он умер. В перефасоненном дневнике он очень иронически относится к петербургским верхам, начиная с самого царя, великих князей и известных балетоманов, сам он был из русского аристократического круга и понятно до революции иначе смотрел на петербургские верхи. Очень большое место в его воспоминаниях отведено Кшесинской и вел. кн. Сергею Михайловичу, который четверть века был невенчанным мужем Кшесинской и горячо любил ее, несмотря на ряд ее других связей, в числе их тоже с вел. кн. Андреем Владимировичем. Сергей Михайлович был начальником всей русской артиллерии и всех русских крепостей, но в то же время сделался президентом Театрального Общества, по желанию Кшесинской.

В дальнейших записях я много места отвожу ей, но

рассматриваю все уже совсем с другой стороны и под другим углом, не так, как Теляковский.

**

Балетные абонементы Мариинского театра всегда были распроданы, переходили по наследству, а получить абонементное кресло первого ряда было невозможно даже за крупную сумму, так же и ложу бенуара или бельэтажа. Когда, благодаря моему журналу «Столица и Усадьба», директор Императорских Театров Теляковский дал мне абонементное кресло в первом ряду, это было лучше, чем получить большой орден, он же разрешил мне бывать на всех репетициях Императорских Театров, даже с фотографом.

Опера была не в почете у высших петербургских кругов и только с появлением Фигнера и его жены Медеи Фигнер, более или менее заинтересовались оперой и еще больше после Шаляпина и Собинова. В Великом посту в Московском Театре бывали гастроли Итальянской оперы и в Петербурге ее охотно посещали, но русские оперы, несмотря на такие имена, как Глинка, Рубинштейн, Чайковский, Мусоргский, долго не были в фаворе у верхов Петербурга.

Русские аристократы очень мало сделали для театра и искусства вообще, зато русское купечество — очень много, как это ни удивительно. От всех громких аристократических имен ничего не осталось, разве только постоянный симфонический оркестр графа Шереметьева, те же Юсуповы, Строгановы, Демидовы, Балашовы ничего не создали, а купцы Мамонтов, Солодовников, Алексеев-Станиславский, Зимин, Морозовы, Третьяков, Щукин много сделали.

**

Кроме двух первых записей о Кшесинской в дневнике Николая II, тогда наследника, есть еще третья, 22 июля — «мой разговор с папа об известном вопросе». Теперь мне известно, что разговор этот был о том, чтобы поселить Кшесинскую в отдельной квартире, где он мог бы с

ней тайно встречаться: Николай был очень покорным сыном, примерным семьянином впоследствии, но злосчастнейшим из всех Романовых, с ним кончилась династия и как будто мистично, что началась династия в Ипатьевском монастыре и закончилась в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, называемом теперь Свердловск. Свердлов давал по прямому проводу из Москвы все приказы об убийстве царской семьи, понятно по указанию Ленина.

**

Когда Кшесинская поселилась в нанятой для нее квартире, недалеко от Мариинского Театра и наследник стал бывать у нее тайком, но разумеется каждый шаг его был известен, у дома всегда стояли филеры. Тут можно было бы рассказать целый ряд анекдотических подробностей, никому не обидных, но расскажу только одну: у наследника никогда не было денег, везде все было бесплатно и когда однажды Кшесинская спросила его, нет ли у него денег, у нее сейчас нехватка, то он назавтра привез ей двадцать пять рублей! А в недалеком будущем она проживала триста тысяч в год и средства эти доставлял ей великий князь Сергей Михайлович, сразу взявший ее под свое покровительство и в дальнейшем был иногда посредником, если нужно было что-либо передать Николаю Второму. Великий князь искренно любил Кшесинскую, хотя она ему этим не отвечала.

Нашумела в Петербурге история с директором Императорских Театров Волконским, он оштрафовал Кшесинскую на пятьдесят рублей за то, что она для своей роли сшила юбку иного цвета и покроя, а полагалась одежда из театрального гардероба. Кшесинская заставила вел. кн. Сергея пожаловаться Николаю.

«Малю обижают» — сказал он Николаю и рассказал в чем дело и Николай приказал снять этот штраф, а Волконский подал в отставку.

Волконский занял место директора Императорских Театров благодаря своему дяде Всеволожскому, который был директором тринадцать лет, осторожный и искушенный опытом человек и при нем особенных недоразумений

не было. В действительности делами управлял не он, а правитель его канцелярии Погожев, отец того Погожева, статьи которого печатались позже в моем журнале «Столица и Усадьба»; между прочим большая статья об именице «Муранове» недалеко от Загорска, Сергиево-Троицкой Лавры. Благодаря этой статье кое-что уже в разграбленном именице было спасено, теперь там устроен музей Тютчева, родственника владельцев «Муранова», уцелел его личный кабинет, к нему добавлено многое другое из Тютчевских имений и образовался ценный музей.

Директору Императорских Театров нужно было лавировать меж разных сил, дворцовым управлением, главою которого являлся министр Двора барон Фредерикс, гофмаршальской частью, интригами других конкурентов на это желанное место директора Императорских Театров, с требованиями публики и времени, и в немалой степени с Кшесинской, бывшей полным хозяином репертуара Мариинского Театра.

Теляковский вполне подходил для поста директора, сам он был музыкантом, даже композитором, получил хорошее образование, кончил Академию Генерального Штаба и несмотря на все интриги, прочно занимал свой пост до самой революции.

**

Когда Кшесинская хотела, она очаровывала людей и несмотря на то, что Волконский из-за нее подал в отставку, через сколько-то лет, уже в эмиграции в Париже, она пригласила меня с женой на завтрак. Уже были скромные средства, былое состояние было прожито или проиграно, в том числе и рубины, полученные вел. кн. Андреем Владимировичем в наследство от матери. Тем не менее за завтраком была икра, превосходный курник, любимое блюдо Кшесинской, а несколько бутылок шампанского я привез. Рядом с хозяйкой за столом сидел Волконский, шел самый дружеский разговор, Кшесинская подливала ему вино и накладывала лучшие куски на тарелку, никаких неприятных воспоминаний не было...

Как-то Кшесинская позвонила мне по телефону, сказала, что хочет говорить потому что у нее нет больше

такого близкого человека, кроме сына, уже год, как она не встает с постели, ничего больше не видит и очень плохо слышит, а Лихачева, ее наперсница, все знавшая в ее жизни, лежит больная в Монте-Карло и приехать не может: чтобы я приехал, непременно и хотя я все знаю из ее жизни, еще хочет долго говорить.

«Как же, Матильда Феликовна, ведь мы друг друга не увидим, будем разговаривать по телефону» — и я не поехал, но может быть все-таки поеду, если она будет настаивать. Удивительная это женщина, второй такой я не знаю, концентрированный комок энергии и силы воли, поставлено было целью жизни стать знаменитой и жить в роскоши и почете и этого она достигла, пока революция все не изменила — но даже и после революции, уже при постепенном обнищании, все-таки устраивала свою жизнь как можно приятнее. Пока была еще роскошная вилла на Ривьере, в Кап д'Ай, бывали приемы и на одном из них, где мы были с женой, М. Ф. показывала гостям золотые часы на руке:

«Вот последняя золотая вещь, что осталась, завтра Иван повезет в ломбард...» А бутылка шампанского была только одна, из привезенных мною, и хозяйка заявила, что никому кроме нас шампанского не даст.

А Иван, это старый лакей, привезенный из Петербурга, прослужил в ее доме больше тридцати лет, скопил какие-то деньжонки и давно хотел уйти на покой, но все еще жил на вилле. Под виллу было взято по закладным больше трех миллионов, а пошла она с торгов за шестьсот пятьдесят тысяч.

И сегодня еще Кшесинская с сыном живет на вилле в Молиторе и по распоряжению предыдущего Президента, еще при жизни вел. кн. Андрея Владимировича, были сняты все неуплаченные государственные налоги, это уже из почтения к последнему великому князю, каким был Андрей Владимирович.

Мне пришлось видеть Кшесинскую в моменты тяжелых переживаний, при крушении долгих и прочных надежд, она плакала, а оказалось, что вечером приглашены на какой-то обед у нужных людей, она легла в постель, за час до обеда взяла горячую ванну, надела вечернее пла-

тье и с великим князем и сыном поехала на обед, там была весела и разговорчива, была центром внимания.

Это странно, может быть наивно, но не раз за долгое знакомство с нею я вспоминал об ее энергии и силе воли и заставлял себя подтягиваться при падении настроения или бездеятельности.

**

Не было в мире более роскошной и парадной залы, чем зала Мариинского театра в первом абонементе, до войны четырнадцатого года — с началом войны все изменилось и никогда больше такого не будет. Сама театральная зала, голубая с золотом, с роскошной люстрой и бра была очень красива, но роскошных зал много, нигде зато не бывало такого состава зрителей. Красивые гвардейские формы, иностранные послы тоже в раззолоченных облачениях, фраки с белыми жилетами, в ложах бенуара и бельэтажа платья от лучших портних, много парижских, шали и накидки из дорогих мехов и много драгоценностей. Зала была пропитана смесью разных духов.

В императорской ложе с особым входом из фойе, у которого всегда стояли на дежурстве бравые гвардейцы, сам царь никогда не сидел, для него была ложа в бельэтаже, налево первая от сцены с голубыми бархатными портьерами и к этой ложе был особый подъезд. В императорской же ложе сидели иногда шах персидский, эмир бухарский, принцы разных держав и с ними послы...

В балетном абонементе через залу были протянуты невидимые ниточки, из первых рядов партера в ложи и на сцену, и ниточки эти были ясно видны только принадлежащим к ордену балетоманов.

В нью-йоркской опере на спектаклях гала со знаменитостями при повышенных ценах тоже было богато и ложи образовывали, как это называли, «брильянтовую подкову», но все-таки это совсем несравнимо с тогдашней залой балетного абонемента Мариинского театра .

Старый П. Дурново, сидевший всегда в первом ряду в своем кресле, говорил как-то мне, что в пятьдесят второй раз смотрит «Конька-Горбунка», он чувствовал себя

как дома в этом кресле и иногда во время спектакля довольно громко говорил на сцену:

«Молодец Катя... замечательно... бис...»

Если налево в ложе сидел царь, то от таких выкриков Дурново воздерживался, хотя он был очень смелый человек и осталась его замечательная записка Николаю Второму, не оказавшая никакого действия, но в ней он решительно высказал свои политические мнения о будущем династии, многое предвидел и, между прочим, решительно утверждал, что нам никогда не надо воевать с Германией, у нас общие интересы и вполне возможно мирное сотрудничество.

**

Великий князь Сергей Михайлович был президентом Театрального Общества исключительно по желанию Кшесинской, чтобы полнее влиять на репертуар Мариинского театра.

Вице-президентом Театрального Общества был Молчанов, муж Савиной, и тут было полное влияние на репертуар Александриинки и других театров, даже провинциальных. Не угодившая Савиной актриса часто не получала желанной роли. Все-таки временами возникали трения с администрацией театра и в 1903 году Савина, демонстративно подала в отставку.

Юрий Беляев, тогда еще только что начавший писать в «Новом Времени», написал статью — «Она в отставке...» В статье говорилось, что случилось что-то несุразное и, подражая словам Ломоносова об Академии, продолжал — «можно отставить Александринский театр от Савиной, но нельзя отставить Савину от Александринского театра». Статья была напечатана и скоро Савина взяла свою отставку обратно, все пошло попрежнему.

Старик Суворин любил Савину, ей можно было печатать любые дифирамбы, несмотря на то, что был уже свой Суворинский театр, арендованный у графини Апраксиной — графиня Апраксина была самой крупной домовладелицей Петербурга.

Пьесы самого старика Суворина шли и в Малом театре, Суворинском, и некоторые в Александринском, до его

смерти все шло гладко и только позже начались трения и недоразумения.

Среди женских театральных увлечений А. С. Суворина были только драматические артистки, ни одной оперной, а тем более балетной, к балету он относился особенно холодно, точно предвидя, что его единственная дочь Настасья, стремившаяся стать балериной, кончит свою балетную карьеру печально и даже с конфузом. После революции она приехала в Иокогаму с балетным мальчуганом, названным на афишах артистом Императорских театров, а сама присвоила себе фамилию Наташи Трухановой, устроила балетный спектакль в европейском театре Иокогамы, по высоким ценам, была освистана и тайком ночью на китайском пароходе уехала в Сан-Франциско, оставивши двоих детей в гостинице и они были взяты на попечение Гинзбургом Порт-Артурским и помещены в устроенный им дом для русских беженцев!

Кшесинскую А. С. Суворин особенно не любил и я даже не понимал почему, она не раз меня спрашивала:

«За что меня не любит этот милый, такой умный старик?»

Она никогда его не встречала, я уверен что если бы он встретился с нею, то стал бы относиться к ней совсем иначе, так она умела обвораживать людей, когда этого хотела.



В 1904 году М. Ф. Кшесинская раньше других почувствовала, что приближается что-то неладное и, не считаясь с балетным репертуаром, уехала на французскую Ривьеру и поселилась там на вилле великого князя Андрея Владимировича, и вернулась в Петербург только когда прошли главные волнения девятьсот пятого года!

В тринадцатом году она заявила, что выходит в отставку, не будет больше ездить на репетиции по распоряжению театральной администрации, но выбрала для себя четыре балета с тем, чтобы их никому больше из балерин не давали и директору Теляковскому пришлось подчиниться этим необычным условиям.

Известная талантливая балерина Преображенская, по

выпуску годом старше Кшесинской, стала балериной только после тринацатого года, а раньше этого звания не имела по запрету Кшесинской... В своей автобиографии Кшесинская говорит о самых дружеских отношениях с Пребраженской, но в действительности было совсем не так, она не хотела ее конкуренции.

В 1909 году, как известно, Дягилев привез впервые русскую балетную труппу в Париж и она выступила с потрясающим успехом, заграницей впервые поняли насколько высоко стоит балетное искусство в России — но в эту труппу Дягилев не пригласил Кшесинскую, что понятно вызвало ее негодование, равно как и великих князей, и несколько позже были устроены в Париже и Лондоне отдельные гастроли Кшесинской, тоже с большим успехом.

Но вот люди часто думают, что они знамениты, что уже весь мир знает их имя, а в это время уже знаменитый тогда, еще совсем молодой Чарли Чаплин, тоже был в Париже и в своей нашумевшей автобиографии он рассказывает, что его пригласили в ложу к какой-то русской балерине, с какой-то мудреной фамилией и она никакого впечатления на него не произвела — и даже странно, что, в данном случае, она не сумела понравиться Чаплину: можно только еще раз повторить со слов нелюбивших Кшесинскую, что после встречи с нею они меняли мнение и говорили, что это очаровательная умнейшая женщина.



В Петербурге ходили слухи, да и позже в эмиграции, что Кшесинская оказывала влияние на русскую политику — это полностью неверно, она всячески устранилась от политики, за много разговоров с нею, за много посещений ее дворца я ни разу не слышал ни слова о политике, даже другие в ее присутствии о политике не говорили, она тактично прерывала такой разговор. Даже косвенного влияния не было, ни она, ни великий князь Сергей Михайлович никаких взяток ни от кого не получали, я в этом совершенно уверен.

Помимо моего личного убеждения, просто логическое мышление говорит за то, что никаких взяток вели-

кому князю Сергею или ей не нужно было, она могла проживать больше 300.000 рублей в год, какие давал ей великий князь Сергей.

Его большое имение «Стрельна», рядом с Петергофом, было всецело в ее распоряжении, в доме было полное изобилие, военные шоферы, которые хорошо знали, что при малейшей неисправности их откомандируют на фронт...

**

Еще несколько слов об отдельных балеринах и танцовщицах. О Бакеркиной, «октинской богородице» — П. Дурново был весьма богат, но крайне экономен, точно подсчитывал все расходы и когда в его поместье на Охте, где теперь жила Бакеркина, устраивались большие приемы, угощение бывало обильным, но все расходы скрупулезно проверены самим Дурново. Он не терпел, чтобы во время приемов среди гостей ходила прислуга, все должно быть готово заранее и если уже все-таки нужен какой-то лакей или два, то они должны ходить неслышно, не попадаться ему на глаза. С Бакеркиной бывали нередко споры из-за слишком больших расходов и тогда посредницей выступала Борхарт-Лихачева, тоже не нуждавшаяся, благодаря богатому мужу Лихачеву, и у нее тоже было достаточно драгоценностей. Это было веселейшее существо, всегда оживленная, смеялась и заставляла смеяться других, но в то же время в отличие от прочих балетных целые ночи читала, вставала только в два, читала больше романы, но в результате хорошо была знакома с русской литературой. Всюду, где появлялась Лили Борхарт, становилось оживленно, хотя бы при этом болтали отборные пустяки или играли в лото. В этой игре иногда участвовал старый балетный критик Плещеев и ему нарочно давали непременно выигрывать, хотя игра шла мелочная, ставки по двадцать копеек...

Особенным балетным типом была Бараш, по мужу Месаксуди, он был гвардейским офицером, из богатой семьи крымских табачных фабрикантов, Люмаша Бараш в деньгах не нуждалась, у нее было тоже много драгоценностей и она часто бывала в доме Кшесинской, несмотря

на то, что была молодая и красивая. Она не была балериной, но из-за ее красивой фигуры и гордой походки ей давали роли Клеопатры, королев и герцогинь, где не нужно было танцев, имя ее стояло тогда в программе.

После революции Люмаша развелась с мужем и мы ее встречали в Монте-Карло, она приходила к нам в отель, соединенный тонелем с игорными залами казино и длинным тоннелем, устланным толстым ковром с отдельным игорным клубом и знаменитым баром, куда допускались только жившие в отеле или по особым билетам, она просила мою жену провести ее в этот клуб, там можно было завести интересные знакомства. Маленький бар с узкими креслами во время пятичасового чая и вечером был битком набит, это был бар королей и авантюристов, шведский король оказывался рядом с известным авантюристом или с часто бывавшим тут лордом Ротермиром, братом тогда уже умершего лорда Нордклифа, владельца «Таймса» и «Дейли Мейл». Ротермир тоже увлекался балетом и две русских были его фаворитками и при конце остались не бедными и получили по Рольс-Ройсу. Шведский король изредка шел к игорному столу, но играл очень мелко, только для забавы, а кругом шла очень крупная игра, значительно увеличивавшая доходы казино Монте-Карло.

**

В ложах балетного абонемента бывшего Мариинского театра было богато и красиво, в ложах бенуара и бельэтажа красивые и дорогие наряды и много драгоценностей, и рассматривая их, даже в бинокли, обсуждали, на ком больше, на Бакеркиной, на Кшесинской, на Лихачевой, на Никитиной и сколько стоят жемчуга на итальянской красавице Демидовой-Сан Донато. Она носила только жемчуга, но по словам известного ювелира Фабержэ, это были самые замечательные в мире, все настоящие, каких теперь носят мало. Она временами приезжала в Петербург и тогда появлялась в своей ложе бельэтажа. На Миллионной строился для нее собственный театр, роскошный, холл с колоннами розового мрамора и такой же отделкой стен, а сцена, приспособленная для балета, бы-

ла со всеми новейшими механическими усовершенствованиями, такого второго театра в России еще не было, она хотела выступить в нем впервые в Петербурге как балерины. Все готово было в январе 1917 года, а в феврале революция, выступление не состоялось и театр перестал существовать, был разграблен в первые же дни февральской революции.

В моем журнале «Столица и Усадьба» остались напечатанными фотографии этого театра и его описание.

A. С. СУВОРИН — «НОВОЕ ВРЕМЯ»

Давно пора было написать об Алексее Сергеевиче Суворине. Необычные люди есть разные, необычны только для самих себя, ни на кого особенно не повлияли, тем более на ход общей русской жизни или даже мировой, а А. С. Суворин повлиял и на многих людей и даже на тогдашнюю жизнь России. Яркий, сложный, многогранный человек, с постоянным кипением, широкой инициативой, все расширение планов и в то же время бессистемность, беспомощность, халатность, беспорядок в делах, крупные ошибки.

Кто-то пустил остроумную фразу, что сложные дела Суворина это микрокосмос России, где тоже начинания, большие планы, но беспорядок, ошибки — и несмотря на все это, общее благосостояние и влияние Суворина росло, и росла Россия по пространству и по влиянию на жизнь других стран, даже мировую.

**

В России был ряд крупных издательств, таких как Маркс (журнал «Нива» со многими приложениями), Сытин, Вольф («Задушевное Слово»), Проппер (журнал «Огонек» и «Биржевые Ведомости»), Гоппе («Живописная Россия»), журнал «Солнце России» и газета «Копейка» Когана с товарищами, позже в Берлине его же журнал «Жар-Птица».

Ряд значительных московских издательств, пережившее всех, «Братьев Сабашниковых», последний Сабашников умер в 1943 году; издательство Павленкова, Карбасникова, П. П. Сойкина, еще понятно Сытин, наиболее распространенная газета «Русское Слово»; несколько больших художественных изданий, начиная с самого богатого

«Золотое Руно» Рябушинского, десяток других. Но все это много позже Суворинских, конец прошлого столетия и начало этого, а А. С. Суворин праздновал тридцатилетие в 1902 г.

Было давнишнее московское издательство Каткова, газета «Московские Ведомости» и ежемесячный журнал, в котором Лев Толстой печатал «Анну Каренину» и «Войну и Мир». В мое время ежемесячника уже не было, а «Московские Ведомости» выходили под редакцией Глингмута и главным руководителем был секретарь барон Нольде, особенно старавшийся втянуть меня в эту газету.

Совсем случайно, но так удачно попала ко мне маленькая книжонка, сохранилась где-то в Финляндии, судя по пометкам, никому она не нужна, а для меня в высшей степени ценна, я пришел в «Новое Время» позже, а тут все прошлое издательских дел Суворина, с именами. Мне было известно только по кусочкам: никто рассказать не мог, все знавшие давно уже умерли, а вот эта брошюра «Каталог изданий А. С. Суворина» 1902 года рассказала.

История Суворинских изданий исключительно интересна и даже несравнима с другими, в них история России, тридцать лет до 1902 года, и последних пятнадцати лет до революции 1917 года. Историю этих отрезков времени некоторые знали, но их больше уже нет в живых а молодое поколение, даже два поколения, и здесь у нас в эмиграции, и там на родине никакого понятия не имеют о тогдашней жизни России. Уже с начала столетия Россия начала становиться индустриальной страной, возникал ряд больших предприятий главным образом на иностранные капиталы, но во главе стояли уже русские инженеры и директора. Весь Донецкий Бассейн, хотя бы тот же «Проводник» где я был директором, почти сплошь французский капитал, но все директора русские, генеральный директор Виттенберг, остававшийся некрещеным евреем, но тайный советник, член Императорского Автомобильного клуба, в котором почетным председателем был Николай Второй, а первый параграф устава гласил: «евреи не допускаются в число членов...»

**

А. С. Суворин потомок солдата, отличившегося в Бородинском сражении, учился в Воронежском кадетском корпусе, был учителем в городском училище, но мечтал о более широкой арене и в голове уже были готовы планы. Пешком он пошел из Воронежа в Москву, башмаки для экономии на шнурке висели на плечах, а шел босиком. Усталый, рано утром он сидел на скамеечке у Кремля и им заинтересовался проходивший мимо человек, подсел к нему, стал расспрашивать, назвал свою фамилию, Буренин, и вынувши из кармана денежное письмо с сургучными печатями, сказал:

«Вот я получил свой гонорар, тридцать рублей и отдаю его вам, у вас ведь гроша нет в кармане...»

На эти деньги А. С. приехал в Петербург, а Буренин навсегда, до конца, стал его ближайшим другом, так же как и Гей, которого вовсе не знали читатели «Нового Времени».

Драматическое произведение Буренина «Медея» написано совместно с Сувориным, ряд книг Буренина выходил в Суворинских изданиях: сценические произведения, сатира, критические статьи, исторические записи — все эти книги давно распроданы и даже у букинистов их не найти. Книг Гея не осталось, он порою заведывал делами «Нового Времени», вел провинциальный отдел и его кабинет в редакции завален был провинциальными газетами и журналами, в значительной части не распечатанными, он помогал набирать первые номера «Нового Времени», это был настоящий друг Суворина.

Удивительно даже, Буренина считали едким и злобным, а это был добрейший и весьма образованный человек и после октябрьской революции ленинцы оставили ему неприкосновенной его квартиру и библиотеку и дали академический тройной паек!

У А. С. Суворина, несомненно, был журналистический и литературный талант, широкие планы, инициатива, организационные способности, почти ежедневные статьи в газете, романы, драматические произведения, «Татьяна Репина» была очень успешной пьесой, долго шла в провинции. Совсем необычайна по своей смелости трагедия «Лже-Димитрий», в которой автор убежден, что это

был подлинный сын Ивана Грозного, убит был в Угличе какой-то другой ребенок — А. С. смело высказывал свои мнения, хотя бы совсем противоположные общепринятым.

Была у А. С. еще одна яркая черта, он верил в громадное значение денег, теперь нет больше крепостных или рабов, но деньги их заменили, они могущественны и привлекают к себе людей. Нужно было собрать талантливых сотрудников и одним из лучших способов были хорошие гонорары, а чтобы платить их нужны большие деньги.

Когда доходы «Нового Времени» стали уже большие, расходы сложной семьи были тоже велики, но на себя лично А. С. тратил мало, даже при увлечении женщинами, почти сплошь драматическими актрисами. Он не деньгами привлекал их, в него влюблялись помимо денег как в сильного талантливого человека, к тому же критика большой газеты так важна для актрисы. Всегда было, есть и теперь настоящее искреннее влечение у одного пола к другому, у мужчин сексуальность сильнее нежели у женщин; есть женщины совсем холодные в этом отношении и они сходятся с представителями другого пола из-за материальных соображений, но и у таких женщин бывает искренняя привязанность, уважение и даже любовь просто к сильному яркому человеку, такое было в отношении некоторых к Суворину...



Дальше наиболее интересное о литературных делах «Нового Времени», строго проверенный материал с датами и именами и начинается с рассказа о том, каким образом я попал в «Новое Время» управляющим его делами. Как будто все вышло случайно, но случайности мы подготавливаем обычно сами, так было и в данном случае.

Тогда я уже выкарабкался из своего мрачного невежественного детства, уже поднялся с низов на несколько ступенек, уже заведывал большими делами, уже был ученый диплом и разрозненные знания, уже писал статьи в «Новом Времени», между прочим, среди других дел, и только один раз, будучи проездом в Петербурге, встретился с хозяином «Нового Времени» Сувориным: я зашел в ре-

дакцию, ему доложили видимо об этом, он пригласил меня наверх в свой роскошный кабинет.

«По вашим статьям я представлял себе автора вроде Скальковского, уже с брюшком, а вы совсем юнец да еще с таким нежным цветом лица... Ну что же, тем лучше, пишите, пишите как до сих пор, никому не подражая, я вам буду платить двадцать копеек за строчку...» — разговор был довольно продолжительный, я почувствовал себя совсем прочно в «Новом Времени», где шла такая конкуренция чтобы попасть сюда. Двадцать копеек за строчку при узкой газетной строке было высокой платой, нормально пять копеек, а то и три.

**

Весною 1910 года, когда я возвращался из деловой поездки по Южной Америке, уже будучи директором русско-французского общества «Проводник», младший сын А. С. Суворина, Борис, увидел меня в Гранд-Отелье. Он ежедневно бывал здесь, играл на бильярде в больших уютных подвалах отеля, с широкими мягкими диванами по стенам, занимал у меня время от времени мелкие суммы — Гранд-Отель был тогда одним из самых больших, самых комфортабельных в Париже и приезжая в Париж, еще с 1901 года, я постоянно останавливался в этой гостинице. Совсем неожиданно Б. Суворин сказал мне, что папа сейчас в Париже и непременно хочет меня видеть.

Я поехал в небольшой отель на авеню де л'Опера, стариk встретил меня любезно и сразу предложил куданибудь поехать чтобы поговорить наедине.

«Сегодня скачки в Лонгшан, может быть туда поедем?» — почему-то предложил я, и он охотно согласился.

Мы прогуливались медленным шагом, потом где-то сели и он стал говорить, совсем не обращая внимания на скачки.

«Мне говорили, что у вас есть большие организационные способности и вы умеете обращаться с деньгами и вот я предлагаю вам переселиться в Петербург чтобы плотно войти в дела «Нового Времени», Боря вот еще хочет непременно основать вечернюю газету и вы первым долгом займетесь этим...»

Предложение было совсем неожиданным, но это как раз совпадало с моей давней мечтой плотно подойти к печатному делу и переселиться в Петербург, правительственный, умственный и деловой центр России. Быстро кончилось подписанием условия на пять лет и в сентябре я уже ликвидировал все свои дела в Харькове и переселился в Петербург. Назначенное мне жалованье было меньше того, что я получал у «Проводника», но я видел широкие возможности дальше, что было для меня главное, я согласился.

Каким образом у А. С. составилось мнение о моих деловых способностях, остается непонятным, он почувствовал каким-то нюхом или увидел это между строк в моих статьях, но так случилось.

**

Газета «Новое Время» была консервативной, быстро стала влиятельной. «Новое Время» называли газетой «Чего Изволите». Приблизительно так и было, она старалась поддерживать существующую власть, она боялась революции и сам издатель был гораздо либеральнее и левее тех статей, что писались в газете — достаточно прочесть часть сохранившегося его Дневника, напечатанного уже в советское время, а мне известно из многих личных разговоров с ним.

С Сувориным можно сравнить только Сытина, уже совсем из мужиков, Сытин сумел создать самую большую по тиражу газету России «Русское Слово». Если ее тираж создали талантливые статьи Дорошевича, «Баяна»—Колышко, Григория Петрова и даже Розанова и умение редактора Благова, то все-таки весь успех обязан самому Сытину, который умел находить подходящих людей, а это иногда многое важнее чем уметь работать самому.

Стремление быть богатым и влиятельным отражалось на страницах газеты; благодаря таким сотрудникам как Меньшиков и Розанов, ее стали считать даже антисемитской, а ни малейшего антисемитизма не было в самом Суворине — в числе постоянных сотрудников «Нового Времени» были евреи: Юрий Беляев, Манасевич-Ма-

нуйлов, Гольдштейн, Шайкевич и даже Шумлевич, никогда ничего не писавший в «Новом Времени», но постоянно состоявший при Сувориных. Он был верным служителем Бахуса, но никогда не бывал пьян, занятный рассказчик, писал большие низовые фельетоны в стихах в «Петербургском Листке» за подписью Декадент, рифмой владел не хуже чем Лоло-Мундштейн или Дон-Аминадо, Суворины давали ему самые необычайные поручения и он их умело выполнял.

Особенно интересно, что постоянным долголетним на жалованье парижским корреспондентом был Яковлев (Павловский) из бедной еврейской семьи в Таганроге. В Париже Яковлев был вхож к министрам, близким приятелем его был Рафалович, финансовый агент России, через которого раздавались деньги французской печати, когда устраивались золотые займы, достигшие двадцати семи миллиардов: они нужны были России для развития русской промышленности, вооружений и особенно для перехода на золотую валюту, этот умный план был создан Вышнеградским и Витте. В 1896 году Россия перешла на золотую монету, до этих пор бумажный рубль в ассигнациях постоянно прыгал на иностранной бирже, не считался прочной валютой, а теперь пятирублевые золотые монеты, полуимпериалы, перечеканены были в 7 руб. 50 коп., кроме того было начеканено много новых и при уплатах в банках насилино давали половину золотом — рубль стал золотым.

Понятно Яковлев точно знал от Рафаловича какой французской газете и сколько уплачивается, а впоследствии, уже в эмиграции, сам Рафалович дал мне полный подробный список... Яковлев был осведомлен во французской политике несомненно лучше русских послов, вроде Извольского и предыдущих, его телегramмы в «Новом Времени» немедленно обсуждались в министерстве иностранных дел.

Два брата Павловского-Яковleva тоже эмигрировали в Аргентину и когда я обезжал Южную Америку как директор фирмы «Проводник», в Буэнос-Айресе у меня оказались два приятеля Павловских, это подготовил Яковлев. Один из братьев был вторым полицмейстером в Буэнос-Айресе, регулирующим движение в быстро растущем

городе. Когда мы ездили с ним в открытом автомобиле по Буэнос-Айресу, все полицейские чины отдавали честь и его автомобиль проезжал вне очереди. Второй брат стал богатым коммерсантом, миллионером, рудники и виноградники около Мендозы у подножья Андов, несколько домов в Буэнос-Айресе. Я торопился и интереснее мне был понятно, какой-нибудь чисто аргентинский театр, но он заставил меня поехать вечером в какой-то небольшой театр, где выступал приезжий мужской русский ансамбль, при этих песнях у Павловского на глазах появились слезы, а затем он, всхлипывая, заплакал, несмотря на здешний успех жила тоска по родине, по России...



Из каталога А. С. Суворина 1902 года явно, как быстро росло предприятие Суворина, собственная типография в Эртелеевом переулке со школой для наборщиков, тут же собственный роскошный дом для редакции и жилья, собственные книжные магазины в Петербурге, Москве, Харькове, Одессе и Саратове.

Кроме того, склады суворинских книг в Киеве у Н. Я. Оглоблина, в Сибири — в книжном магазине Макушкина в Томске и Иркутске, в Порт-Артуре и Дальнем у Артемьева. А. С. уже инициатор и пайщик в Российском Телеграфном Агентстве, по его инициативе, с половинным участием, книжные киоски на станциях железных дорог, и казенных и частных, большие ежегодники — «Весь Петербург», «Вся Москва» и даже объемистый том за семь с половиной рублей, в переплете, «Вся Россия» — статистические цифры, карты, планы, календари.

Уже к 1902 году около сотни объемистых изданий отдельных авторов и весьма популярная «Дешевая Библиотека», книжки по пятнадцать, двадцать копеек, триста пятьдесят названий и еще «Новая Библиотека» семьдесят два названия...



Я близко знал всю сложную семью А. С. — три сына в разное время были редакторами, начиная со старшего

Алексея, после отца он был редактором «Нового Времени», хотя отец часто писал маленькие статьи, под названием «День за Днем». А. А. поссорился с отцом, ночью разбросал в типографии весь набор, тогда еще ручной, так что номер «Нового Времени» вышел на одном листке — единственный случай за все время существования газеты. Организовал свою газету «Русь» более прогрессивную и даже враждебную «Новому Времени», но как это ни удивительно, бумагу для газеты он продолжал брать из складов «Нового Времени», отец знал об этом и молчал, много странного было в семейных отношениях суворинской семьи. Старый А. С. Суворин больше всего боялся всяких ссор, примирялся с поступками членов семьи и даже служащих и когда я был уже его доверенным, я сделал однажды большую ошибку, рассердил его, начавши рассказывать, что причастные к газете получают большие комиссии по делам «Нового Времени».

У меня была уже полная доверенность А. С., какой не было ни у одного из сыновей, и с ними начались трения, я подписывал чеки, а они все требовали новых авансов, хотя паи Товарищества были теперь уже во многих руках, а паи сыновей заложены в разных банках — положение было трудное, надо было лавировать среди подводных рифов, но на общих годовых собраниях пайщиков никто не поднимал вопроса о самовольных авансах.



«Новое Время» никогда не получало никаких правительственные субсидий как, скажем, «Гражданин» князя Мещерского или «Петербургские Ведомости» другого князя. «Новое Время» печатало большие объявления земельных банков, особенно Дворянского, о предстоящих продажах имений за неуплату процентов. Эти объявления в целую страницу мелким шрифтом давали около 80.000 рублей в год, но это было вполне нормально. По закону объявления о торгах должны были печататься в «Правительственном Вестнике» и в самой большой столичной газете, а такой было «Новое Время» — московское Сытинское «Русское Слово» имело много больший тираж, но Москва

не была столицей и потому эти казенные объявления там не печатались. Частные банки и разные акционерные общества тоже печатали свои отчеты в «Новом Времени», доходы газеты были значительны не от тиража, а от объявлений.

Все видные люди, даже москвичи и провинциалы, умирали непременно в черной рамке на первой странице «Нового Времени», независимо от их политических убеждений. Эти объявления оплачивались по высокому тарифу и еще значительным доходом были мелкие объявления, по 60 копеек, ищущих прислугу или прислуги, ищущей место. До сих пор рассказывают, что будто бы А. С. Суворин дал своей дочери в приданое, когда она выходила замуж за Мясоедова-Иванова, объявления прислуги, а по другому варианту — покойников, ничего такого не было, сплошная выдумка.

Доходы «Нового Времени» были значительны, но и расходы многочисленной семьи тоже большие, и иногда приходилось обращаться в банки за займами по дружеским векселям — векселя то уплачивались в срок, то переучитывались и мне тоже пришлось этим заниматься уже после смерти старика.



Обыкновенные газеты, журналы и вся иная корреспонденция не могла попасть на стол к царю, все поступало в личную канцелярию императора и из частных газет только «Новое Время» доставлялось прямо без цензуры. В одной из комнат редакции в Эртельевом переулке висела большая фотография Николая Второго, из кармана тужурки торчит номер «Нового Времени».

Так многое хочется сказать о старом Суворине и внутренней жизни «Нового Времени», бессистемной, даже беспорядочной, но с постоянным успехом, всегда сотрудники «Нового Времени» клиенты дорогих ресторанов.

Я перепрыгиваю с одного на другое и не совсем считаюсь с хронологией, пропустил еще многое созданное талантом А. С. Суворина, не упомянул, например, о таком важном журнале как «Исторический Вестник», о собственном театре в доме Апраксиной, о Литературно-Художест-

венном клубе, театральной школе, где устраивались знаменитые «субботники», в которых охотно принимали участие видные артисты, не упомянул о первом в России аэродроме в Новой Деревне, он назывался «Крылья».

**

А. С. точно по запаху находил подходящих людей и создал круг талантливых сотрудников, но кроме того он привлекал людей уже с именами высокими гонорарами: Гнедич, Амфитеатров, Сыромятников (Сигма), Скальковский, Салиас, Соловьев, Валишевский, лондонский корреспондент «Аргус», председатель английских журналистов, и чего больше — Чехов.

Чехов писал маленькие рассказики, то сумрачные или мрачные, то юмористические, на скромные гонорары жил сам и содержал многочисленных родственников.

А. С. Суворин предложил Чехову ежемесячную сумму без всяких обязательств, для того, чтобы он спокойно мог писать и таким образом помог Чехову плотнее войти в большую литературу.

Даже брата Чехова, тоже не без таланта, но пьяницу, устроили при «Новом Времени» — изредка он помещал в газете маленькие заметки, остальное время занимался корректурой. Весьма бойкая женщина, жена сотрудника «Нового Времени» Снессарева, а сама акушерка при лейб-медике Отте, чтобы отвлечь Чехова от алкоголя, забирала его к себе на мызу в Финляндии, вообще начальственно обходилась с ним и он с этим мирился, ему даже нравилось. Снессарев одно время был влиятельным сотрудником и он вопреки желанию А. С. Суворина проводил антифинские настроения, ссорясь с местными властями своей мызы. Он вел одно время коммерческие дела «Нового Времени» и тогда пользовался большим влиянием, но под конец по решению совета правления, уже после смерти А. С. был исключен из числа сотрудников.

Полагаю, что А. Чехов и А. Суворин искренно любили друг друга, они вместе уехали на германский курорт и Чехов оттуда уже не вернулся, умер там в 1904 году.

А. С. Суворин, вернувшись в Петербург с раком горла, с трубкой в горле, мог говорить только шепотом.

Последним увлечением его, несколько лет, была Клавдия Дестомб, молодая красивая актриса Суворинского театра. Когда он окончательно слег, она осталась при умирающем А. С. и изменилась до неузнаваемости, стала синим чулком, с резкими движениями, уже совсем не женственная — когда, прощаясь с ней в последний раз, я машинально притянул ее руку к губам, она ее отдернула — удивительна была такая перемена в человеке в течение двух лет.

**

В. В. Розанов и М. О. Меньшиков сами пришли в «Новое Время», из левой пристройки в правую, привлеченные высокими гонорарами. Хотел попасть в «Новое Время» и Дорошевич, еще до того, как он сошелся с Сытиным и стал получать у него большой оклад, однако Буренин, Гей и главное сам Суворин не захотели Дорошевича. Одно время мне нравились короткие строки Дорошевича, иногда в одно слово со знаком восклицания, но Буренин, глядя меня по плечу, наставительно говорил:

«Не увлекайтесь слогом Кабакевича», и на меня повлияли слова Буренина. Мне нравилась манера Скальковского и ему я вначале подражал, одно время показалась привлекательной даже манера Пшибышевского, с фразами без подлежащих или сказуемых, но быстро ушел от этого увлечения и до сих пор всячески стараюсь писать как можно проще, яснее и короче, что в действительности и есть самое трудное!

М. О. Меньшиков получал от «Н. В.» не в пример прошим по 50 коп. за газетную строчку, тариф тогда небывалый, тратил очень мало. В редакции М. О. ни с кем не дружил, едва здоровался, жил в Царском Селе, в Эртельев переулок заходил только за своей почтой. Мне удалось побывать у него дважды по его настойчивому приглашению, никакой другой сотрудник «Н. В.» не бывал у него.

Статьи Меньшикова читались во всей России и даже

заграницей; когда упоминалось имя какого-нибудь министра или другого русского сановника, ждали, что с ним что-то случится, и обычно не ошибались. Рассказывали сказки, что у Меньшикова несколько секретарей, а в действительности не было ни одного и даже никакой пишущей машинки, и он писал всегда рукой на длинных полосках бумаги и выходила как раз ширина газетной строки. Но осведомленность у М. О. была большая, сами министры и другие государственные люди через третьих лиц многое сообщали М. О., часто валили таким образом своих противников — Меньшиков знал много, и его статьи читал сам царь, и русским языком М. О. владел мастерски...

**

Это уже был январь 1917 или даже первые дни февраля, звонок ко мне домой, голос сразу не узнаю — М. О. Меньшиков:

«Владимир Пименович, вы удивлены вероятно моим звонком, но я долго думал, прежде чем позвонить и решиться на этот разговор, ни с кем другим такого вести не могу...»

Условились, что завтра я в таком-то часу буду на Царскосельском вокзале и тут меня встретит М. О. с тем, чтобы поехать к нему в Царское.

Это был небольшой деревянный домик, с деревянным крылечком в три ступеньки, кажется собственный дом Меньшикова; он вынул из кармана ключ, отворил входную дверь, вошли, обстановка в высшей степени скромная, много книг, рукописей, письменный стол завален бумагами, никого больше в доме.

Меньшиков сразу приступил к делу. За долгие годы литературной работы в ежемесячниках и в последние годы в «Н. В.», по более высокому тарифу, он скопил пятьсот сорок тысяч рублей, они помещены в государственную ренту, но теперь возникло у него беспокойство, не нужно ли что-то сделать, уцелеет ли полностью рента. Откуда-то у него сложилось убеждение, что я хорошо разбираюсь в финансовых делах, был уже директором больших акционерных обществ и моей работой остались

довольны — проще говоря, он спрашивает меня, что сделать с его 540 тысячами...

Я не колеблясь заявил, что нужно немедленно поменять его рубли на доллары или фунты или еще на какуюнибудь твердую валюту и благодаря его связям, между прочим, министр финансов Барк, член правления в «Н. В.», это сравнительно легко сделать... Это лучшее, что возможно сделать.

Меньшиков сказал, что он уже думал об этом, но сейчас доллар стоит так высоко, что при обмене придется потерять почти половину, это его удерживает. Я еще раз подтвердил, что несмотря на потерю при обмене, это лучшее, что возможно, война идет так, что рубль будет падать и дальше. А когда месяца через два я был уже в Японии, то русский рубль падал так катастрофично, что за рубль платили только 10 центов японских, а еще так недавно, до войны, рубль стоял выше иены...

Меньшиков не успел поменять свои деньги, он был убит на паперти собора Старой Руссы не по приговору Временного Правительства, а просто бандой матросов — единственный сотрудник «Н. В.», казненный во время революции, и то еще незаконными властями.



Нужно еще упомянуть о К. Тычинкине, которого никто не знал из читателей, а я знал очень близко. Тычинкин был филологом, учителем в гимназии, в то же время воспитателем детей Танеева, начальника личной канцелярии царя. Младший сын А. С., Борис, тоже был его учеником, вообще Тычинкин был как бы членом семьи Сувориных и он же былальным редактором «Нового Времени». В два часа ночи в редакции было уже пусто, оставался Тычинкин и к нему прибегал из типографии в соседнем доме старший метранпаж уже с полным набором газеты и ночной редактор решал, что отставить: всегда набора оказывалось больше, чем помещалось в номер. Тычинкин откладывал целые колонки, часть иногда вставлялась в номер назавтра, но многое устаревало и шло в разбор. Вследствие вычеркиваний иногда совсем менялся ха-

рактер номера, влияние ночного редактора было очень важно, нередко возбуждало протесты сотрудников, но сделанное оставалось.

Тычинкин полностью создал воскресное иллюстрированное приложение к газете — газета выходила не только семь раз в неделю, но к воскресному номеру за ту же плату было иллюстрированное приложение — таких газет нигде в мире не было.

Что столько набора пропадало было бесхозяйственно, неумело, но так было и «Новое Время» существовало, влияние его ширилось и росли доходы.

Пространно написал о суворинских предприятиях, но хотелось бы еще больше, об отдельных сотрудниках, среди которых были тоже необычные люди, никто из живущих их не знает, знавшие умерли, а это история русского быта, русской психики, русской души...

ЮРИЙ БЕЛЯЕВ

Не совсем ясно, что такое художественная литература, но как будто несомненно, что в художественной литературе должны быть не правдивые портреты, когда-то живших людей, а типы, созданные творчеством автора, его фантазией, и эти типы становятся бессмертными, а данные им имена уже нарицательными, и ими называют будущих людей похожих на созданных творческой фантазией автора. Никогда не было многих из тех людей, какие описаны в произведениях Шекспира или Диккенса, никогда не было Чичикова и остальных героев «Мертвых Душ» или «Ревизора», никогда не жил гончаровский Обломов или Дон-Кихот, но они стали бессмертными.

Когда Лев Толстой описывает Бородинское сражение, то бессмертными оказались Андрей Болконский и Пьер Безухов, которых никогда не существовало, и Анны КARENINой никогда не было, а ее имя знают все иностранцы и даже где-то на аукционе продавалось ее кольцо...

В моих портретах нет никакой художественности, это правдивые записи и именно без ретуши. Я в этой серии портретов просто фотографически записываю людей, которых близко знал, без всякого домысла — они могут быть интересны как бытописание, как картинки ушедшего навсегда русского быта.

**

Старик А. С. Суворин был известным человеком, многие интересовались им, хотели с ним встречаться. Был ли он хороший или плохой человек, с так называемой общественной точки зрения, судить не могу, но несомненно, что он был умный человек с оригинальными характерными чертами. Он не раз говорил:

«Люблю разговаривать с умными людьми, но и с глупыми иногда интересно, вообще люблю слушать разные мнения, но не переношу людей, которые пишут и говорят что-то неприятное, это не люди, а мозоли какие-то».

Этой черточкой характера Суворина очень умело пользовался Юрий Беляев. Беляев получал в «Новом Времени» жалованье, кроме того построчную плату, его пьесы «Письша», «Дама из Торжка» и «Красный Кабачек» шли в столицах и в провинции, и он довольно много получал от них, но денег всегда не хватало. Он приходил в кабинет А. С. в Эртельевом переулке, всегда после завтрака, потому что в это время люди в лучшем настроении, рассказывал какую-нибудь смешную петербургскую сплетню, иногда свой сочиненный анекдотик, вызывал улыбку у старика, напевал еще чуть-чуть какую-нибудь новую модную мелодию и протягивал Суворину маленькую записочку:

«Да что вы, Беляев, опять аванс, триста рублей... Да мне из конторы сообщили, что за вами уже двадцать тысяч, столько вы авансами набрали» — сердито говорил А. С. и бросал бумажку на стол.

«Никаких авансов, Алексей Сергеевич, я никогда не брал, это я беру в счет жалованья за будущие годы, ведь я еще молодой, доживу».

Старик жевал папиросу, тушил ее в пепельнице иставил свои буквы на записочке Беляева.

Была популярна повесть Беляева «Барышни Шнейлер», издание было распродано, тоже что-то заработал, но деньги погубили Беляева, он на них пьянствовал — алкоголь и другие одуряющие иногда помогают уходить от жизненной скуки, даже иногда дают инспирацию, но немного сверх меры и становится гибельным.

Беляев возвращался к себе на третий этаж, в достаточном опьянении, покачнулся, упал и через день умер.

Это был несомненно талантливый человек, остроумный собеседник, с ним не могло быть скучно.

**

Юрий Беляев не был большим писателем, не вошел в энциклопедические словари, но это был яркий необыч-

ный человек. Никто даже из близких его приятелей не знал его семьи, его происхождения, его образования, говорили только что он из Аракчеевских кантонистов.

Если было спросить Беляева что он теперь читает, то он неизменно отвечал:

«Мне некогда читать что пишут другие, я сам пишу...»

Еще он иногда добавлял, что из всех русских писателей стоит читать только Пушкина и считал себя пушкинистом, выискивал в чужих произведениях какие-то фразы о Пушкине, находил какие-то фотографии и из этого делал свои статьи.

Как театральный рецензент «Нового Времени», в то время влиятельной газеты, он выделялся. Актеры, а особенно актрисы, искали сближения с ним и потом вырывали из газеты его рецензии, и они, особенно в провинции, были лучшей рекомендацией для антрепренеров. Когда его пьесы с успехом появились на столичных сценах, антрепренеры стали с ним очень любезны и даже иногда давали авансы, что для Беляева было особенно важно.

Своим юмором и веселостью, без громкого смеха, только с улыбкой, он располагал к себе людей даже из враждебного лагеря, дружил и с рецензентами оппозиционных газет, так называемых левых или либеральных, а «Новое Время» считалось органом консервативным, во что бы то ни стало поддерживающим существующий строй, хотя порою от статей «Нового Времени» рушились карьеры министров, потому что эти статьи писались по данным из высоких сфер: даже министры подкапывались один под другого.

**

Воспитанностью и деликатностью Беляев не отличался, иногда позволял себе поступки, какие не простили бы другому. Даже в той же компании «Нового Времени» он иногда бросал фразы, каких не сказал бы никто другой: во время войны четырнадцатого года, когда был смешен с поста главнокомандующего вел. кн. Николай Николаевич, младший сын старика, Борис Суворин, открыто го-

ворил в своей редакции «Вечернего Времени» о Николае III и уже заготовил поздравительную телеграмму в день тезоименитства великого князя. Вошел Беляев, взял со стола эту телеграмму, прочел и наигрывая пальцами на губах пропел:

«Птичка прыгает на ветке,
Няня ходит спать в овин
Так позвольте Вас проздравить
Со днем Ваших именин...»

Борис Суворин натопорщился, но он поклонялся таланту Беляева, и телеграмма не была послана, и больше разговоров о Николае III в редакции не было.

Никто другой не пришел бы ко мне на Каменный остров в шестом часу утра требовать, чтоб меня разбудили. Я поздно лег, спал всегда чутко, услышал разговор в саду и звонок в подъезде, потом разговор уже внизу. Позвонил горничной, и она рассказала, что в столовой сидят двое господ, их впустил в ворота Ефим, одного он знал, бывал уже тут и когда я им отворила дверь они без спросу вошли и требуют, чтобы разбудить вас, доложить что Шах Бухарский и Эмир Персидский и что им нужно молочка, а я сказала что молоко будет только в семь утра, а они смеются и говорят, что это коњак...

Такие штучки Беляев выкидывал не только со мной, а и с важными персонажами, и на него не обижались. Они были где-то на Стрелке, на тоне, ели раков и уху, а главное пили.

Вторым был Шумлевич, спутник Беляева, Бориса Суворина, «вдовствующего брата» А. Столыпина, так его окрестил Беляев, исполнял всякие поручения Михаила Суворина, собирал артистов для субботников в Суворинской школе, дежурил в Суворинском клубе, всегда вносил оживление и обычно уже с утра был под влиянием алкоголя, но никогда не пьян.

Шумлевич умер позже всех перечисленных лиц уже глубоким стариком, в Белграде. Незадолго до смерти он писал — «Жизнь тут не петербургская, водка паршивая, скуча коричневая».

A. АМФИТЕАТРОВ

Одна из самых странных и необъяснимых журналистических выходок — большой фельетон Александра Амфитеатрова «Господа Обмановы».

Несколько лет Амфитеатров был сотрудником «Нового Времени», писал обычно большие низовые фельетоны за подпись «Ольд Джентльмэн». Он получал довольно высокий гонорар и, как сам потом рассказывал, пришел ему почему-то на ум бзик перейти в новую газету «Россия». Бросил он «Новое Время», и стал видным сотрудником этой газеты, почти редактором.

Я тогда жил еще на Урале, приехал в Петербург только на несколько дней, утром как всегда покупал все газеты и у меня оказался и номер «России». В два часа дня полиция разыскивала этот номер не только по всему Петербургу, но и по всей России, газетчики его продавали из-под полы уже по десять рублей и дороже. Амфитеатров был выслан в Сибирь, а газета закрыта.

Несмотря на разрыв с «Новым Временем», Амфитеатров тотчас же позвонил по телефону старику Суворину, сказал что его высылают и просил денег и шубу — Суворин послал ему и то и другое...

Много позже, при встречах с Амфитеатровым, я спрашивал его, зачем он написал такой странный пошлый фельетон, не мог же он не понимать, что это смерть для газеты, в которой он так хорошо устроился. По его словам сделал он это спьяна, фельетон был написан раньше, как шутка, совсем не предназначался для печати, а в этот вечер, а вернее уже ночью он приехал в редакцию после «хорошего» обеда и поставил в номер «Господ Обмановых».

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕ ЗНАЛ ...

Сидней Рэйли был близким приятелем Бориса Суворина, младшего сына издателя «Нового Времени», и почти каждый день бывал в редакции «Вечернего Времени». Он ничего не писал, никаких статей в газету не давал, но в редакции был свой человек. Уже тогда эта дружба мне казалась странной, впрочем он был еще связан с Борисом Сувориным по делам общества «Крылья», первый аэропром в России.

Суворин постоянно говорил о Рэйли не то шутя, не то серьезно:

«Сидней знает то, чего никто не знает».

И действительно Рэйли оказывался осведомленным в самых удивительных вопросах. Не было темы, на которую он не мог бы говорить. Особенно хорошо он знал эпоху Наполеона Первого. Он рассказывал о Наполеоне что-то совсем новое, чего другие не знали, находил это в тех же книгах которые читали и другие, но другие этого не замечали, а он как раз на этом останавливал свое внимание.

Рэйли свободно говорил на нескольких языках, и както, помню, на каком-то юбилейном обеде в ресторане Кюба, где было много сотрудников «Нового Времени» и разные иностранные корреспонденты и дипломаты, речи говорились на разных языках и все переводил гладко и правильно с одного языка на другой именно Рэйли. Его сухое лицо никогда не выражало внутренних переживаний, он был всегда точно в маске. Мне, тогда еще молодому человеку, Рэйли сразу показался загадочным, я смотрел на него с интересом и подозрением, Рэйли это видимо понимал и проникся скрытой неприязнью ко мне — так по крайней мере мне казалось. У меня была доверенность старика Суворина и деньги были под моим контролем, я под-

писывал чеки; на этой почве сразу создались холодные отношения не только с Б. Сувориным, но и со старшим братом Михаилом, главным редактором «Нового Времени».

Рэйли нигде не служил, ничего не делал. Помогал ему когда-то небезызвестный Абрам Животовский, знавший его по Дальнему Востоку. Когда однажды при мне спросили Рэйли о его происхождении, он ответил, вынужденno улыбаясь, что мать его была еврейка, а отец ирландский пастор...

Рэйли втянул Бориса Суворина в дело Петербургского аэродрома. И тут он действительно знал то, чего никто не знал. Он узнал, что со времен Петра Великого, коменданту Петербурга принадлежит право пользования большим земельным участком, называвшимся «Комендантское Поле». Фактически коменданты никогда этой землей не пользовались, а сдавали ее в аренду огородникам. Теперь арендаторшей на долгий срок была какая-то старая англичанка. Она платила ничтожную сумму годовой аренды и пересдавала от себя участки огородникам. Рэйли поехал к этой англичанке, очаровал ее своей любезностью и прекрасным английским языком и получил от нее право на сдачу всего этого поля под аэродром. Это было единственное под Петербургом место, пригодное для аэродрома. В дело вошел Б. Суворин и было организовано Акционерное Общество «Крылья». В результате всех этих операций старик Суворин потерял больше ста тысяч рублей и мне по его поручению пришлось оплачивать векселя, а Рэйли получал директорское жалованье от Общества «Крылья».

Одно время Рэйли жил на одной квартире с неким Гофманом; Гофман служил кассиром в одном из петербургских банков, растратил там большую сумму и застрелился. Деньги куда-то исчезли.

Начальник петербургской сыскной полиции Филипов, тогда уже в генеральском чине, рассказывал мне за завтраком у «Кюба», что это очень таинственное дело. Самоубийца оставил записку, что будто бы он эти деньги проиграл, а Рэйли утверждал, что его сожитель никогда игроком не был и тоже удивлялся куда исчезли деньги, и у самого

Рэйли, как выяснилось дальше, тоже никаких денег не было и жил он все время нуждаясь.

Филипов знал очень многое из закулисной жизни Петербурга, и иногда в дружеской беседе кое-что рассказывал, у нас было условие, что это понятно не для печати. Его помощник Кошко написал три очень интересных тома криминальной хроники предреволюционной России, а сам Филипов никаких записей не оставил, хотя я его не раз уговаривал записывать то что нельзя печатать, в том числе и придворные тайны — но он находил что положение его обязывает к полному молчанию.

Денежные дела Рэйли до войны были плохи. Бывали периоды, когда он не имел своей квартиры и ночевал у некоего Г. тоже приятеля Б. Суворина. Война сразу улучшила его положение. Животовский послал его с каким-то поручением в Нью-Йорк, снабдивши достаточным количеством денег. Рэйли был якобы влюблён в это время в жену адъютанта морского министра Григоровича, Залесскую. Григоровича называли в Петербурге «пещерным адмиралом» потому что во времена осады Порт-Артура он всегда зарывался в самые глубокие казематы, он больше любил мирную жизнь и женщин, чем опасности войны. И в то же время моряки и другие его сослуживцы говорили, что этот морской министр много лучше прежних, его любили.

Адъютант Григоровича дал согласие на развод со своей первой женой, и сейчас же подыскал себе другую, не менее красивую.

Диван, на котором спал у Г. Рэйли, иногда оказывался занятым и возникали недоразумения: вторым nocturnal ком бывал некий тоже Г., брат члена Государственного Совета. Он служил осведомителем в министерстве внутренних дел. Попросту в охранке. Он постоянно намекал, что Рэйли английский шпион. Б. Суворин, якобы обеспокоенный этим, навел справки через своего сотрудника Манасевича-Мануйлова у Белецкого, директора департамента полиции, но Белецкий уверил, что все это вздорные слухи: какие там шпионы и чьим шпионом может быть Рэйли? Позже, уже во времена войны, Борис Суворин спрашивался о Рэйли и в контрразведке Генерального Штаба и

там тоже удостоверили, что никаких подозрений против Рэйли не имеется.

**

Рэйли уехал в Америку один, а его невеста, Залесская, приехала туда несколько позже. Он встречал ее на пристани и когда она сошла с парохода, к Рэйли подошел американский полицейский чиновник и арестовал его по обвинению в торговле живым товаром. Как ни уверял Рэйли, что это его невеста, его все-таки задержали и предложили освободить только при условии, если он немедленно женится на этой женщине. Рэйли выразил полное согласие, но встретилось непреодолимое затруднение. Как раз был первый день Великого поста, когда по православному обряду венчать нельзя. Пришлось обратиться к самому русскому митрополиту в Америке — Платону, чтобы тот разрешил венчание. Платон разрешил и произошел небывалый случай в истории православной церкви, венчание на первой неделе Великого поста... Митрополит Платон сам мне об этом потом рассказывал.

Играла ли роль во всей этой романической истории действительно любовь или другие расчеты, но случилось как раз так, что Залесская, теперешняя жена Рэйли, оказалась племянницей генерала Германиуса, который был в это время председателем русской закупочной комиссии в Нью-Йорке. В руках Германиуса были десятки или сотни миллионов долларов. Контракт с той или другой фирмой по поставке военного снаряжения для России зависел от него.

Генерал Германиус считался кристально честным человеком, но не отличался большим умом, Рэйли это знал.

Помимо сдачи новых заказов на миллионы, в это время были большие затруднения с приемкой уже заказанного. Русские приемщики получили строгие инструкции принимать снаряды с большей тщательностью, так как оказалось, что доставленные уже в Архангельск не подходят к русским орудиям и стрелять ими нельзя!.. Приемщики стали предъявлять самые строгие требования к новым партиям снарядов, слишком перегнули в другую сто-

рону и сдачи совершенно остановились, ничего не принимали, все оказывалось забракованным.

Тут выступил Рэйли. Он поехал на заводы, которые ставили снаряды (Вестинггауз, Канадская Компания и другие) и предложил им наладить сдачу, устраниТЬ все трения и устроить еще новые заказы. Те сначала отнеслись недоверчиво, к ним уже являлись ранее десятки лиц с такими предложениями — но Рэйли дал неоспоримое доказательство своих возможностей. Он заявил, что генерал Гермониус, человек ни для кого недоступный, его близкий родственник, и что он с ним может делать что угодно. Рэйли условился с директорами двух заводов, что они приедут завтракать в нью-йоркский загородный ресторан «Кок д'Ор» и убедятся в том, что рядом за столиком будет завтракать он, его жена и генерал Гермониус...

Директорам было известно, что генерал Гермониус никогда нигде не бывает, а тем более не завтракает ни с какими посредниками или поставщиками. Залесская уговарила своего дядю поехать завтракать за город и Рэйли таким образом демонстрировал перед директорами ничего не подозревавшего генерала.

Через несколько дней был заключен договор, по которому Рэйли получал двадцать пять центов комиссионных со всякого сданного снаряда. Ему не пришлось ровно ничего предпринимать для налажения сдачи. Он уже знал, что из России получена новая инструкция не так уже сильно придираться при приемке, ибо армия сидит вовсе без снарядов. Приемка сразу облегчилась и заводы были уверены, что это устроил Рэйли.

**

В 1917 году, когда я встретил Рэйли в Нью-Йорке, он занимал уже целый апартамент в одном из самых дорогих отелей Нью-Йорка, Сэнт-Риджис на Пятом Авеню и швырял деньгами. Когда я сказал ему, что могут выйти неприятности по его возвращении в Россию, Рэйли цинично ответил:

«Плевать мне с высокого аэроплана» (перефраз русской поговорки «с высокого дерева»).

Через некоторое время Рэйли развелся со своей женой и женился вторично на какой-то чилийке или аргентинке, Пепите. Между прочим по-английски вышла книга ее воспоминаний о Рэйли.

После 1917 года я Рэйли больше не встречал. Зато интересные подробности о дальнейших его приключениях рассказывал мне и записал мой давнишний приятель, инженер путей сообщения Белой.

Пишу по его записи и в правдивости не сомневаюсь.

«Я встретился с Рэйли снова в Москве осенью 1918 года уже при большевиках. Рестораны были еще открыты и мы завтракали с ним в «Эрмитаже». Он был теперь в форме английского офицера и против своего обыкновения как будто разоткровенничался. Он не скрывал своего враждебного отношения к большевикам. Утверждал, что власти их скоро придет конец, что Англия уже приняла решительные меры. Мне было известно, что в Москве и Петербурге некто Лич, англичанин хорошо говорящий по-русски, продавал чеки на английские банки, на большие суммы, и что вырученные деньги будто бы шли на поддержку Деникинской армии. Я спросил у Рэйли, правда ли это и был удивлен, что Рэйли совершенно откровенно подтвердил, что это так, но что английское правительство крайне недовольно действиями Лича, доверенность Лича будет уничтожена, и что все дело передается ему, Рэйли.

«После этого свидания — продолжает Белой — прошло два года, когда ко мне на квартиру в Петербурге позвонили по телефону и незнакомый женский голос потребовал у меня неотложного свидания по какому-то весьма важному делу. Время было совсем неподходящее для свиданий с таинственными незнакомками, но она так настаивала, что я все-таки согласился. Встреча произошла на улице. Незнакомка — я так до сих пор и не знаю кто она была — сообщила мне, что один мой старый друг находится сейчас проездом в Петербурге, хочет меня непременно видеть, но боится выходить на улицу, а потому я должен прийти к нему. Я, подумавши, отправился по указанному адресу. Дверь открыл человек с темно-рыжей бородой — это был Рэйли. Борода так изменила его, что я узнал его только по голосу и по глазам. Рэйли сразу пе-

решел к сути дела после первых же приветствий. Он говорил теперь уже вполне откровенно. Ему даны самые широкие полномочия и почти неограниченные средства для организации заговора против большевицкой власти. План этого заговора, известного под именем Локкартовского, был будто бы всецело разработан Рэйли. Предполагалось покупить командира одного латышского полка и он должен был арестовать весь Совет Народных Комиссаров и передать власть новому Временному Правительству. Были намечены имена всех будущих министров, но я — говорил Белой — к сожалению, большинство забыл. План в общем был фантастический. Рэйли удалось войти в сношение с командиром латышского полка, тот согласился на сделанное ему предложение и получил аванс в миллион рублей. Но затем то ли испугавшись, то ли по убеждению, донес по начальству и в доказательство представил эти деньги. Произведены были аресты и обыски, вплоть до английского посольства. При этом между прочим был убит капитан английской службы Крони, который еще в начале войны на подводной лодке прошел из Англии в Либаву.

Рэйли удалось ускользнуть только благодаря случаю совсем необыкновенному. В тот самый вечер когда производились обыски и аресты в обеих столицах, он оказался в поезде, шедшем из Петербурга в Москву. Узнав в Твери о провале своего дела, он немедленно пересел в обратный поезд и вернулся в Петербург, где спрятался у своих людей. Теперь он искал возможности уехать заграницу и не выходил из дома, отращивая бороду по тому фасону, какой был на карточке какого-то либавского мещанина — его паспорт оказался каким-то образом у Рэйли. Ко мне Рэйли обратился с просьбой помочь ему в побеге. Эта просьба поставила меня в весьма затруднительное положение. Рэйли как будто делал дело громадного значения для России и тогда для спасения такого человека нужно было рисковать. Но с другой стороны, весь заговор был обставлен столь наивно (не говоря уже о том, что я не был включен в список министров!), что особой охоты подвергать себя опасности у меня не было. Однако мы стали совместно обсуждать план бегства. Было ре-

шено, что он обратится к остававшемуся еще тогда в Петербурге испанскому посланнику Контрерас, расскажет ему откровенно все дело и попросит содействия. А я обращусь в комитет, ведавший тогда выездом латвийских граждан, и постараюсь добиться включения Рэйли, под видом этого либавского мещанина, в ближайший эвакуационный эшелон. Дальнейшие разговоры мы решили вести по телефону и составили даже особый шифр, причем помню Контрерас именовался Кондратьевым.

На другой же день я начал хлопоты с его паспортом, но после ряда мытарств по всевозможным учреждениям, убедился, что эта дорога для Рэйли закрыта. Требовалась такая масса различных удостоверений, справок и документов, что провал где-нибудь был совершенно неизбежен. К тому же ближайшая партия отправлялась только через несколько недель, а Рэйли сидел как на огне. Через несколько дней Рэйли сообщил мне по телефону, что «Кондратьев ехать не хочет». Потом выяснилось, что испанский посланник, выслушав рассказ его, сделался белее мела и стал умолять Рэйли не вмешивать его в это дело. Он со своей стороны обещает никому ничего не говорить, никогда никакого Рэйли он не видал.

Приходилось думать теперь о самом простом способе. Мы решили ехать в Ораниенбаум и там найти перевозчика. Деньги у Рэйли имелись, а посторонний человек не мог знать какую серьезную персону он везет — это служило некоторым залогом успеха.

Выбравши пасмурный день и одевшись как можно непригляднее, мы выехали в Ораниенбаум. Рэйли все время читал в вагоне газету, прикрывая ею лицо. Я особенно боялся за его глаза — по ним его легко было узнать. Мы условились, что в случае расспросов мы скажем, что едем покупать продовольствие и даже взяли с собой несколько корзин и мешков. По счастливой случайности нам удалось уже на вокзале в Ораниенбауме купить грибов и еще чего-то.

Впрочем никаких заградительных отрядов нам не встретилось ни по пути туда, ни обратно, когда я ехал один. Прямо с вокзала мы пошли к единственному моему знакомому в Ораниенбауме, у которого я когда-то на-

нимал дачу. Этот мужик был отъявленный пьяница и мы сыграли на его слабой струне, начав с предложения раздобыть для нас спирта, причем мы за ценой, дескать, не постоим. Через полчаса на столе стояла самогонная водка, а еще через полчаса мы уже открыли нашему хозяину настоящую причину нашего посещения. К нашей радости он нисколько не удивился. Дорожка, оказалось, была проторена и дело было только за ценой. Рэйли мог удовлетворить самым высоким требованиям и наш хозяин согласился доставить его в Финляндию, но не из Ораниенбаума, а из какой-то другой деревни на берегу Финского залива, где специально был ход контрабанды. Ехать туда нужно было поздно ночью, а мой последний поезд уходил в девять часов вечера. Мне пришлось попрощаться с Рэйли и вернуться домой с головной болью от самогона и с мешком грибов.

Я рассчитывал поехать потом в Ораниенбаум и узнать как прошло дело. Но через несколько дней я попал в засаду, просидел три недели в Чека, а дальше пошли уже такие времена, что было не до поездок.

Я не узнал о подробностях этой переправы даже и от самого Рэйли, когда встретил его в 1922 году в Берлине. На мой вопрос он ответил буквально следующее:

«Знаете это так давно было, что я все забыл».

Кстати сказать, он забыл и поблагодарить меня и вообще имел вид человека рассеянного и чем-то поглощенного.

Это была моя последняя встреча с этим загадочным и недюжинным человеком».

**

Дальнейшая судьба Рэйли известна. Он был проследжен большевиками и когда уже не в первый раз переходил границу из Финляндии в Россию под именем торговца Штейнберга, его опознали. Он стал бежать, в него стреляли и тяжело ранили. Тогда появилось официальное сообщение в советских газетах, что Рэйли убит. В действительности он был отвезен в Москву, его вылечили и он дал большевикам исключительно ценные показания. Через год или около того в советской газете «Правда» целая

страница была занята показаниями Рэйли, относительно иностранной разведки в России — это было тогдашней сенсацией.

Приходится все-таки удивляться той несерьезности, с которой действовал Рэйли. К делу были причастны лица незаслуживающие ни малейшего доверия.

Доверенным английского правительства в Москве, как уже сказано, являлся некий Лич, Фарран Фарранович, как его звали по-русски. Он выдавал в Петербурге и в Москве обязательства английского правительства на Мидлэнд Бэнк в Лондоне в обмен на русские деньги. Таких писем Лич выдал больше чем на пятьсот тысяч тогдашних фунтов, и эти деньги были уплачены держателям его обязательств в Англии полностью. Из этого ясно, что он был действительно уполномоченным английского правительства. Все поражались, что Лич пользуется таким доверием.

В 1919 году я встретил Лича в Лондоне, в каком-то клубе. Он рассказывал мне об издании русской газеты или журнала с целью антибольшевистской пропаганды, это издание должно было субсидироваться английским правительством. Но из этого ничего не вышло. К этому времени мнение о нем в английских кругах, видимо, изменилось, он потерял доверие.

Лич быстро прожил довольно большие деньги, заработанные им на русских операциях, и стал опускаться все ниже. В 1927 году он уже служил швейцаром в парижском отеле «Амбасадор», потом шофером, а затем вообще исчез.



Известный коммерсант и очень добрый человек Гинзбург Порт-Артурский, под каким именем все его знали, рассказывал мне (в 1917 году), когда мы жили в Японии, что в Порт-Артуре во время русско-японской войны, где у него была большая деловая контора, Рэйли служил конторщиком, считался очень способным, и Гинзбург рассчитывал дать ему большие полномочия, но во время осады японцами Порт-Артура Рэйли вдруг исчез. Среди русских возникло мнение, что он был шпионом, неизвестно чьим, как часто бывает во время психоза шпионома-

нии, но позже стало известно, что японцы предлагали 10.000 иен за голову Рэйли!

Гинзбург давно умер в Париже, и похоронен на кладбище Монпарнас под черной, полированной каменной глыбой, удивительным памятником с надписями по древнееврейски.

КАПРИЗЫ РОКА, А. И. ГУЧКОВ

Александр Иванович Гучков был несомненно умный и образованный человек, превосходный оратор, воспитанный и симпатичный в личном общении, постоянно был занят мыслями о больших общественных и государственных планах, составлял их вполне логично и разумно с желанием создать что-то нужное и ценное для России — и постоянно его планы терпели крушение или давали результаты совсем обратные тем, какие он ожидал.

По совсем разным обстоятельствам лет тридцать я часто встречался с ним и знал его до последних дней его в общем печальной жизни: личная его жизнь была так же неудачна, как и общественная...



За много лет у меня собирались записи о разных интересных людях, с которыми пришлось встречаться, и я тогда же записывал о них кое-что. Собралось несколько папок таких «мемуаров», могла бы получиться объемистая книга, но просматривая позже записанное я, к сожалению, увидел, что у меня гораздо больше записано отрицательных типов и отрицательных человеческих черт, и я решил этих мемуаров не печатать. Мне было даже неловко за себя самого, значит я больше встречался с людьми плохими, а не хорошими? Однако, оказывается, что в произведениях и больших русских писателей, да и не только русских, тоже гораздо больше типов отрицательных, нежели положительных, и когда эти писатели брали типы положительные, то выходило скучно и если Гоголь действительно сжег вторую часть «Мертвых Душ», то только потому, что хотел там нарисовать ряд положительных типов и понял, что

они скучны и неубедительны — я не верю, что он действительно сжег какую-то очень ценную рукопись в своем религиозном экстазе, решивши, что эти мирские записи ни к чему. Когда Лев Толстой в последние годы жизни забраковал и высмеял свои великие произведения, давшие ему мировую славу, он стал писать тоже что-то скучное, наивное, анти-государственное, подготовлявшее теперешнюю жизнь России. Отрицательные типы — это сатира, и описанием отрицательного, высмеивая его, можно сделать гораздо больше, нежели умиленно-миндальным восхищением, незаслуживающим доверия читателя, производящим впечатление искусственного и наивного, деланного.

Так или иначе всех этих своих мемуаров я решил не печатать уже хотя бы потому, что многое казалось мне теперь неинтересным. Принято писать о людях известных, особенно о знаменитых, и нередко писатель создает себе популярность тем, что так или иначе присоседился к великому человеку и держась за колесницу триумфатора или хотя бы за фалду, стал тоже более или менее известен. Интересные типы людей не только среди знаменитостей, встречаются они среди нас в обыденной и даже серенькой жизни, но если описывать какого-то Ивана Иванова, ничем не прославившегося, не нашумевшего, выйдет неинтересно для широкого читателя, нужно какое-то известное имя, тогда интересно...

**

Гучков был видным и известным человеком. Из богатой московской купеческой староверской семьи, он уже в молодости выделялся. Удивительно, или может быть, вполне нормально и логично, что яркие люди предреволюционного русского периода были не из дворянской среды, а из купеческой или мещанской.

Я знал в Москве одного богатого коммерсанта, который упорно до конца жизни подписывался на официальных документах — «крестьянин такой-то волости, такой-то губернии». Вот и недавно умерший талантливый драматург Сургучев тоже постоянно повторял, что он из крестьян, зато, например, лауреат Бунин при всяком удобном

и неудобном случае подчеркивал, что он дворянин — вкусы различны у людей, это и хорошо, иначе жизнь была бы еще скучнее.

Именно староверческое купечество дало ряд ярких личностей, и они оставили в жизни России культурный след, чего вовсе не сделали дворяне при своих привилегиях и богатствах.

И странно и естественно, что из гонимых староверов выходили яркие люди, происходил отбор, переживали только более сильные и если говорить о какой-то идеиности, хотя бы и невежественной, то она была именно у староверов. За веру они переносили гонения и лишения, не материальные выгоды руководили ими; не может быть речи о материальных выгодах, когда люди теряли все привилегии и состояния из-за того, что хотели креститься не так, как велели православные попы, скитались в Керженских лесах или на Мезени, даже бежали из России в чужие края, как мои предки; их гнали, преследовали, требуя, чтобы крестился тремя перстами, а они стояли на своем и неотступно держались старой веры отцов, не подвергая ее критике. Одна из самых позорных страниц русской истории — преследование старообрядцев русским духовенством, и я, не будучи уже с детства старовером, чувствую в себе постоянный протест против этих духовных властей.

Гучков был тоже старовер и в Государственной Думе, уже после революции 1905 года, им был внесен закон об уравнении прав старообрядцев, раскольников, как их называл закон. Мы то раскольники именно себя считали православными, исповедующими древнюю веру праотцев, а православных называли никонианцами. И то и другое не выдерживает критики, почти абсурдно, но русское православное духовенство проявило непростительное недомыслие и было преступно в гонении на староверов. До Государственной Думы мы были не только лишенцами по советскому словарю, а нас преследовали как врагов отечества. Лично меня эти преследования не коснулись, и не за себя я говорю, но видимо нельзя уйти от предков, и они говорят во мне.

Во время бурской войны Гучков поехал добровольцем в Южную Африку, чтобы сражаться за буров против англичан; в то же время молодой еще Черчиль был корреспондентом в рядах английских войск. Оба были взяты в плен: Гучков англичанами, а Черчиль бурами! Оба как-то быстро освободились из плена и на одном пароходе уехали в Англию, уже дружески общаясь, и эта дружба потом сохранилась надолго.

Дальше Гучков стал заниматься общественной и политической деятельностью, сделался лидером октябристов и, наконец, председателем Государственной Думы. Из-за вопросов общественно-политических он несколько раз дрался на дуэли, проявляя при этом несомненную смелость, весьма неодобрительную и глупую с моей точки зрения, но высокочтимую по старым дворянским традициям. Последняя его дуэль была с жандармским полковником Мясоедовым, которого он с кафедры Государственной Думы обвинял в шпионаже.

В «Вечернем Времени» была напечатана сенсационная статья за подпись Бориса Суворина о том, что в нашей армии имеются шпионы и предатели, подразумевался жандармский полковник Мясоедов. Мясоедов явился в редакцию для объяснений, но Суворин его не принял. Назавтра, на бегах, Мясоедов подошел к Суворину и ударил его, сбил котелок, а затем прислал к нему своих секундантов. Суворин отказался от дуэли. Гучков заявил, что это он автор статьи и предложил драться на дуэли с Мясоедовым. Дуэль происходила в окрестностях Петербурга, Мясоедов и Гучков стреляли, но безрезульта. Мясоедов считался хорошим стрелком, и со стороны Гучкова было большой храбростью согласиться на эту дуэль.

Гучков мне подробно рассказывал об этой дуэли. Она была назначена в лесу за Новой Деревней. Полиция уже узнала о том, что готовится дуэль, и решила ей помешать. Гучков рано утром вышел из дома и заметил, что за ним следят. Тогда он быстро поехал в Адмиралтейство, где жил его родственник молодой офицер Зилотти, вошел в квартиру Зилотти и попросил вывести его из Адмиралтейства

каким-нибудь задним ходом — полиция потеряла след. Как условлено, встретились не на том месте, какое предполагалось раньше, а на другом, тоже в лесу. Секунданта-ми Гучкова были Боткин и Звегинцев.

По команде противники стали сходиться, и Мясоедов выстрелил в упор в Гучкова. Видимо он волновался и промахнулся. Гучков слышал, как пуля прожужжала мимо. Гучков поднял руку вверх и выстрелил почти вертикально в воздух, Мясоедов потребовал второго выстрела, возмутился тем, что Гучков отказался стрелять в него. Но секунданты решили, что дуэль кончена.

Дело Мясоедова началось с того, что Гучкову, как председателю Государственной Думы, стало известно, что в русской армии вводится жандармский сыск. Командирам частей предлагалось сообщать сведения о политических убеждениях и личной жизни офицеров и все эти сведения должны были сосредоточиваться в руках центрального органа. Во главе его Сухомлинов решил поставить Мясоедова, и государь на это согласился.

Гучков считал, что такой жандармский сыск будет позором для армии, а еще хуже, что судьба тысяч офицеров вверяется такому человеку, как Мясоедов. На первом же секретном заседании какого-то комитета, где присутствовало несколько министров, в том числе и военный министр Сухомлинов, Гучков поднял об этом вопрос. Сухомлинов смущился, но заявил, что эти сведения неверны, никакого жандармского сыска в армии не вводится. На следующем заседании Гучков повторил вопрос и представил документы, из которых явствовало, что Сухомлинов врет, сырк установлен. Сухомлинов тогда заявил, в противоречие тому что говорил раньше, что уже сделано распоряжение об отмене этой организации.

Уже тогда у Гучкова появились подозрения, что вся идея этой организации принадлежала Мясоедову или лицам, стоявшим за ним. Если бы она была полностью осуществлена, то в руках Мясоедова, а значит и германской разведки, оказалась бы самая широкая осведомленность.

Весьма вероятно, что Мясоедов был обвинен и казнен несправедливо, он может быть не был шпионом: во время войн, и потом еще долго после них, люди живут в психо-

зе шпиономании, всюду видят шпионов, подозревают друг друга, часто не отдавая себе даже отчета в чем может состоять шпионаж в наше время, когда и без шпионажа все известно.

**

Вспоминаю какой-то обед, устроенный «Новым Временем», на котором были представители иностранной журналистики и дипломаты и многие говорили речи на разных языках; речей было так много, что все возможное было уже сказано и под конец выступил с речью Гучков. Я с удивлением посмотрел на него, и у меня явилось сомнение, что он может еще сказать, уже все сказано, будет повторять уже сказанное. К моему удивлению его речь оказалась самой блестящей и в ней было что-то совсем новое — он был удивительным оратором. В частной беседе Гучков тоже был в высшей степени занимательным собеседником, мягкий бархатный голос, правильно построенные фразы и всегда какое-то интересное содержание.

Но... Государственная Дума, в которой был председателем Гучков, была распущена и ничего существенного не сделала. С думской кафедры он нападал на великих князей, занимавших разные ответственные должности не по уму и не по заслугам, требовал их смешения, а затем получил от Николая Второго отречение от престола в вагоне императорского поезда. Гучков был прав в своих нападках и обвинениях, но результаты его побед оказались трагическими, и мы русские сидим сейчас не на родине.

После февральской революции Гучков стал военным министром и приказ номер первый, окончательно разложивший армию, был издан при нем, хотя и против его воли.

Позже в эмиграции, уже при советском правительстве, Гучков не раз говорил о твердой власти, и мне казалось, что ему была более близка для России конституционная монархия.

Поселившись после революции в Лондоне, Гучков общался с Черчиллем и другими видными членами британского правительства и всячески старался помогать, если не интервенции, то снабжению армии Колчака, Деникина

и Врангеля, но и из этого ничего хорошего не вышло. Дальше живя то в Берлине, то в Париже, Гучков устраивал издания разных антисоветских листков и брошюр, но по моему разумению они были весьма наивны, в них не было даже настоящей осведомленности и, понятно, никакого результата не получилось.

Еще дальше он вошел в несколько небольших русских предприятий, включая, например, недоброй памяти Казачий банк, и все эти предприятия кончились крахом и даже свои последние крохи он там похоронил. Сколько раз он говорил мне об этих предприятиях, и я при полном уважении к нему старался только смягчить мое определенно отрицательное мнение, ясно было, что ничего кроме краха не получится, а у него как будто были большие надежды.



С А. И. Гучковым я впервые встретился на общем собрании «Нового Времени». Он был пайщиком и обычным председателем общих собраний. Вел он эти собрания превосходно, то-есть именно так, как было нужно для того, чтобы не создавать инцидентов и не обострять отношений, инцидент очень легко мог случиться из-за денежных отчетов. Большинство паев Товарищества «Новое Время» было уже вне семьи Сувориных, а Суворины попрежнему рассматривали кассу Товарищества как свою личную. Незадолго до смерти А. С. Суворин выдал мне доверенность, как управляющему коммерческими делами Товарищества «Новое Время» и мне приходилось всячески увертываться, чтобы избежать открытых конфликтов. Иногда я нарочно уезжал в автомобиле куда-нибудь за город, чтобы меня не могли найти. Это был единственный способ избежать уплат по редакционным запискам, выходившим из всяких смет.

Ко мне в кабинет на Невский заходил сенатор Фролов, редактор «Исторического Вестника» Шубинский, Меньшиков, ряд других пайщиков и все они давали понять, что на мне лежит обязательство не давать Сувориным дальнейших авансов. Однако, я принужден был опла-

чивать хотя бы часть редакционных записок, чтобы не создавать резких конфликтов. Всем протестовавшим я предлагал внести этот вопрос на обсуждение в общем собрании, но на этих собраниях никто с протестом не выступал, ссориться с Сувориными не хотели; в числе пайщиков «Нового Времени» были тогдашние богатые люди, как Нобель, Утеман, Грубе, был пайщиком и министр финансов Барк, директор Московского Купеческого банка Мухин и другие, но эти даже и претензий никогда не заявляли.

Был, наконец, целый скандал со стрельбой когда старший сын Суворина, Алексей, на собрании стал стрелять в зеркала и зеркальные окна, не с целью кого-нибудь убивать, а чтобы вызвать полицию и придать делу огласку, чтобы он потом печатно мог высказать свои протесты против порядков в «Новом Времени». Зеркала в зале второго этажа Суворинского дома и одно оконное стекло были прострелены, но полиция не появилась, все утихло, мирно разошлись с улыбками... Не надо выносить сор из избы — было постоянным лозунгом старика Суворина, и этот лозунг остался и после его смерти. И может быть и в государственных делах не надо было выносить сор из избы, а умный Гучков был одним из тех, кто это делал, делал это, руководясь как будто честными гражданскими принципами, а в результате погиб и сам и погубил многих других. Всякий раз, когда я думаю об этом мне кажется, что представителей власти нужно выбирать с громадной осторожностью, но когда им власть дана не надо допускать бульварную гласность, не надо тотчас же отдавать все на суд толпы, хотя бы это как будто и противоречило понятию о свободе слова и печати.

На первом же собрании, где я встретился с Гучковым, он был предложен в председатели, я — в секретари. Так это оставалось всегда и в дальнейшем.

После собрания Гучков сказал мне:

«Вы, пожалуйста, протокола не пишите, а приезжайте завтра ко мне, после завтрака, и напишем его вместе».

«Не беспокойтесь, Александр Иванович» — сказал я

смеясь — «протокол я сегодня напишу, пришлю вам, а вы посмотрите — думаю, что все окажется в порядке».

Так и случилось. Гучков подpisaал протокол без единой помарки. Я тоже уже хорошо знал карту подводных скал «Нового Времени».

В дальнейшем он уже не беспокоился и был случай, когда подpisaал протокол, не читая.

**

После революции я встретил Гучкова в Лондоне. Он жил в чьей-то частной квартире на Кортфилд-Гарденс.

Он сильно изменился, поседел. Остался тот же мягкий приятный голос, но уже без былой уверенности. Говорил он так же гладко и красиво, хотя пережитое оставило неизгладимый след.

На маленьком бланке «Пиккадилли Отель», где я тогда жил, у меня сохранилась запись разговора с Гучковым.

Он говорил:

«Вчера я видел Черчиля, (это было 4 июня 1919 года), он обещал помочь армии Деникина. Мы будем сейчас совместно разрабатывать план действий... На севере уже переболели большевизмом, но центр России еще загадка. Трудно учесть настроения крестьян».

Он соглашался с мнением, что чем программа левее, тем она жизненнее для теперешней России. Мечтания о возврате к прежнему абсурдны. Но добавлял:

«Однако, я не считал бы возможным утверждать, что непременно должна быть республика... Во всяком случае это дело Учредительного Собрания».

Припоминая разговоры с А. И. Гучковым за много лет, приходится удивляться, что будучи очень интересным собеседником, он никогда не говорил о литературе, ни об искусстве, ни о театре в частности, даже ни об эмигрантских сплетнях, он говорил всегда только о политике и общественных вопросах. Была ли это только игра, некоторое актерство, обдуманная программа или действительно его ничто другое не интересовало, и он весь был пропитан политикой и общественными вопросами. Только в

самое последнее время, когда его средства стали очень скучны, он почти нуждался, не имел возможности помогать своим детям от второй жены, он начал иногда говорить о коммерческих предприятиях, но всегда его планы не сулили успеха, что мне было ясно, и так оказывалось потом на деле.

Его коммерческие планы и предположения были до удивительности наивны. Последним его «коммерческим предприятием» были абсурдные американские автоматы, стеклянные ящики, дно которых было засыпано зелеными конфетами, а сверху горкой лежали разные вещи и с помощью ловких манипуляций нужно было их вытаскивать оттуда, предварительно опустивши монету в отверстие автомата. На последние деньги Гучков купил такой автомат и даже уговорил свою старую няньку тоже поместить таким образом ее скромные сбережения. Гучков старался уговорить меня, написал целый доклад, чтобы я вошел в такое предприятие, покупать эти аппараты в Америке и ставить их по быстро и кафе в Париже! Мне было совершенно непонятно, как он такой умный человек, не понимает абсурдности и даже некрасивости этого дела, обреченного на несомненный провал, а он настаивал. Все другие его коммерческие проекты были явно наивны. Даже когда он рекомендовал нам удивительную, по его словам, повариху, то и тут кончилось неприятностями.

**

Гучков умирал в страшных мучениях, от рака, до удивительности геройски переносил эти страдания, старался улыбаться в разговоре. Незадолго до смерти написал письмо в стихах и когда он умер в клинике, его похоронили в маленьком деревянном гробике, таком маленьком, что два человека легко вдвинули его в катафалк у русского храма на рю Дарю. У меня невольно навернулись слезы, почти никто не поехал на кладбище.

А когда он лежал в клинике, я встретил у его постели, незадолго до его смерти, неизвестного мне человека, оказавшегося одним из опаснейших врагов русских эмигрантов, Скоблина, а позже узнал, что Скоблин постоянно

бывал непременным членом секретных совещаний, которые время от времени устраивал Гучков у себя на дому. Понятно Гучков не подозревал Скоблина, как не подозревали его и другие, но все-таки удивительно, как он не разбирался в людях и боялся не тех кого нужно было бояться.

Гучков был на редкость одаренный человек, несомненно честный в своих убеждениях, хотя бы и изменчивых, но точно по воле рока все к чему он ни прикасался, обречено было на провал. Какая-то трагическая судьба: природа наделила человека большими способностями, а какая-то злая воля толкала его на неудачные поступки.

ЖУРНАЛИСТ ШЕБУЕВ

Вспомнился шумевший в свое время журналист Шебуев, богемный, беспардонный, но несомненно талантливый. После девяносто пятого года он издавал в Петербурге журнал «Пулемет», как-то на первой странице был напечатан кровавый оттиск ладони и под ним краткая подпись «руку приложил». Имя царя не упоминалось, но все поняли, что это взято из постоянного — «государь император руку приложил». Журнал закрыли, Шебуева арестовали, но он скоро был освобожден и немного позже стал издавать другой журнал, не помню как он назывался: тоже на первой странице, в красках, был напечатан осел, просто осел, без всякой подписи. Редактора немедленно вызвали к министру внутренних дел, кажется тогда был Дурново, и министр встретил Шебуева окриком:

«Как это вы дерзнули напечатать на первой странице в красках осла, без всякой надписи, кто это осел? Намек на меня, а может быть на кого-нибудь и повыше?.. Я вас вышлю из Петербурга, если такие штучки будут повторяться».

Шебуев с самым невинным видом уверял, что ни на кого намека тут нет, просто напечатали осла, очень милое и трудолюбивое животное. Министр продолжал сердиться, топал ногой, грозил, но никакой кары на Шебуева на этот раз наложено не было — были уже другие времена.

Шебуев нарочно дразнил общественное мнение, ходил по улице в цилиндре и в смокинге с цветным галстуком и в белых башмаках, нарочно говорил иногда как будто глупое и несуразное, но в этом всегда был юмор и скрытая сатира.

Когда я стал издавать журнал «Столица и Усадьба» Шебуев несколько раз приходил ко мне и выражал жела-

ние стать сотрудником, и не потому только, что я плачу хорошие гонорары, а потому, что ему непременно хочется побеседовать с верхними слоями, куда проникает мой журнал. Я доказывал, что он никак не подойдет для «Столицы и Усадьбы», его тон не в стиле журнала, не по вкусу моим подписчикам и читателям, но он настаивал, уверял, что приспособится и напишет совсем подходящее. Раза два или три приносил небольшие статьи, но я отказывался их напечатать, однако он продолжал писать и однажды принес очень красочно и ярко написанную небольшую статейку. Описывался породистый пудель, подстриженный опытным парикмахером подо льва, с пучком волос на конце хвоста, с большим розовым бантом из шелковой ленты, с умными вдумчивыми глазами. Этот пудель был умнейшим пуделем среди всех пуделей и он впервые среди животных задумался о смысле бытия, о целях мироздания и пришел к мысли, что несомненно всем управляет какой-то божественный пудель. Всем правит бог-пудель, еще более породистый чем он сам, с яркими красивыми бархатными бантами, этот пудель всемогущ и ему все подчинено...

Я напечатал эту статейку и вызвал возмущение и протест Святейшего Синода, оттуда обратились к министру внутренних дел с требованием конфисковать номер и подвергнуть меня взысканию, но никакого штрафа на меня не наложили, номер не был конфискован, никто из читателей никаких протестов не заявлял, и тираж журнала не упал, а все поднимался...

В одном из четырех фешенебельных клубов Петербурга по вторникам обедал обер-прокурор Синода Раев, мы сидели за одним столом, оказалось, что он о пуделе читал, но лично никакого неудовольствия не выразил.



Как и полагается много думающему человеку, пишущему, занятому своими идеями, В. В. Розанов не читал газет и журналов или случайных книг — только то, что было в области его мышления. Видимо около года он

даже не знал, что я издаю какой-то журнал, но как-то, уже в подъезде редакции или на тротуаре, он сказал мне:

«А вы говорят какой-то журнал с успехом издаете, так пришлите мне пожалуйста, я покупать не могу, он дорого стоит, а зарабатываю мало, а семья у меня большая...»

Зарабатывал Розанов больше других журналистов, в «Новом Времени» ему платили достаточно, его книги хорошо продавались и он еще писал под псевдонимом Барварин в «Русском Слове», в самой распространенной московской газете, там тоже хорошо платили. Как-то сказал мне по секрету, что уже собрал шестьдесят тысяч рублей, отложил в государственной ренте, но этого мало для обеспечения семьи.

Я послал ему несколько номеров своего журнала и в одном из них как раз была эта статейка Шебуева о пуделе. При следующей встрече В. В. отвел меня в редакции в темный угол коридора и тихонько стал говорить:

«Шебуев талантливый журналист, но бульварный, озорной, а ваш журнал идет к высшим мира сего, там есть и думающие люди. Грань между человеком и всем живущим именно в идее Бога, обезьяну можно научить работать инструментами и даже управлять машиной, но идею божества ей внушить нельзя. Именно тут непроходимая пропасть между человеком и животными, когда у человека впервые появилась идея божества, тогда он и стал человеком, а пудель не может думать о божестве. Шебуев написал кощунственное...»

«Значит выходит, Василий Васильич, что так называемые атеисты идут назад и приближаются к животным?»

«Атеисты думают, что они уже отжили период религии, им Бога больше не нужно, все идет из вечности в вечность само собой, все только материя, из мертвый получилась живая, но это просто несчастные люди, я их очень жалею, им гораздо труднее жить, а умирать будет еще труднее...»

Несомненно Розанов был очень талантлив, но талант этот был странный, необычный, его охотно читали. Его книги шли, но прочтя книгу нередко пожимали плечами, недоумевая, что же он хотел сказать. Он был глубоко верующий человек. Умирать поехал в Троице-Сергиеву Лав-

ру, там перед смертью написал свой «Апокалипсис», но его вера строилась не на Евангелии, а на Ветхом Завете.

Для христианских богословов Розанов был неприемлем и сам относился к богословам иронично и даже неприязненно, хотя нередко выступал в петербургском Религиозно-Философском Обществе, вместе с Мережковским и православными богословами. Не было кажется в наше время более странного мыслителя и философа, а в частной жизни он был совсем удивителен, ни на кого не похож, но несомненно большой редкий талант, оригинальный и неподражаемый.

В. РЕГИНИН

До революции в Петербурге выходил еженедельный журнальчик «Синий Журнал». Целью редакции было сделать его совсем необыкновенным, ни на что не похожим. Печатались необычайные историйки, сенсации, объявлялись конкурсы на остроумие. Журнал хорошо шел в провинции, там его принимали всерьез — он назывался «Синий Журнал», но был ярко-желтый и в то же время весьма занятный.

Редактором его состоял Вася Регинин, беспардонный богемный журналист, остроумный и по-своему талантливый, готовый на все, лишь бы создать успех журнала.

В это время в петербургском Зоологическом саду выступал дрессировщик львов, Регинин свел с ним дружбу и было объявлено в журнале, что в такой-то день редактор «Синего Журнала» будет завтракать в клетке со львами. Завтрак состоялся, но Вася Регинин потом рассказывал мне, что больше никогда со львами завтракать не будет, хотя бы на карту был поставлен весь его жизненный успех — он вышел из клетки еле живой от страха...

В одном из номеров журнала была напечатана длинная возмущенная рецензия о только что вышедшей книге, с полным названием и фамилией автора. В рецензии перечислялось такое необычайное, возмутительное, небывалое, что я все-таки захотел увидеть эту книгу. Спросил в нескольких книжных магазинах, нигде ее не было. Позвонил Регинину, пригласил его приехать и за завтраком попросил его прислать мне эту книгу.

«Эту книгу... ха-ха... неужели вы думаете, что такую книгу возможно напечатать? Ни одна типография не согласилась бы печатать, а автора немедленно выслали бы из Петербурга... Весь успех моего журнала основан на лег-

коверии читателей и я с гордостью вижу, что даже такие скептики, как вы, верят всему, что мы печатаем, ха-ха... Никогда такой книги не было и быть не может».

Несколько лет назад Вася Регинин умер. Это была беспардонная милая богема, с ним никогда не было скучно и несмотря на все его выходки и метаморфозы, с теплым чувством вспоминаешь его — так мало остается уже людей из былого Петербурга.

Вспомнился Регинин, потому что случайно попала в руки английская книга некоего Ле Кэ «Что я знаю о королях, знаменитостях и мошенниках».

Нашелся издатель и книга имела довольно большой тираж. В ней такое сплошное вранье, что если бы жив был Регинин, он надолго расстроился бы от зависти.

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ БЕЗ РЕТУШИ

Генералу Богдановичу давались какие-то суммы из секретного фонда министерства внутренних дел. Он на них печатал свои патриотические брошюрки, которые бесплатно раздавались на паперти Исаакиевского собора и в других местах. Всюду было миндально-божественное воспевание заслуг и подвигов царя. Соперничал с ним в выборе масляных фраз только разве Бафталовский, тоже в генеральском чине, издатель журнала «Дружеские Речи». Это издание субсидировалось из секретных сумм. Помню один номер: на обложке были нарисованы разные поданные царя. Все они спали удобно у себя дома — изображалась ночь. А царь сидел в центре на простом табурете за некрашеным столом, рядом стояла солдатская кровать, но он не ложился, все еще работал... Внизу была подпись:

«Все уже мирно спят, один батюшка-царь работает».

В таком же роде были и статьи ген. Богдановича. Время от времени он предпринимал поездки по России, на что ему тоже отпускались средства. Во всех городах раздавал свои брошюрки и говорил в соборе речь, а потом об этом рассыпались телеграммы Российским Телеграфным Агентством. Содержание брошюрок и речей понятно было известно, поэтому для экономии генерал Богданович заготавливал заранее все телеграммы и оставлял их в Петербурге, с тем, чтобы в известные дни они печатались.

Начальник управления по делам печати Бельгард уверял меня, что когда он узнал об этом, то прекратил телеграммы, хотя сам был далеко не левым.



Неизвестная мне дотоле великосветская «благотворительница» А. почему-то пожелала со мной познакомить-

ся, звонила по телефону, даже приехала ко мне в редакцию и непременно приглашала к себе на чай. В петербургской жизни время у меня было заполнено, и я все откладывал визит к ней, пока она, наконец, не сообщила мне, что специально пригласила на чай генерал-губернатора Восточной Сибири Гондатти, чтобы со мной познакомить. Он сейчас в Петербурге, это ее друг. Она сказала, что Гондатти остановился в Северной гостинице, и я, зная, какие штучки выделялись у нас в Петербурге, позвонил по телефону в Северную гостиницу и спросил, живет ли там генерал-губернатор Гондатти — оказалось, что живет, третьего дня приехал, и я поехал на чай к ней. Хозяйка сразу же завела разговор о том, что знаменитая концессия на пушные и ископаемые богатства Камчатки, данная когда-то Вонляр-Лярским, больше не существует, столовая береговая полоса изъята из всяких концессий, но тем не менее теперь можно восстановить эту концессию с некоторыми изменениями, и Гондатти это подтверждает и поможет в этом...

Новой концессией Камчатки я не заинтересовался, но зато моя доброхотная руководительница уверила меня, что мне крайне необходимо бывать на завтраках у генерала Богдановича, что она тоже его друг. Я не представлял себе зачем мне генерал Богданович, знакомство с ним было даже до известной степени «одиозно».

«Непременно, непременно вам нужно... вы не понимаете еще, как это нужно».

Я согласился поехать с ней на завтрак к Богдановичу и несколько раз потом бывал там.

Было обширное поле для наблюдений журналиста, такой компании я никогда раньше не видал.

Эти завтраки, весьма скромные по блюдам, были по своему отметные по составу присутствовавших: здесь собирались крайние правые элементы России, в гостиной стояли стяги и знамена Союза Русского Народа, Братства Михаила Архангела, разные другие, даже хоругви и много икон. Почти каждый приезжавший в Петербург губернатор (а каждый приезжал обязательно раз в год для пред-

ставления всеподданнейшего доклада царю) считал необходимым побывать у генерала Богдановича. Многие из губернаторов жаждали места министра или по крайней мере товарища министра и считали, что генерал Богданович может оказать некоторое содействие, так как имеет возможность писать записки прямо царю; доходили ли эти записки при Николае II я точно не знаю, но что Богданович встречался в былое время с Александром III в этом нет сомнений.

После смерти генерала Богдановича его жена написала довольно объемистую книгу воспоминаний, и они были изданы по-французски. Правда это или нет, но автор старается высказать свои либеральные убеждения, и будто бы она так влияла на своего мужа — я этого влияния не видел. Знаю, например, что когда фрейлина Никитина при содействии Распутина старалась провести на пост премьер-министра Штюремера, генерал Богданович относился к этому назначению вполне сочувственно, а все русское мыслящее общество считало это назначение ведущим к катастрофе.

В последнее время (перед смертью Богдановича) отметной фигурой был Хвостов, сначала Нижегородский губернатор, потом член Государственной Думы и дальше министр внутренних дел. Ставши министром, он не перестал бывать на завтраках у Богдановича.

Завтраки были невкусные. Дело было не в еде, а в разговорах, знакомствах, улавливании дуновений...

Хвостов неустанно говорил, переходя от одного к другому, словоохотливый, самодовольный, улыбающийся, жирный, гладкий, мягкий. Вертел все время своим женоподобным задом, точно он был у него на пружинах.

Есть люди государственные по самой своей внешности, подходящей и для государственного и для всякого другого человека; и бывает внешность анти-государственная, совершенно неподходящая для государственного человека — такая была у Хвостова.

Правое от прохода кресло в первом ряду Мариинского театра принадлежало министру внутренних дел: когда пост министра занял Хвостов, пришлось поставить новое расширенное кресло, так как прежнее он не влезал.

Фрейлина Никитина, дочь командующего войсками одесского округа, постоянно бывала у Богдановича и обычно, сидя рядом с ним за завтраком, ласково кормила его. Богданович тогда уже совсем ослеп. Она решила играть большую политическую роль и в интимном разговоре даже уверяла меня, что в нее влюблен Николай II, и она с ним встречается в условленном месте, будто бы в каком-то коридоре Царскосельского дворца: «за всеми движениями царя неотступно следят и встретиться с ним наедине очень трудно». Я нисколько не сомневался, что все это ее фантазия, но все-таки один раз согласился поехать с ней на автомобиле в Царское Село, она указала, где остановиться у задней калитки парка. У нее был ключ от калитки, и полчаса она отсутствовала. Позже я узнал, что чтица царя, кажется Шнейдер по фамилии, была ее родственница, и она ездила к ней, а не на свидания к царю.

Николай II был как-то в Одессе на параде войск и потом на балу в Дворянском Собрании. Никитина, довольно привлекательная в своем русском фрейлинском костюме, всячески старалась быть поближе к Николаю, и так было заснято фотографами, показывала мне потом эту фотографию, увеличенную вырезку из кинематографической ленты и даже указывала, как приветливо смотрит на нее царь.

Дядя Никитиной, генерал Аничков был комендантом Зимнего Дворца, занимал квартиру в доме, примыкавшем ко дворцу по Дворцовой набережной, и как-то она предложила мне показать все жилые комнаты царской семьи. Нас всюду пропускала стража. Во время больших придворных обедов на тысячу и больше человек, еда всегда была очень невкусная, пересушенная или совсем холодная. Вообще кухня Николая II была не гастрономическая даже в обычные дни, но зато во время этих больших обедов стояли объемистые вазы с горами особых конфет, какая-то карамель, завернутая в особые бумажки, и вазы опустошались очень быстро, рассовывали эти конфеты по карманам и сумочкам, их постоянно мне предлагала Никитина, но я есть их отказывался и даже в карман не брал.

Никитина надеялась, что ее отец будет переведен в Петербург с большим повышением, вероятно начальником петербургского военного округа, но ее мечты не оправдались, он был переведен в Петроград, но только на должность коменданта Петропавловской крепости.

**

Никитина решила сблизиться с Распутиным и через него провести в премьер-министры Штюремера, с которым тоже уже была близко знакома. Хлопотами о возвышении Штюремера каким-то образом занялся и небезызвестный Манасевич-Мануйлов, сотрудник «Нового Времени», бывший чиновник департамента полиции. Как-то вечером — это было через несколько дней после назначения Штюремера премьер-министром, я заехал в так называемый Суворинский клуб, Литературно-Художественный, и сидел за столиком с мрачным Юрием Беляевым; он был мрачен потому что в буфете клуба не оказалось больше коньяку и пришлось пить баварский квас с хреном и перцем. Беляев часто бывал пьян, но всегда был талантливым и остроумным человеком и провести с ним час-другой было занятно, он сыпал острыми словечками, знал всю театральную подоплеку. Кто-то подошел к столу и сказал, что Ваничка Мануйлов произведен в генералы и назначен личным секретарем Штюремера и сейчас приедет в клуб.

«Если бы его назначили митрополитом, я тоже не удивился бы» — мрачно пробурчал Беляев. Через несколько минут в клуб приехал в расшитом мундире Манасевич-Мануйлов. Он действительно произведен был в чин действительного статского советника и был назначен личным секретарем к Штюремеру...

Попутно хочется в нескольких строках вспомнить о Манасевиче-Мануйлове. Это был далеко не светлый тип, беспардонный и вместе с тем милый человек, всех располагал к себе, и при всяком удобном случае старался оказать какую-нибудь маленькую услугу, хотя бы большую коробку конфет для жены, а при этом остроумно что-то выкроить и для себя. В «Новом Времени» он работал десяток лет, но никогда его статьи не были подписаны, все-

гда это была анонимная информация и источником ее являлись многие связи в министерствах и в посольствах. Он всегда узнавал что-то особенное и делал из этого двести-триста строк. Как-то к Михаилу Суворину, тогда редактору «Нового Времени», пришел Александр Столыпин, тоже сотрудник «Нового Времени», брат премьер-министра и сказал, что Петр Аркадьевич советует исключить из числа сотрудников «Нового Времени» Ивана Федоровича; ознакомившись с его «досье», брат находит, что для такой газеты как «Новое Время» неудобно иметь сотрудником Манасевича-Мануйлова. М. Суворин пожевал губами, как это делал отец, и ответил:

«Передайте брату, что я буду рад, если он вышлет из России Мануйлова, но исключать его из числа сотрудников моей газеты не хочу...»

Когда я позже говорил с Сувориным об этом случае, он пояснил, что не мог допустить, чтобы министр, хотя бы и премьер, распоряжался составом его редакции, и к тому же Ванька Мануйлов давал очень ценные сведения, а «следить за нравственностью наших сотрудников не мое дело».

Как известно, Мануйлов был убит большевиками при переходе финской границы, когда он хотел бежать из России.

**

Много раньше чем познакомиться со старым Богдановичем, я знал его сына Евгения; я жил тогда в Оренбурге, и он был назначен тургайским вице-губернатором. Оренбург был единственный город в России с двумя губернаторами, оренбургским и тургайским, все города громадной Тургайской области были кочующие и нигде нельзя было устроить губернаторского дома. Это был один из курьезов тогдашней России и Тургайское областное Управление находилось в Оренбурге, и как раз почти рядом с моим домом. Богданович часто бывал у меня, это был вполне светский и воспитанный человек, о делах введенной ему области никогда не говорил. Губернатором в то время был Асинкрит Асинкритович Ломачевский, очень занятный человек по своим необычайным мнениям и сло-

вечкам. Он тоже бывал у меня, и в результате разговора с ним всегда хотелось написать юмористический фельетон.

Ломачевский нередко уезжал в обьезд Тургайской области, и тогда всем управлял Богданович.

По старым русским правилам прогонные деньги полагались губернатору на двенадцать лошадей, а ездил он просто на тройке, да и за эту платить не приходилось — от поездки по области очищался хороший остаток в подкрепление к жалованью. Однако, киргизы любили этого губернатора и будто бы очень жалели, когда он вышел в отставку.

А. А. всегда говорил, что знает русский язык «с бантом». Будучи еще Томским губернатором, он уволил чиновника губернского правления за слово «индивидуум», тот употребил это слово в какой-то бумаге.

«В Российской Империи есть дворяне, купцы, мещане, крестьяне, но никаких индивидуумов нет, вы мне революции не делайте...»

Чиновнику пришлось подать в отставку.

В компании А. А. был милым человеком, всегда находил тему для своего многословия, хвастался, что отличит любую марку вина, даже точно год.

**

Как-то утром курьер принес мне свежий номер «Тургайских Областных Ведомостей», и на первой странице красным карандашем было обведено:

«Титулярный советник Владимир Пименович Крымов назначается чиновником особых поручений при тургайском военном губернаторе».

Не дожидаясь завтрака, к которому должен был прийти Богданович, я позвонил по телефону в Управление.

«Что это шутка?.. Какой я вам чиновник особых поручений, что вы выдумали?..»

«Я вам все расскажу за завтраком, ничего плохого, только хорошее» — смеялся Богданович, и за завтраком рассказал, что оклады их чиновников очень маленькие, но есть свободное место чиновника особых поручений, и вот

я буду получать жалованье, которое отдаю другому нуждающемуся чиновнику, а меня представят к следующему чину и награде...

Полтора месяца я числился чиновником при тургайском губернаторе, ни разу в Управлении не был, ни одной бумаги не подписал, чиновник, получавший мое жалованье, был очень признателен, а я получил следующий чин...

Вскоре я уехал из Оренбурга, Богданович был назначен Тамбовским вице-губернатором, и там его убили.

О своем отце он как-то избегал говорить, и я даже не мог выяснить его политических убеждений, просто был воспитанный человек приятный в компании и только.

ТАЛАНТЫ КАПРИЗНЫ И С ПРИЧУДАМИ

Художник Троянский умело рисовал разные шаржи, подписывался «Юнкер Шмит» и принес мне для журнала «Столица и Усадьба» добродушный шарж на Репина. Репин его одобрил и пригласил меня в гости в свою финляндскую виллу, поехали вместе с Троянским.

Илья Репин большой художник, но в довоенные годы он был особенно популярен из-за той обстановки, в какой жил, странной, почти шутовской, казалось совсем неподходящей для пожилого серьезного художника. Все знали, что гостей у Репина кормят супом из сена, что там можно курить только сидя на полу перед печкой, в большую воронку, вставленную в дверку печи и еще другие курьезы. А посетителей бывало много, совсем близко от финской границы, Финляндия была тогда частью России.

Довольно большой деревянный дом назывался «Пенаты» и, оказывается, был собственностью не Репина, а Н. Б. Нордман-Северовой, пожилой уже дамы, второй жены Репина. Никогда впрочем юридически она женой не была, принципиально, считала этот ритуал смешным и излишним, вообще она была женщина далеко необычная и можно только удивляться, как Репин мог прожить с ней что-то около двадцати пяти лет. От первой жены у него были дети и, между прочим, дочь в двадцатых годах в рижской газете «Сегодня» напечатала довольно объемистые воспоминания об отце, не во всем, однако, сходные с действительностью. Н. Нордман была вроде русской суфражистки, много говорила о женском равноправии, читала как-то публичную лекцию, на которую не допускались дети, и в этой лекции настаивала на том, что муж обязан платить жене за каждое половое общение с ней и что это возмутительно, что проституткам обязательно платят, а поря-

дочной женщине, жене ничего за это не дают... Нужна была особая решимость и должна доля недомыслия, чтобы решиться на такую лекцию, к тому же тогда еще не было советского посла Коллонтай, печатно проповедовавшей еще более смелые взгляды относительно общения полов.

**

При полном уважении к таланту Репина, к его добродому характеру, все-таки приходишь к заключению, что художественного вкуса у него не было — создать себе такую домашнюю обстановку, стать почти посмешищем бывавших у него и написать такую картину как Иван Грозный, убивающий сына, не может человек с художественным вкусом, со вкусом вообще. Дочь Репина в своих воспоминаниях рассказывает, что моделью для Грозного был художник Мясоедов, а для сына писатель Гаршин. Что касается Гаршина, тут еще как будто возможно, но взять натурщиком для Грозного красавца атлета Мясоедова немыслимо. Много лет в Париже раз в год устраивался бал «четырех искусств», он продолжался целую ночь и полиции приказано было не вмешиваться. На этот бал пришел Мясоедов совершенно голый, накинувши только леопардовую шкуру и получил первый приз при общем одобрении всех присутствующих, потом прогуливался ночью и по улицам в этом же костюме — каким образом можно было списывать с него фигуру Ивана Грозного с жиidenькой бородкой, среднего роста и как теперь выяснилось последними раскопками в Архангельском соборе неожиданно толстого, настолько что пришлось обтесывать внутри каменный гроб, иначе тело не влезало. И такого убийства быть не могло, нельзя ударить железным наконечником посоха так, как изображено на картине Репина, недаром она была изрезана в куски на выставке и пришлось ее искусно восстанавливать. Не только у Репина, у большинства русских художников было стремление изображать что-то печальное и тоскливо, даже трагичное, почти нигде веселых и радостных сюжетов: когда я искал для своего журнала «Столица и Усадьба» картины более радостных сюжетов, то это оказывалось неразрешимой задачей и помню как

Герберт Уэллс, которого я возил в Петербурге по картинным галереям, все удивлялся, почему это русские никак не могут находить никаких радостных черточек в своей жизни, приходилось брать для журнала иностранных художников.

**

Художнику и скульптору труднее, чем другим работающим в области искусства, у них один экземпляр и чтобы его увидели, нужно приглашать в свою студию или устраивать выставку, музыкант напишет какой-то опус и его могут слушать миллионы, то же и книгу читать.

С точки зрения рекламы, в поисках популярности, может быть и была хороша шутовская программа жены Репина, но было неловко за старого талантливого человека.

Впрочем таланты должны быть капризны, это точно нераздельно с настоящим талантом, непременно какая-то странность, причуда, бзик и это часто бывало у талантливых людей, а иногда даже как будто усиливало талант, если он был недостаточно велик. Вот теперь, художник Марк Шагал несомненно талантлив, решился же на такое безвкусие как потолок для стильной залы парижской оперы и заставил его это сделать тоже талантливый человек, министр Мальро, вымыvший и выскребший уже пол Парижа, но в то же время затевающий иногда совсем безвкусное и даже абсурдное...

Писатель Ремизов увеличивал свою популярность и тираж книг, вырезывая разных чертиков, учредивши какой-то орден обезьянного хвоста, писавший о мышиной дудочке, когда не было ни мыши, ни дудочки и на читателей действовало.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АВАНТЮРИСТ КОРНЕТ САВИН

Еще в студенческие годы я уже слышал о корнете Савине. Время от времени в провинциальной печати появлялись вздорные рассказы о нем, он сам их подсовывал в редакции и как даровой материал их печатали. Но никогда самого Савина я не видел и даже сомневался в его существовании. В 1918 году в Иокогаме Савин, совсем неожиданно, пришел ко мне в «Ориенталь Отель», бой принес снизу от швейцара визитную карточку:

Граф Николай Эразмович
де Тулуз Лотрек Савин
Литератор

Карточка эта как курьез сохранилась у меня до сих пор. Хотя и с некоторой опаской, я сказал бою, чтобы пригласили посетителя ко мне в номер. Вошел элегантный, высокий, даже красивый мужчина с бородой, в какой-то военной форме, с какими-то орденами:

«Какая ширь, океанский простор» — начал он приятным бархатистым голосом глядя в застекленную стену веранды, почти вплотную к Тихому океану. Стали разговаривать.

Никакого отношения к графам Тулуз Лотрекам корнет Савин понятно не имел и на мой несдержаный вопрос как это он сделался графом, дал понять, что паспорт на имя графа он просто присвоил, не вдаваясь в подробности как это сделал. Рассказывал о своих фантастических приключениях. Вся жизнь его сплошной детективный и авантюрный роман. Он теперь добивался у японских властей, чтобы его послали в японском отряде в Восточную Сибирь для борьбы с большевиками, как руководителя и

переводчика, превосходно знающего местные условия и могущего быть исключительно полезным.

**

О фантастических похождениях корнета Савина, как сказано, я слышал давно, вплоть до того, что он является несомненным претендентом на болгарский престол, но рассказанное им в «Ориенталь Отеле» было для меня ново. Савин решил не стесняться, будучи уверен, что его прошлое хорошо мне известно.

Его именьице в Тульской губернии несколько раз назначалось на торги за неплатеж процентов, но всякий раз он предпринимал что-то экстренное и необычайное и торги отсрочивались до следующего неплатежа, и оно оставалось за ним. Но, наконец, все чрезвычайные меры были использованы, именьице окончательно назначили в продажу, он приехал в Москву на торги и стал знакомиться с возможными покупателями, весьма любезно с ними разговаривая и печалясь на свою судьбу.

«Снимаете имение с торгов, как-нибудь устроились?» — спрашивали его.

«Нет, снять к сожалению не могу, у меня нет денег... Я приехал только для того, чтобы набить морду тому, кто его купит». Затем добавил, что если торги не состоятся, то он на радостях приглашает всех присутствовавших на ужин к «Яру». Торги не состоялись, и несколько человек поехали с Савиным к «Яру». Там был устроен грандиозный кутеж, но к утру, когда счет достиг уже большой суммы, Савин исчез и присутствовавшим пришлось заплатить самим.

Когда Савина судили по какому-то новому делу — а у него их были десятки и он не раз сидел в тюрьме — он, давая свои показания, рассказал суду следующее:

«Вот меня подозревали, что я поджег свою усадьбу... Верно, что я поджег, но теперь уже больше десяти лет прошло и дело прекращено, я могу рассказать как все было. Почему я поджег? Это мое родовое именьице пошло на торги. Каждому понятно как тяжело мне было с ним расставаться... Денег достать негде, будет продано, но за-

страхована была моя усадьба в хорошую сумму. Что делать?.. Пошел я в церковь помолиться Николаю Угоднику, стал на колени перед иконой Угодника и молюсь — помоги святой Угодник, твоим именем крещен, укажи мне выход, и вот точно какой-то голос сказал мне — что ты ищешь выхода когда выход перед тобой. Поднял я голову и смотрю где же этот выход? И вижу стоит перед иконой большая свечка и огонек так замелькал, точно говорит мне, вот это и есть выход. Пошел я в магазин, купил свечку фунта в два, приехал к себе домой, рассчитал, что сгорает на дюйм в час, свечка ведь толстая... Смерил я свечку, вижу что часов на восемнадцать хватит... Поставил я ее под лестницей, обложил всяким горючим хламом, керосинцу подлил, даже полбутылки спирту вылил, денатурированного, зажег свечку, перекрестился и уехал в Москву, теперь дело в твоих руках святой Угодник. Рассчитал, что договорит как раз часа в два ночи.

В Москве поехал к «Яру», выпил шампанского, а около часу ночи пошел в уборную, проходя по коридору кого-то встретил и дал ему как следует по морде... Ну, понятно протокол составили, что сегодня ночью у «Яра» корнет Савин кого-то оскорбил действием и будет привлечен к судебной ответственности у мирового. А в это время усадьба моя уже горела. Копию протокола я потом себе в карман взял чтобы было ясно мое алиби, три целковых дал околодочному. Как же я мог поджечь усадьбу, если я в это время кому-то в Москве по морде дал. Коротко говоря, получил страховую премию и дела о поджоге не возникло, хотя страховое общество и пробовало...»

**

Когда Савин ушел, я старался догадаться зачем он приходил. Сначала думал, что попросит денег, но он ничего не попросил, назавтра прислал мне четыре тетрадки своих воспоминаний, свою автобиографию и какую-то провинциальную английскую газету, в которой было длинное интервью с ним и его фотография в две колонки. В этом интервью рассказывалось, что граф де Тулуз Лотрек Савин был когда-то одним из богатейших людей России, свобод-

но владеет десятком языков, за военный подвиг награжден золотым оружием и еще что-то халтурно-необычайное.

Позже выяснилось, что он побывал уже в русском посольстве в Токио у посла Временного Правительства Абрикосова и его помощника Яхонтова, уверял, что он говорит по-японски и китайски, знал будто бы тридцать тысяч иероглифов, старался именно посла уговорить посодействовать у японских властей. Видимо получил в посольстве какую-то маленькую сумму, но Яхонтов от содействия отказался. В это время в Иокогаме жил адмирал Колчак, с которым тогда я еще не был знаком, а позже мы прожили часть лета в той же гостинице в Никко, подолгу ночами говорили. Савин побывал и у него.

В редакции местной английской газеты «Джапан Таймс» мне рассказывали потом, что Савин был у них несколько раз, предлагал ряд статей, частью по-русски, частью на корявом английском, но их отказались печатать.

Убедившись, что от меня толку не будет, Савин больше ко мне не приходил, будто бы уехал во Владивосток.

**

Еще привожу рассказ Ф. В. Шлиппе, уже в Берлине. Всю семью Шлиппе я давно хорошо знал. Шлиппе был тульским губернатором, а его сын Федор учился вместе со мной в Петровско-Разумовской Академии, по окончании занимал ряд видных постов, был председателем Московского Земства, а после революции бежал от большевиков под видом странника, с посохом и котомкой за плечами. Мы снова встретились в Берлине, он был тут председателем Красного Креста, как-то устроился, купил маленькую ферму под Берлином и потом около него поселился генерал Краснов, когда перед оккупацией Парижа ему предложили уехать из Франции. В его доме происходили свидания Краснова с генералом Власовым, долго не могли сговориться, но сговорились, обнялись, перекрестились — и потом оба и Краснов, и Власов трагически погибли, выдали их советским властям.

Ф. В. Шлиппе рассказывал: Корнет Савин был нашим соседом по имени в Тульской губернии, уже тогда Савина

знала вся округа, как беспардонного авантюриста и все его боялись. Савин как-то приехал с визитом к нам и моя мать, несмотря на все рассказы, очаровалась его лоском и любезностью.

«Вот это настоящий джентльмэн» — сказала она, когда он уехал.

Савин стал бывать у нас.

У Шлиппе было две знаменитых охотничих собаки из охоты Кареева, между прочим знаменитый «Каратай».

Будучи как-то в Москве в ресторане «Эрмитаж», Шлиппе столкнулся в подъезде с Савиным. Савин только что вышел из кабинета, где он сидел в большой компании — в числе присутствовавших будто бы был и великий князь Николай Николаевич.

«Ах вот какой случай — обрадовался Савин — мы только что о вас говорили с его императорским высочеством».

«Почему?» — удивился Шлиппе.

«Говорили о знаменитой охоте Кареева, вы ведь знаете какой горячий охотник великий князь... Кто-то спросил, у кого сейчас находится Каратай, и я утверждал, что у вас, и поддержал пари».

«Да, у меня» — ответил Шлиппе.

«Ну вот, я и выиграл» — обрадовался Савин.

Через некоторое время он опять приехал в имение к Шлиппе и стал упрашивать, чтобы ему дали на несколько дней Каратая, что он должен его показать великому князю. Шлиппе неохотно, но все-таки согласился, Каратая дали Савину и с тех пор не видали больше ни Савина, ни Каратая. Савин продал Каратая кому-то за большую сумму.



Савин умер в английском госпитале в Гонконге и перед смертью рассказывал свои геройские приключения какой-то сердобольной и влюбленной англичанке, и та все записала, и в большом английском издательстве эта книга была издана, стоит у меня на полке — «Pull Devil, Pull Baker» by Count Nicolas de Toulouse Lautrec de Savine,

K. M. Ex-Tsar of Bulgaria, and Stella Benson. MacMillan and Co., London, 1933.

В этой книге нет рассказанного выше, но много другого, сплошная ерунда и вранье. Я и писать стал о Савине из-за этой книги. О России и русских делах заграницей очень часто писали наивно, все перевиная, прибавляя, фантазируя, начисто выдумывая. Эта книга очень показательный пример. Можно только поражаться, что такое солидное издательство выпустило такую халтурную книгу.

«ХУДОЖНИК» МЯСОЕДОВ И ДРУГИЕ

Профессора Академии Художеств Мясоедова я когда-то встречал в Петербурге, а в Берлине ко мне заявился его сын, тоже художник. Красивый мужчина с большой бородой, с татуировкой около глаз, атлетического сложения, выступавший на маскарадах в одних сандалиях и в леопардовой шкуре. Он почему-то захотел писать бесплатно мой портрет, красками во весь рост. С ним я никогда раньше не встречался, и почему он заявился ко мне и выразил желание писать мой портрет было неясно. Может быть он помнил, что в Петербурге я издавал журнал «Столица и Усадьба» и в каждом номере печатались ре-продукции в красках с картин разных художников. Может быть была и репродукция какой-то картины его отца. Я выбирал картины для своего журнала не по имени художника, а по сюжету, никогда не печатал банальных картин, картин печальных или зловещих, приводящих в уныние: немыслимо было для меня напечатать в «Столице и Усадьбе» в красках картину Верещагина «Панихида после сражения» — священник с дьяконом служат панихиду среди поля, усеянного трупами... или картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Хорошо, что ни одному русскому художнику не пришла мысль написать картину в красках «Петр Великий убивает своего сына».

А может быть Мясоедов знал, что я был в Берлине редактором ежедневной газеты «Голос России», что я журналист и могу ему сделать какую-нибудь рекламу. Так или иначе я согласился и он стал писать мой портрет и уже назавтра после разговора принес большой холст на подрамнике и краски, остался к завтраку и за завтраком я вспомнил, что был какой-то громкий процесс Мясоедова, читал о нем в немецких газетах.

«Скажите, это у вас был какой-то громкий процесс?» — спросил я.

«Да, у меня. Я был осужден на пять лет в каторжную тюрьму за фальшивые фунты» — без всякого смущения и даже как будто с гордостью, охотно ответил Мясоедов, и продолжал:

«Я ведь очень хороший гравер, кроме того, что пишу маслом. Фунты были превосходной работы, меня подвел один русский полковник, которому я поручил свезти несколько сот фунтов в Лондон, он упаковал их в термоз между стенок и налил кофе, на таможне ничего не заметили, но термоз по дороге разбился и на фунтах получились кофейные пятна, а он дурак все-таки стал их менять в Лондоне, ну и вlopался, и меня выдал...»

«И вы просидели пять лет в каторжной тюрьме?»

«Да, сидел тут в Моабите, но выпустили через три года за примерное поведение и за то, что расписал там фресками кирху и квартиру начальника, замечательно расписал» — он засмеялся.

Он уговорил меня заехать к нему в студию, посмотреть его работы, познакомил со своей женой, красивой не то испанкой, не то гречанкой.

На третий, кажется, сеанс он неожиданно спросил, нет ли у меня пятифунтовой бумажки, и тут же оговорился, что это не взаймы, а только посмотреть. Пятифунтовая бумажка оказалась у меня. Он повертел ее в руках, посмотрел на свет, затем вынул из своей сумки книгу и из ее переплета вытащил, искусно запрятанную, тоже пятифунтовую бумажку, положил их рядом на стол, прикрыл салфеткой и предложил мне узнатъ теперь, которая моя. Я отличить не мог, совершенно одинаковые.

«Вы не беспокойтесь, я не подменю, это вот ваша... Как видите совершенно одинаковы, никакой эксперт не отличит одну от другой... кроме меня. Видите в чем разница...» — он взял за уголок двумя пальцами одну, потом другую.

«Вот видите ваша чуть-чуть сгибаются на водяном знаке, а моя не сгибаются, потому что у меня водяные знаки сделаны только химическим путем, а на настоящих английских эти места тоньше...»

Дальше он спокойно и даже как будто с восхищением рассказал, что опять делает пятифунтовки и на этот раз уже не попадется, есть гораздо больше опыта, тем более что сидя в тюрьме он близко сошелся с двумя фальшивомонетчиками, у которых есть превосходная организация для распространения фальшивых английских билетов.

Еще пояснил, что совсем не стремится к богатству, всегда жил скромно, но хочет доказать, что современная денежная система абсурдна, нужно золотое обращение, бумажные деньги это фикция, их можно печатать сколько угодно и любые можно подделывать, а вот золотую монету не подделаешь.

Не сомневается, что заработает большие деньги и будет раздавать их нуждающимся...

Я слушал молча пока он говорил, только удивлялся, чтобы не сказать поражался.

«Зачем вы снова лезете в каторжную тюрьму, уже на более длинный срок, это ваше дело, но я совершенно не понимаю для чего вы мне об этом рассказываете... Я на вас доносить не буду, вы мне ничего не говорили, я ничего не знаю, очень сожалею, что вы так безумно губите ваш талант и портрета дальше писать не будем. До свиданья...»

С тех пор я его не видел, но примерно через год в газетах снова было имя Мясоедова, он был приговорен на десять лет в каторжную тюрьму и года через два в тюрьме же умер.



Во время русско-японской войны 1904-05 японцы печатали фальшивые русские сторублевки. Мы до сих пор помним эти радужные большие бумажки, очень искусно отпечатанные с черным гравированным портретом Екатерины, в просторечии их ласково звали «Катеньками». Японцы большие мастера на всякие подражания и подделки, а в области графики особенно, и эти поддельные сторублевки были выполнены превосходно. Самый опытный эксперт с трудом мог отличить их от настоящих, и только в одной подробности японцы сделали ошибку, и эти бумажки не пошли или во всяком случае распространилось

их немного, главным образом в Сибири. В бумагу этих кредитных билетов примешивались мелкие очески шелка разных цветов и смотря на эту бумажку на свет можно было простым глазом видеть эти волоски. Через какого-то служащего Экспедиции заготовления государственных бумаг в Петербурге японцы выкрали точный состав бумаги, в том числе и количество волосков какое примешивалось к бумажной массе, и стали изготавливать сторублевки по этому точному рецепту: оказалось, что в поддельных японских сторублевках много больше шелковых волосков нежели в настоящих, будто бы в Экспедиции кто-то мошенничал, и волосков в действительности примешивалось меньше чем было указано в выкраденном рецепте.

**

Во время первой мировой войны немцы печатали русские фальшивые кредитки. Какие были еще я не знаю, но такая фальшивая десятирублевка долго хранилась у меня как редкий курьез. Подделка была безупречна, не хватало только где-то одной маленькой точечки, на настоящих был текст, что за подделку кредитных билетов виновные ссылаются на многолетнюю каторгу, текст был мелким печатным шрифтом и в конце текста крошечная точечка и вот эту точечку немцы пропустили...

А во вторую войну, согласно распоряжению Гитлера, были напечатаны миллионы английских фунтов, только на один шпионаж в неприятельских и нейтральных странах было истрачено десять миллионов фунтов, при этом подделка была столь совершенна, что самый опытный эксперт не мог отличить этой подделки от настоящих английских фунтов.

Фальшивомонетчик Артур Альвес Рейс наводнил Португалию фальшивыми кредитками, что привело к падению тогдашнего правительства, и явилась диктатура Салазара.

**

Подделывали не только кредитные билеты, но и почтовые марки. Собирателей марок так много, и это в наше время такой прочный рынок, что подделка почтовых марок не менее выгодна, чем подделка денег. Некий Жан де Сперати так широко поставил это дело, что Британское Филателистическое Общество, не видя возможности борьбы с ним, пришло к мирному соглашению, уплативши ему большую сумму.

РАЗГОВОР СО СТАРЫМ РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ

Во второй раз приехал старый революционер, вернее привезли его, одному ездить трудно, ноги некрепки и плохо слышит. Один из последних оставшихся в живых сотрудников Ленина, был с ним до 1908 года в полной дружбе и согласии.

«Расскажите мне только то, что хотите, но правдиво, о Ленине, какой он был человек».

«Человек он был хитрый. До 1908 года мы были вместе, социал-демократы, а тут разделились. Отделившись группой он захотел командовать диктаторски, я отстал. А до того были в полном единении мнений, он меня даже на велосипеде учил кататься и тоже хитро. — Почему вы не ездите... не умеете? Ведь это очень просто, вот поднимитесь на горку, сядьте на велосипед и поезжайте вниз, только за руль крепко держитесь.

Ну я сдуру и поехал, себе синяков насадил, костей не сломал, а его велосипед сломал...

Он сам никак не ожидал того успеха, какой оказался в октябре и под влиянием этого успеха программу сразу обострил и усилил. Нечего Сталина упрекать в терроре; Ленин был таким же террористом, Сталин только следовал его программе. Когда в Петрограде толпа стала буйствовать, убивать и грабить дома, Зиновьев приказал ее разгонять, а Ленин сделал ему строжайший выговор — «Ты что же не понимаешь, что такая революция, за буржуев вступился, а толпу разогнал. Китайские церемонии и белые перчатки для революции не подходят, нужно подряд всех расстреливать. Кто не с нами, тот против нас».

Что касается НЭП-а, то это тоже была ленинская хитрость, нельзя прямо переть в толпу: не пройдешь, задавят. Надо вправо и влево лишь бы дойти куда надо. НЭП это

значило, что обогащайтесь, а когда обогатитесь мы опять все отберем, а то было много припрятанного до чего не могли докопаться даже расстрелами. Так оно и вышло, почти всех нэпманов потом вывели в расход, а заработанное приобщили к государственной казне...»

**

«Почему и когда вы пошли в революцию, из какой вы среды, у вас дома уже было революционное настроение?»

«Мне было лет шестнадцать. Мы жили в Иваново-Вознесенске, кругом богатеи, Морозовская мануфактура, Гарелинская, а рабочих заставляли работать по одиннадцать часов. Попали мне в руки листки с пропагандой, и я стал бывать у рабочих, свой кружок составил, так вот и началось».

Он привез мне две своих книги, стал делать надпись на них.

«Не пишите шаблонных уважений и упоминаний о таланте, а вот напишите прямо довольны ли вы результатами, какие получились от вашей многолетней революционной работы. Довольны или нет?»

«Ну так я написать не могу, ведь результата еще нет, это только стадия развития».

«Но мы с вами не дождемся?»

«А кто знает».

Он долго прожил вместе с Каменевым, вспоминает его как настоящего революционера и умного человека, о многих других говорить не хочет. На вопрос знал ли он всех поименно кто приехал вместе с Лениным в запечатанном вагоне, сказал, что их было много, но большинство доехало только до Стокгольма, а в Петроград приехал Ленин только с несколькими, и имен их мой собеседник не назвал — не знал или не хотел назвать.

Во всем винит Керенского, считает его главным виновником гибели февральской революции. Подробно рассказывал как доктор Гавронский выводил Керенского в костюме сестры милосердия через заднюю дверь из Зимнего Дворца, а потом уже его переодели в матросскую одежду,

чтобы он мог бежать. Согласился, что если бы дикая дивизия генерала Крымова вошла в Петроград, февральская революция была бы спасена, Учредительное Собрание не было бы разогнано по приказу Ленина. Об этом разгоне, как очевидец, очень красочно рассказал в американском журнале «Тайм», Вишняк, бывший депутатом Собрания — потрясающая картина. Керенский заставил Крымова покончить самоубийством в соседней комнате, рядом с его кабинетом и погубил февральскую революцию.

**

Вспоминаю, как в девятнадцатом году в Лондоне я поехал на квартиру доктора Гавронского, где жил тогда Керенский, чтобы поговорить с ним, как он представляет себе происходящее в России. Прошлое он знал лучше многих других, а совершенные ошибки умудряют человека. Мне хотелось говорить с каждым кто знает больше меня о происходящем, хотелось услышать хотя бы что-нибудь оптимистическое, увидеть какой-либо выход из братоубийственной войны, разрушений, кровавой бани и еще более жутких предположений на будущее.

Керенский точно смущился, подумал, вероятно, что я родственник генерала Крымова и приехал с ним рассчитываться. Все-таки долго говорили, не упоминая имени генерала Крымова.

Я только что приехал тогда из Японии, где все лето провел в Никко с адмиралом Колчаком. Почти полночи говорил с ним накануне его отъезда, видел его печальное настроение и неуверенность. Он принимал пост главнокомандующего только как патриотический долг. А когда я рассказывал об этом в Лондоне, правая группа накинулась на меня, как на паникера, они все надежды возлагали на Колчака и были уверены в успехе его наступления.

**

Часть лета 1917 года я прожил в Гонолулу на Гаваях, там выходили две ежедневных американских газеты и занятно отметить, что в вечерней печатались телеграм-

мы о происходящем в Европе на следующий день! Этот курьез или парадокс остается в силе и до сих пор: когда в Гонолулу вторая половина дня четверга, в Японии и Европе уже пятница и вполне естественно, что в вечерней газете печатались телеграммы о произошедшем в Европе на следующий день. В Тихом океане между Японией и Гавайскими островами, по самой пустынной части океана, проведена от полюса к полюсу воображаемая несколько искривленная черта, на которой меняется день: если ехать из Японии в Америку, то одна неделя будет из восьми дней, а если из Америки в Японию, то одна неделя будет только шестидневная, а если теперь отправиться на самолете из Иокогамы в Гонолулу в пятницу, то прилетите в Гонолулу в четверг...

Несколько раз в обеих гонолульских газетах, печатались крупные заголовки во всю ширину первой страницы —

«Новый царь правит Россией — Керенский».

В эти летние месяцы 1917 года в Соединенных Штатах верили, что Керенский всесилен и что готовящееся им наступление решит войну с Германией. Когда я приехал в Сан-Франциско, несколько репортеров газет Херста потребовали от меня интервью и первым вопросом было, можно ли верить в новое наступление, организуемое Керенским. Я совершенно искренно заявил, что в успех этого наступления не верю, что армия разложена, солдаты с фронта бегут, что я видел в Петрограде и по всей сибирской дороге — эти интервью, напечатанные в нескольких газетах Херста и перепечатанные другими, рассердили тогдашнего посла Бахметьева и он потребовал в Вашингтоне, чтобы меня выслали из Америки. А я старался доказывать, что Америка немедленно должна активно вступить в войну и только это может остановить германское наступление. Из Америки меня не выслали и после того я снова несколько раз бывал там...

**

Я был в полной растерянности, встречались люди как будто опытные и умные, уверенные в том, что все скоро

изменится и мы вернемся на родину, но у меня этой уверенности не было. Ничего не мог писать, только какие-то бессистемные заметки и часто противоречивые, не знал, что с собой делать. В Лондоне стал работать в Кенсингтонском музее, приводил в порядок каталоги по русскому искусству, не получая за это никакой платы — в этих каталогах была полная неразбериха, тот же художник или гравер в одном месте каталога был записан по фамилии, а в другом только по отчеству, орфография была такая, что трудно было догадаться о ком идет речь. Ходил по книжным аукционам и удивлялся как много людей тут интересуются книгами, как почему-то гоняются за первыми изданиями, платят за них необычайные цены, хотя есть вторые издания, исправленные и дополненные самим же автором. Как детально все книжное тут изучено, определено и записано, в больших каталогах точно указано в каком году, за сколько была продана такая книга, цены все повышались.

Только в двадцать первом году я напечатал новую книгу, уже в Берлине, она называлась «Богомолы в Коробочке», разошлась в двух изданиях. Название книги было вполне логичным, не вычурным. Богомол — это насекомое вроде нашего кузнечика, только больше, по-латыни он называется «мантис», молящийся мантис, он сидит всегда в траве, молитвенно сложивши передние лапки, как будто молится, а в действительности это злейшее насекомое: в Японии я собрал семь или восемь богомолов, посадил их в картонную коробку от башмаков, наложил туда цветов и листочек и так оставил на ночь, а утром в коробке не было ни одного богомола, только кусочки крыльшек и ножек, они все съели друг друга, ни одного не осталось.

И вот так я назвал свою книгу, потому что мир представлялся мне в виде коробки с богомолами, название очень понравилось Горькому, он расхвалил эту книгу...

Соответствующее моим богомолам в коробочке по-английски есть выражение — «килкенские кошки». Это ирландская сказка или легенда. Две кошки долго враждовали одна с другой и решили драться и дрались до тех пор, пока осталось только два кошачьих хвоста.

ТАЛАНТ ВО ВЛАСТИ ПРИЗРАКОВ

У художника Рериха в 1919 году в Лондоне устраивались спиритические сеансы. «Происходит поразительное» — рассказывали.

Я захотел попасть на сеанс, но туда пускали только «своих», способных понять и принять. Я же слыл скептиком.

Спросили духов, можно ли меня пригласить.

«Нет!» — ответили решительно духи.

Сам Рерих с самого начала настаивал на моем приглашении, но возражали сыновья — в конце концов меня все-таки пригласили...

Началось с этих спиритических сеансов, дальше пошли оккультные тайны и откровения, кончилось Шамбалой. Рерих с семьей уехал в Индию, ему удалось даже побывать в Тибете, рассказы о его путешествии появлялись на страницах многих газет.

**

Рериху удалось вывезти десятка два своих полотен в Лондон, но жить было не на что, никто его картин не покупал. У меня была давнишняя связь с редактором английского художественного журнала «Студио» и я устроил там для Рериха хорошую рекламу, в номере была помещена большая статья о нем и ряд репродукций с его картин, даже в красках; после этого он устроил скромную выставку, но и на ней никто картин не покупал. В это время в Лондоне «блестал» сибирский богач Скидельский, свободно тратил деньги, занимал целую квартиру в отеле Пикcadilly, ездил в Рольс-Ройсе всегда в цилиндре и белых перчатках, с дорогой палкой в руках (которую потом подарил мне!) Зная довольно хорошо подоплеку его ком-

мерческих предприятий, я понимал, что крах неизбежен и не ошибся, примерно через год Скидельский исчез из Лондона, задолжавши там 650.000 тогдашних фунтов. Мне хотелось, чтобы перепало что-нибудь из его трат и нуждавшемуся Рериху, я повез его на выставку Рериха с тем, чтобы он купил две-три картины, но Скидельский был широкой натурой, умел наживать, умел и тратить, вообще он был очень добрый, и он купил все, что было на выставке...

Сумма была большая, Рерих был в восторге, но когда расписка Скидельского была предъявлена для уплаты в его контору, там стали торговаться, опять мне пришлось вмешаться и в конце концов заплатили около половины, что впрочем тоже было большой суммой.

**

Первый же сеанс у Рериха был для меня престииджитаторским представлением, сразу стало понятно, что тут орудуют его сыновья, а потом в интимном разговоре его жена призналась мне в этом, рассказала как вначале устраивали всякую сверхъестественность и таинственность, чтобы ободрить совсем упавшего духом Рериха, он стал верить в происходившее, и она дальше поняла, что назад уже идти нельзя и помогала сыновьям.

Рерих садился за круглый столик с большим белым листом бумаги, ему давали в руки карандаш и он как-бы в забытьи начинал быстро водить по бумаге карандашом, все быстрее и быстрее — получались какие-то фантастические рисунки из округлых линий, казалось, что он в трансе. Потом тушили свет, присутствовавшие садились вокруг этого столика, прикасаясь друг к другу руками, и столик начинал двигаться, на предлагаемые ему вопросы, отвечал стуками по условной азбуке.

Между прочим, присутствовавшие спрашивали, кем они были в предыдущем воплощении и здесь чья-то фантазия хорошо работала, очень изобретательно и красочно: я, например, оказался в предыдущем воплощении каким-то крымским ханом с тройным именем, одна дама была пифией при Дельфийском оракуле, а довольно известный

петербургский адвокат, Вальтер, постоянно присутствовавший на сеансах, был оратором в Римском сенате...

Мне это, однако, наскучило и я попросил, нельзя ли добиться каких-нибудь материализаций, пусть духи бросят нам какой-нибудь неведомый ботаникам цветок или вообще какой-нибудь материальный предмет. Насчет неведомых цветов я знал еще по петербургскому времени, когда у постели моего знакомого Сухово-Кобылина, был известный оккультист доктор Бутлеров и потом оказалось, что на ночном столике лежит цветок и этот цветок послали для исследования директору Ботанического Сада и тот заявил, что таких цветов на земле не существует.

Во время сеанса я рассказал об этом цветке, но один из сыновей заявил, что у них таких случаев еще не было, зато разные монеты иногда в темноте падают откуда-то на стол. Всем присутствующим предложили выйти в соседнюю комнату, вынуть все из карманов, сложить на большой стол кучками, покрыть бумажкой с именем свои деньги, и снова все сели за столик. Несмотря на то, что ни у кого теперь денег в кармане не было, после некоторого таинственного напряжения и тишины, какая-то монетка звякнула на стол, потом другая, третья, и наконец, зашуршала бумажка. Когда зажгли огонь, на столе оказалось несколько английских монет и десяти-шиллинговая бумажка. Присутствовавшие были поражены.

**

Я пригласил семью Периха и несколько знакомых к себе в дом, чтобы устроить сеанс у меня. Решил не мешать всяким чудесам в темноте, должны были, между прочим, двигаться в комнате разные предметы, летать стулья и столы. В той комнате, где устраивался сеанс, на диване спал маленький песик, японский чинь Джэппи, любимец и мой и особенно моей жены, и она заявила, что столы и стулья не должны летать, иначе они могут задеть Джэппи. Мы сели тоже к круглому столику, стали предлагать ему разные вопросы и, не отвечая на них, столик стал повторять:

«Уберите собаку... уберите собаку...»

Перих пояснил, что собаки привлекают низших духов, элементалов, сеанс может иметь трагические последствия, если при нем будут собаки или другие животные, существа низшего порядка, а сыновья понимали, что действительно, летающим столом или стулом можно задеть маленького песика. Джэппи унесли в другую комнату, и стол и стулья летали...

Я с тех пор тоже могу двигать в темноте по комнате большой стол, не прикасаясь к нему руками...

**

На деньги Скидельского Перих с семьей уехал в Америку и с тех пор у меня не было личных встреч с ним, но я интересовался всем, что можно было узнать о нем, я считал его ярким человеком.

В Америке у него появились адепты, ученики и последователи, он образовал загон, в котором стал пастухом и пророком. В былые годы я иронически и отрицательно относился ко всем таким загонам, будь то религиозные, оккультные или даже политические и имена их основателей не внушили мне уважения; но теперь, на склоне лет я иначе смотрю на эти загоны, они благо, а не зло, и всякий, кто может создать такой загон, уже ценная личность и к нему надо подходить с почтением и уважением. Отвечать самому за себя самое трудное, без загона попадают в тупик, безысходность, а веря кому-то или чему-то спокойнее жить.

В Америке у Периха образовался загон, в котором оказались и люди, готовые давать деньги, денег собралось довольно много и Перих с семьей уехал на пять лет в путешествие по Индии, с целью найти там разгадку недоступных нам тайн бытия. Когда в 1929 году он вернулся в Америку, было уже многоэтажное здание, «Музей имени Периха», и его торжественно встретили многочисленные верующие; и в других городах Америки основались отделения этого центрального музея. Уже было в городе Сасбери в штате Коннектикут оккультное издательство «Алатас» и оно напечатало две книги Периха: «Пути Благословения» и «Чаша Востока», переведенные некоей Ис-

кандер Ханум с восточных произведений по его указаниям; а когда он вернулся из своего путешествия, была напечатана его книга «Сердце Азии». Мне эта книга ничего не сказала, но для его последователей она была откровением. Мало ли что мне ничего не сказала, не раз я слышал от посвященных, что я судить не могу, мне не дано, нужно возвыситься до понимания таких откровений, подняться выше, а я не поднялся. Лейт-мотив этой книги — «Шамбала». Книга написана коряво и безграмотно, может быть ее переводили с тибетского языка, которому Рерих научился во время путешествия.

Много предположений высказано о местонахождении земной Шамбалы. Некоторые из предположений относят это место на крайний север, говоря, что северное сияние есть лучи этой невидимой Шамбалы.

Во всех книгах о Шамбалае, в устных преданиях, местонахождение описывается в высоко символических выражениях, почти недоступных для непосвященных.

Шамбала как будто какое-то учение, в то же время это имя какого-то учителя и какая-то страна, которую искал Рерих. В другом месте своей книги он пишет о родственных мне староверах на Алтае, которые тоже стремились в страну Шамбалы:

«В середине 19-го столетия необычайная весть была принесена к Алтайским староверам:

«В далеких странах, за великими озерами, за горами высокими, там находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье».

В некоторых сокровенных записях намечается и путь к этому месту.

Географические указания места умышленно запутаны или произнесены неправильно. Но даже и в этом неправильном произношении вы можете различить истинное географическое направление, и это направление, не удивляйтесь, ведет к Гималаям.

Всю эту книгу Рериха вернее бы назвать «Шамбала»,

пять лет он странствовал по Азии в поисках неведомой Шамбалы...

**

К чести Рериха я хочу сказать, что он лично никого не обманывал, он был уверен в какой-то чудесной силе, сообщенной ему, все обделяли окружающие, кому это было выгодно, и как часто бывает, сумбурное, необъяснимое и даже абсурдное, хотя бы кем-нибудь и сфабрикованное преднамеренно и сознательно, влечет к себе многих. Легче поверить в таинственный абсурд, нежели логическим мышлением узнать что-то маленькое, но правдивое и несомненное — хотя остается вопрос, есть ли что-нибудь несомненное?

Теперь, через много лет, вспоминая все это, я совсем уже в ином плане оцениваю происходившее. Такие люди, как Рерих — помимо его большого художественного таланта — очень нужны, это светлый тип, они создают новый загон, в котором не съедят волки, волки марксизма, милитаризма, захвата рынков, национальной вражды. В таком загоне все-таки думают о загадке нашего бытия, о тайне смерти и гордая постройка наших знаний, оказывается такой маленькой в сравнении с этой тайной.

П. И. БАЛИНСКИЙ И ЕГО ПРИДВОРНЫЙ ШУТ

Отец П. И. Балинского был директором дома умалишенных около Петербурга, «на одиннадцатой версте», как этот дом называли. Балинский много рассказывал о своем отце, но привожу только рассказ о Федоре Кузьмиче, который несколько раз я от него слышал:

«При доме для сумасшедших на одиннадцатой версте был старый заслуженный швейцар из николаевских солдат. Мой отец любил его и хотя тот был уже слишком стар, но не было даже мысли об его увольнении, он прослужил тут до смерти моего отца. Я был тогда еще молодым человеком, и этот бывший швейцар через кого-то сообщил мне, что он умирает, и очень просит меня навестить его, хочет открыть мне какую-то тайну. Я понятно поехал к нему, и он рассказал, что при Николае 1-ом был солдатом в роте Его Величества, и вот однажды вечером его вызвали к командиру и тот, заперши дверь, сказал, что он выбран для высокого тайного поручения, ему доверяется государственная тайна, но если он когда-нибудь хоть одним словом проболтается, то будет расстрелян...

Ночью его и еще троих отправили в Петропавловский собор, и там они должны были поднять тяжелую каменную плиту над какой-то могилой в самом соборе. Через некоторое время в собор приехал государь Николай I, с ним какой-то великий князь и еще двое важных придворных. Подняли из могилы гроб, отнесли его в заранее подготовленную яму около собора и там гроб засыпали, а в могилу в соборе вместо этого гроба был опущен другой, привезенный на военном фургоне, стоявшем около собора в темноте. Первый гроб, прежде чем зарыть, открыли, и там лежал покойник в каком-то расширом мундире, и второй

гроб тоже открывали, и он видел, что там лежал старик в монашеском одеянии...»

И вот это старый швейцар, теперь умирая, рассказал Балинскому, не боясь уже, что его расстреляют за выдачу государственной тайны.

**

Никакого наследства Балинский не получил, но постепенно богател и к революции у него было уже миллионное состояние. Главным и основным его успехом была дружба с известным пущечным королем Базилем Захаровым. Когда хотел, Балинский был очень симпатичен и даже обворожителен, и сумел каким-то образом встретиться с Базилем Захаровым и расположить его к себе, а Базиль Захаров был одним из главных пайщиков английской фирмы Виккерс и Армстронг и был заинтересован в поставках русскому правительству пушек, кораблей, подводных лодок и другого военного снаряжения.

В девяностых годах в Петербурге был поднят вопрос об устройстве метрополитэна, подземной и надземной железной дороги по городу, и с проектом от имени Базиля Захарова выступил Балинский. Одно время уже писали в газетах, что Базиль Захаров получил концессию на петербургский метрополитэн, но все-таки проект утвержден не был, и Петербург остался тогда без метрополитэна.

Балинский был очень умелый человек, он не только старался заинтересовать в проекте метрополитена видных городских деятелей и некоторых министров, но даже самого Николая II. При участии Балинского ко Двору попал известный спирит и шарлатан Филипп, и на сеансах, которые устраивались во дворце, духи неоднократно говорили, что на днях царю будет представлен грандиозный проект, который явится блестящим памятником его царствования. Филиппа ввели во дворец царя две сестры черногорки, те же самые, что подсунули туда позже и Распутина, но косвенное участие принимал в этом и Балинский, и Филиппу была обещана хорошая мзда в случае проведения проекта метрополитена.

Метрополитэн не прошел, но зато пушки стали поку-

пать у Виккерса и по каждому заказу Балинский получал хорошую комиссию.

**

Балинский всячески подчеркивал свои барские черты и свою польскую родовитость, но судьба людей капризна и он всецело подпал под обаяние еврейки. В то время в Петербурге на афишах крупным шрифтом печаталось имя опереточной актрисы Фанни Каплан. Молодая и хорошенская, Фанни Каплан была далеко не глупая и привлекательная женщина с небольшим голоском, выдвинулась на первые роли в оперетке и сделалась женой Балинского. Сама она говорила, что Петр Иванович увлекся ею на сцене из-за ее красивых ног, «и пела я больше ногами, чем голосом», смеясь говорила она.

Так или иначе Балинский женился на Фанни Каплан, и она немедленно переселила к нему в дом своих родственников, сестру, брата и двоюродную сестру, и Балинский оказался в недрах этой семьи. Балинский стремился вести светскую жизнь, и жена в этом ему не мешала, она быстро усвоила себе черты настоящей светской дамы и никогда в этом отношении его не компрометировала. Он постоянно окружал ее ореолом таланта и устраивал домашнюю жизнь так, чтобы не было никаких поводов для ревности, всегда при жене был кто-нибудь, сопровождавший ее, из его секретарей, которых у него было три. О двух сказать нечего, но третий был не столько секретарь, сколько шут, очень интересная индивидуальность, Балинский его звал просто Ватька.

Окружая жену роскошью, Балинский наличных денег ей никогда не давал, но за все платил по счетам. Она могла заказывать туалеты у самых дорогих портних, он купил ей немало бриллиантов, но карманных денег у нее никогда не было, и когда мы с нею играли в бридж, то в случае проигрыша она не могла сразу рассчитаться и только потом с посланным присыпала свой проигрыш.

Припоминаю забавный случай, когда она заказывала меховое манто у дорогостоящего лондонского меховщика. В это время носили узкие манто, но Фанни потребовала, чтобы оно было очень широкое, чтобы полы могли чуть не два

раза охватывать стан — и такое ей сделали, хотя удивлялись. А потом Фанни наедине мне говорила.

«Вы не знаете Петра Ивановича, для Эси (ее сестра) он из такого дорогого меха не закажет, а мое манто теперь такое широкое, что и для Эси выйдет...»

**

К концу войны у Балинского были миллионы, а у жены целый чемоданчик бриллиантов, и под его управлением была большая контора Виккерса в Петербурге, в его распоряжении были и все деньги Виккерса, получавшиеся от военного и морского министерства.

В первые же дни после февральской революции была учреждена Верховная Следственная Комиссия и одним из первых туда был приглашен Балинский для допроса. Его обвиняли в том, что он в свое время давал большие взятки военному министру Сухомлинову. Главным свидетелем по делу был дежурный адъютант В., который показал, что собственными глазами видел, как Балинский в кабинете ministra передавал большие пачки денег. Балинский был человек с большим самообладанием и очень находчив в трудные минуты. Он заявил, что действительно передавал министру большие суммы денег, но только интересуется вопросом как это мог видеть адъютант ministra. Это делалось всегда наедине. Адъютанту пришлось признаться, что он видел это в замочную скважину... Да, он действительно передавал министру большие суммы на Красный Крест, и у него имеются расписки на эти суммы. Все ли суммы шли на Красный Крест, понятно выяснить было нельзя и допрос Балинского ни к чему не повел.

❀

Надо было как можно скорее уезжать из России, это Балинский ясно понимал, а теперь уехать было очень трудно.

Помощником Балинского в конторе Виккерса по корабельному отделу был полковник Теннисон, не только корабельный специалист, но и превосходный музыкант. У

Балинского явилась блестящая мысль составить из служащих конторы опереточную труппу, а в то время, в начале революции, власти относились очень покровительственно к артистам и на этом была построена идея Балинского. Он пригласил еще одного подлинного бывшего антрепренера, составил список актеров своей труппы и обратился с просьбой дать его труппе два вагона для поездки по Сибири, чтобы давать представления в разных больших и маленьких сибирских городах. Среди нового правительства нашлись люди готовые помочь этому делу по идее, а другие за некоторую мзду, и труппе Балинского были даны два вагона с особым мандатом на право путешествия по Сибири. Для виду взяты были кое-какие старые декорации и костюмы, но главное составляли 72 сундука и чемодана набитые вещами самих Балинских, и труппа выехала на Восток по Сибирской дороге. Все-таки пришлось на двух-трех станциях устроить спектакли, самодельным оркестром дирижировал Теннисон, служащие конторы играли на разных инструментах, сам Балинский на турецком барабане, а Ватька супфером, Фанни пела и еще нашлось двое-трое из штата Виккерса с некоторыми голосами — спектакли сошли с полным успехом.

Но все-таки чем дальше тем путь становился опаснее и на одной из станций, за Читой, в спальный вагон Балинских ввалились красноармейцы с обыском. Бриллианты Балинской были при ней в купе, но она не растерялась, быстро завернула их в грязную бумагу и бросила под скамейку, один из солдат все-таки вытащил этот сверток и стал разглядывать, а Балинская смеясь заявила что это стекляшки, театральные украшения, необходимые для ее туалетов в одной из опереток, где она изображает какую-то принцессу, которых теперь уже нет... Солдат удовлетворился ее объяснением и сунул сверток обратно под диван. Так доехали до Владивостока и там ночью быстро без шума погрузили все на японский пароход, и в июне 1918 года мы встретились с Балинскими в «Ориенталь» отеле в Иокогаме, вся труппа и все сундуки и чемоданы благополучно прибыли.



Одним из секретарей Балинского был Вячеслав Иванович Глазко, якобы потомок литовских королей, человек образованный, хорошо знавший несколько языков и высшую математику, с авантюрным прошлым, и теперь при Балинском он исполнял роль придворного шута.

Во время званных обедов Глазко, или как его звал Балинский Ватька, всегда был во фраке и должен был говорить речи на разных языках, экспромтом или на заданную Балинским тему, и он это выполнял с удивительным успехом.

Ватька был себе на уме, и внешне будучи шутом при Балинском, оказывал на него большое влияние и на все семейное окружение.

Слушая иногда рассказы Балинского или Ватьки я вспоминал заседание Пиквикского клуба, где во время доклада о поездке мистера Пиквика и его сотоварищей, при общих восторженных одобрениях членов, один вдруг громко сказал «humbug», вранье, и вызвал общее замешательство — мне тоже иногда хотелось произнести это слово, но я никогда его не сказал и слушать рассказы и самого Балинского и его шута было очень занятно и даже весело.



При подходящих слушателях Ватька вел разговоры оккультные, давал понять что он посвящен тибетскими учителями и обладает тайными знаниями.

Одним из главных орудий Ватьки были элементалы, это маленькие пакостные духи, количество их громадно, они всюду и если пристанут к человеку, то кроме неприятностей и даже несчастий ничего не будет, вся жизнь будет испорчена; раз они прилипнут от них трудно избавиться. От них нужно всячески оторваться, и вот тибетские учителя научили его как уберечь себя от них. Если человек окружен элементалами, он всюду приводит их с собой, и такого человека нужно опасаться, он принесет несчастье в дом. Балинский слушал Ватьку с иронической улыбкой, но элементалы не выходили у него из головы и когда Ватька говорил между прочим, что вот кажется около этого человека элементалы, то Балинский настораживался, и больше этого

человека старались не принимать. Бывавшие в доме Балинского знали об элементалах и старались внушить Ватьке, что около них элементалов нет, делали Ватьке разные подарочки, и Ватька от этих подарочков не отказывался — и тогда этих людей в доме Балинского принимали охотно.

Ватька жил на всем готовом, его прилично, и даже изысканно одевали. Но наличных денег Балинский ему не давал и поэтому единственным доходом Ватьки были всякие возможные подарки от людей, бывавших в доме.

Фанни всячески покровительствовала Ватьке и иногда с помощью его оккультных знаний тоже влияла на мужа, особенно в денежных вопросах.

Обязанности Ватьки были необычные, доходившие до того, что когда Фанни брала ванну, то Ватька должен был сидеть за ширмой в той же комнате и читать какую-нибудь книгу, отгонявшую злых духов.

Предполагалось, что Ватька живет только духовными интересами, что к женщинам у него никакого влечения нет, но в действительности это было не совсем так, и однажды в Иокогаме Ватька исчез на два дня и его разыскивали в Иошиваре, известном огороженном квартале домов терпимости, где разодетые японки сидели в больших витринах и улыбались прохожим мужчинам...

**

Балинский был типичным польским паном-самодуром, но только с той разницей, что обычно в прошлом эти польские паны-самодуры разорялись, а Балинский сумел из ничего сделать миллионное состояние.

Купивши дом в Лондоне, он стал наполнять его нужной и ненужной мебелью и между прочим картинами; почему-то решил, что самый большой художник в мире Сальватор Роза и стал искать по Лондону его картины. Лондонские антиквары падкие на клиентов, быстро узнали о мании богатого русского и на него посыпались Сальватор Розы. Балинский подолгу торговался, советовался с русскими экспертами и в конце концов что-то покупал по выторгованной дешевой цене. Картины Сальватора Розы развешивались

по комнатам в дорогих золотых рамках и у каждой электрический рефлектор потому что темные тона леса и скал Сальватора Розы были особенно эффектны при ярком электрическом освещении. К сожалению, в конце, когда пришлось ликвидировать весь лондонский дом и эти картины, почти все они оказались поддельными и ничего выручить за них было нельзя.

**

В лондонском доме Балинского постоянно бывало много людей, устраивались концерты для того, чтобы могла петь романсы Фанни. Нам славянам, особенно русским, свойственно хлебосольство и в этом отношении Балинский был настоящим русским: за его столом всегда были приглашенные и не приглашенные и от этих людей он уже не рассчитывал иметь какую-либо выгоду. Ему нравилось быть окруженным людьми, он не переносил одиночества и даже его семейная обстановка была для него неуютна, слишком уж много родственников привела с собой жена.

На Новый Год и в день рождения Фанни каждому гостю готовились подарки. Заранее было распределено кому что подарить, но все облекалось в форму лотереи, Фанни вытаскивала из шляпы номера, кому из гостей что придется, и каждый получал заготовленный для него подарок как будто случайно вышедший. Это были какие-нибудь вещицы, вплоть до маленьких золотых, а бывшему губернатору Овчинникову случайно выходило наличными пять или десять фунтов. Этот бывший губернатор симпатичный человек, но невысокого ума, жил теперь в Лондоне и очень нуждался. Известна была его комическая история с отставкой, и он сам мне подробно рассказывал как это случилось. Он был тогда Вологодским губернатором и его секретарь подсунул ему для подписи какую-то бумагу, а бумаг было много и обычно он их не читал, когда подписывал. Это было прошение, адресованное министру внутренних дел, и в нем губернатор Овчинников писал, что он совершенно неспособен управлять губернией и вообще человек слабых умственных способностей. Бумага пошла в Петербург и оттуда приехали два чиновника якобы для оче-

редной ревизии губернского правления, и один из них, не занимаясь никакой ревизией все время был при Овчинникове, с утра до вечера, и как потом оказалось, это был психиатр, посланный из министерства чтобы выяснить, действительно ли губернатор сошел с ума. С ума Овчинников не сошел, но был уволен с губернаторства.

**

Среди многих рассказов Ватьки был один специально антиалкогольный, и иногда по знаку, данному Балинским, Ватька начинал рассказывать, то покороче, то с добавлениями и в новых вариантах.

«Это Юзеф Корженецкий меня окончательно подзадорил, ему было тогда пятнадцать лет и он из отцовского дома в Бердичеве убежал и стал потом знаменитым Джозефом Конрадом. Мне тоже был пятнадцатый год и я ушел из дома и больше не вернулся.

Меня и не искали, родители уже умерли, а родственники ожидали какого-то наследства из Америки, им было даже приятно, что один из наследников исчез. Конрад ни слова не знал по-английски, а я все-таки с детства более или менее знал этот язык и решил попасть на какой-нибудь английский пароход. Добрался кое-как до Риги и там ночью в порту залез на английский грузовик, видел что днем на него жмыхи грузили, я на этих жмыхах устроился в трюме, пролежал всю ночь и весь день, но на следующую ночь от голода вылез на палубу. Пароход уже был в море, куда он идет я не знал. Матросы накормили меня, а капитан выругал и сказал, что высадит в первом порту, но не высадил, я стал помогать повару чистить картошку, мыл кастрюли и палубу. Оказалось, что пароход идет в Австралию, шли кругом мыса Доброй Надежды месяца полтора или два, останавливались в разных портах, брали какие-то грузы, что-то выгружали, и наконец оказались в порту острова Тасмании. Морское путешествие мне так надоело, что я решил остаться тут на некоторое время, просто сошел с парохода, у меня уже было несколько шиллингов.

Я назвался Вильямсом, документов у меня никаких не было, но в те времена виз не требовалось, и пока че-

ловек не совершил какого-нибудь нарушения закона, он мог называться как хочет и жить как хочет.

Пошел за город в какие-то заросли и там заснул, очень устал. Сколько спал не знаю, но проснулся от какого-то шороха и с ужасом увидел что передо мною стоит сам дьявол и глаза горят у него адским огнем. Думал, что мне тут уже конец, не представляя себе никогда такого страшного животного, это тасманский дьявол, так его и называют и остался он только на острове Тасмания, величиною он с волка, но лохматый, по спине белая полоса, а голова огромная, тоже лохматая и длинные зубы торчат наружу. Это хищное животное, но для людей он не опасен, зато можно умереть от страха от одного его вида. Он постоял около меня, издал какие-то звуки, очень страшные, и ушел. Так я пролежал в кустах до утра и за полдень, все боялся двинуться. Добрался пешком до Хобарта и прожил там больше месяца, как-то что-то зарабатывая, а потом тем же способом поехал до Америки.

Кроме тасманского дьявола на этом пятом континенте живут как известно такие животные, каких больше нигде не осталось: кенгуру, бескрылая птица киви, и утконос не то птица не то млекопитающее, кладет яйца, широкий утиный клюв, а потом кормит детенышей грудью. Но самое удивительное что здесь есть — это ящерица хаттерия, на языке маори туатра, вот из-за нее я все это и рассказываю...

Многие до сих пор не поняли, что это глубокий символ у Гомера. Одиссей будто бы выжег головней глаз циклопу и таким образом спас свою жизнь. Циклоп был великан, сын бога Посейдона, а Одиссей обыкновенный маленький человек и он перехитрил циклопа Полифема. Напивши его пьяным, выжег ему глаз мудрости. В древней Лимурии и Атлантиде, у людей было три глаза, два обыкновенных как у нас, а третий на макушке, глаз мудрости, и у всех богов было три глаза, третий глаз всевидения и мудрости. Даже в христианских изображениях рисуется иногда один глаз Всевышнего, не два глаза, как на обыкновенных иконах, а один глаз в треугольнике, глаз всевидения и мудрости. Католические патеры до сих пор пробирают себе макушку, как бы говоря этим, что у них

есть глаз мудрости, но у громадного большинства теперешних людей этого глаза уже нет и только у немногих в мозгу сохранились кристаллики, остатки этого глаза, а у животных этот глаз остался только у этой удивительной ящерицы. Эти кристаллики не растворяются в воде, но легко растворяются в алкоголе, а потому алкоголь враг мудрого мышления и даже может быть причина падения человеческой духовности. Это хорошо знают мои учителя, и я удостоился воспринять от них эти знания».

**

В это время в Лондоне у художника Рериха устраивались спиритические сеансы, и Ватька очень опасался конкурентного влияния, доказывал что спиритизм ничего общего не имеет с мудростью тибетских учителей, что спиритизм своего рода шарлатанство, а главное крайне опасное занятие, потому что неумело входя в общение с потусторонним миром мы первым долгом привлекаем низших пакостных духов, элементалов, а раз привлекши их, уже трудно от них отделаться, даже те помещения, где происходят спиритические сеансы представляют опасность. Лучше быть подальше от этого.

Балинский иногда обрывал Ватьку:

«Не болтай чепухи, откуда ты это все знаешь». Но все-таки спиритических сеансов у себя не устраивал и к Рериху не ходил, Ватька исподволь оказывал свое влияние.

**

Балинский переселился в Париж, и тут купил особняк, но богатство быстро таяло, все еще были приемы, но далеко не такие как в Лондоне.

Уже много лет как умер Ватька, а скоро за ним и Балинский. Были ли это положительные типы людей или отрицательные, светлые или мрачные, судить не берусь, но только жизнь стала без них как будто менее приятной и уютной, и я вспоминаю их с теплым чувством.

Н. В. БРЯНЧАНИНОВ

Николай Валерьевич Брянчанинов умер в конце войны. Он оставил восемь книг по-французски, несколько брошюров русских, сотни статей, две книги переведены на английский. О его смерти не было ни одной строки ни во французской печати, ни по-русски: в Париже сидели немцы, все французские газеты были под контролем, русских вообще не было.

Я знал его много лет, он работал у меня в журнале «Столица и Усадьба», жил у меня некоторое время в Петербурге на Каменном острове, потом и в Париже, незадолго до смерти. Умер он в санатории от эмболии легких, мы с женой его хоронили, принял участие в расходах один из его издателей Артем Файар. На изданной им книге Брянчанинова «Русская История» стоит пометка «сорок вторая тысяча», другие его книги, тоже все о России: «Александр Первый», «Екатерина Вторая», «История Русской Церкви». Он настолько хорошо знал французский язык, что был постоянным сотрудником старейшего французского журнала «Меркюр де Франс» (осн. 1672 г.) и тут была издана его книга «Трагедия Русской Литературы».

Почти сорок лет он прожил заграницей. По окончании Вологодской гимназии поступил в Московский университет, кончил его или не кончил, уехал заграницу с целью изучать теологию, историю религий, слушал лекции в Германии, в Швейцарии, в двух теологических институтах в Париже. Жил очень скромно, но получивши случайное наследство, устроил экспедицию в Палестину, Сирию, Ливан, Египет все с целью изучения истории религий и истории вообще. Никогда не был женат, но в эту экспедицию отправился с женщиной, о которой потом вспоминает в своих записях, оставил мне ее фотографию.

Это была его единственная привязанность за всю жизнь. От наследства ничего не осталось, опять стал нуждаться, в 1912 году приехал в Россию и тогда писал маленькие фельетоны в моем журнале, но в Петербурге не прирос, поступил переводчиком в американскую армию и после окончания войны снова оказался в Париже.

Во время второй войны поступил в иезуитский монастырь послушником, прожил там полтора года в суровом режиме, ушел, мы опять встретились и вскоре он умер.

Это был необычный человек, его внешность подходила бы для Ватиканского кардинала, всегда спокойный, размеренный, знакомый со многими и в то же время очень одинокий. Выслушивая возражения собеседника, он никогда не спорил:

«Пусть остается при своем мнении, зачем я буду спорить. Каждый имеет право на собственное мнение» — постоянно говорил он, когда я удивлялся, что он никогда не пускается в спор, что так свойственно русским. До конца дней он оставался настоящим русским, но прожил жизнь космополитом, такие были среди нас, и этот космополитизм все-таки не менял наши природные особенности.

Он оставил мне объемистый фолиант воспоминаний о парижской жизни, о русской колонии до войны четырнадцатого года. В этих записях много интимного, много русских имен, обрисованных иногда слишком откровенно, все подряд печатать нельзя, кое-где надо поправить язык, он был уже болен, писал небрежно, но все-таки было бы потерей, если бы часть этих записей не была напечатана. Во всяком случае имя Н. В. Брянчанинова должно быть где-то отмечено и теперь я считаю свой долг отчасти выполненным.

АКАДЕМИК Н. И. ВАВИЛОВ

В советской энциклопедии об академике Н. И. Вавилове нет ни слова, хотя это был очень видный ученый агроном, повлиявший своими работами на все русское земледелие. Благодаря сделанному им подбору новых видов зерновых хлебов, их культура стала возможной на десяток градусов дальше к северу, там где зерновые хлеба раньше не вызревали, теперь дают хорошие урожаи.

Мы кончили ту же Академию, ныне называемую Тимирязевской, он был моложе меня. Уже студентом он отличался большой трудоспособностью, некоторые из нас посещали лекции и практические занятия только из боязни провалиться на экзамене и не получить диплома, Вавилов же с искренним интересом; уже тогда казалось, что из него выйдет серьезный ученый.

Это было одно из богатейших по оборудованию высших учебных заведений, много зданий было отведено под аудитории и лаборатории, у каждого студента был свой стол с полным комплектом реактивов, но нас было тогда всего 320 студентов, а теперь в этих же помещениях около четырех тысяч, и трудно представить себе как они могут успешно работать. Но суть в том, что большой ученый, уже с международным именем вдруг бесследно исчез и о нем не упоминается ни в одной советской энциклопедии...

На чрезвычайном собрании Ленинградской Академии Наук им был прочитан интереснейший доклад, переведенный позже на несколько языков, в этом докладе он впервые дал общий обзор земледелия не только в России, но на всем земном шаре.



При продвижении зерновых и других культур на север важен вопрос не только о морозах, но и о коротком вегетационном периоде, задача в подборе таких культур, которые могут быстро вызревать и в этом была главная работа Вавилова. Он собирал образцы семян во всех странах мира, самый богатый результат дало ему путешествие в Абиссинию, где оказались такие зерновые хлеба, каких нет нигде в других частях земного шара.

В северных районах России, и европейской и азиатской, достаточное количество влаги, но ее недостаточно нередко в южных районах и для них тоже нужен специальный подбор культур более выносливых к сухости — их тоже подыскивал Вавилов, пользуясь понятно опытом заграничных ученых, о чем так не любят сейчас упоминать в Советской России.



Экспедиция Вавилова в Абиссинию была в 1927 году, в то время советское правительство еще не было признано рядом государств, через которые нужно было проезжать, а у Абиссинии не было консульств в городах Европы. Вавилов рассказал целую эпопею всяких затруднений с разными визами, но все-таки добрался до Джибути, откуда идет железная дорога в Аддис-Абебу.

Было самое удобное время для сборов, хлеба созре-ли. Находки превзошли все ожидания, культурная флора Абиссинии оказалась совершенно оригинальной...

Разных форм и видов пшеницы изумительное коли-чество, много других злаковых растений, нигде не куль-тивируемых, кроме Абиссинии. Тридцать ящиков разных семян Вавилов отправил в Ленинград. Он рассказывает тоже о богатстве абиссинской фауны, где громадное ко-личество обезьян, особенно маленьких «монашек» и па-вианов, леопардов, разного рогатого скота и сотни новых видов птиц — европейские и американские зоологические сады постоянно посылают сюда экспедиции для пополне-ния животного состава садов.

Караван советской экспедиции в течение 4 месяцев

прошел по Абиссинии около 2 тысяч километров, охватив главнейшие земледельческие районы страны. Собрано свыше 6 тысяч образцов культурных растений, сделано около 2 тысяч фотографий, собраны образцы почв и подробно исследована техника земледелия.

Огромный сортовой материал был высеян на различных опытных станциях СССР, начиная с Полярного круга и кончая Средней Азией, Северным Кавказом и Украиной...

**

Академик Вавилов, ученый уже с мировым именем, вдруг исчез... Как теперь выясняется в 1940 году он был арестован по приказу Сталина в Черновицах, во время научной экспедиции, сослан куда-то, и там умер от холода и голода.

Примечание: Лишь в шестидесятых годах академик Н. И. Вавилов был реабилитирован и труды его переизданы.

П. БОРАНЕЦКИЙ

Я писал только о людях, с которыми и лично и подолгу встречался, не по каким-либо чужим записям. Когда и лично встречаешься с человеком и долго его знаешь, все-таки можно ошибаться в суждении о нем, непременно проявляются личные чувства и влияния случайных обстоятельств — однако при личном общении получаешь впечатление из первоисточника, а когда с чужих слов еще меньше правдивости...

Но вот этого несомненно необычного человека я никогда не встречал и приведенное ниже письмо объясняет почему. Рядом на столике стоит башенка книг, высотою ровно полметра, семь книг таких объемистых что в общем больше шести тысяч печатных страниц! Последняя книга — 1378 страниц, а в предыдущей и того больше! Автор печатает эти книги на свой счет и они нигде не продаются, он рассыпает их по каким-то определенным адресам, ему одному известным, совершенно бесплатно, оплачивая еще и рассылку заказным пакетом. Как видно из нижеприведенного письма последняя книга стоила два миллиона франков, а общая стоимость всей этой башенки книг вероятно больше десяти миллионов и автор заработал их очень тяжелым и опасным трудом, он чистит стекла на высотных зданиях, стеклянные крыши вокзалов, в самых опасных условиях, получая за это повышенную плату и все что он зарабатывает уходит на печатание книг, сам же живет в очень скромной обстановке, в одной комнатушке.



Глубокоуважаемый Владимир Пименович,

Очень благодарен и очень рад Вашему предложению как-либо приехать к Вам и побеседовать. Вы — один из наиболее значительных русских писателей и общение с Вами для меня было бы истинной радостью. К сожалению я не знаю когда я смогу воспользоваться Вашим предложением. Дело в том что больше 15 лет, т. е. с тех пор как я начал издание моих книг, я работаю из-за огромных типографских расходов, без воскресных дней, без праздников и без отпусков. Из-за последней же моей книги, которая мне обошлась почти в два миллиона французских франков (старых), мне пришлось к тому же влезть в долги и теперь мне приходится работать не только без единого дня отдыха, и гораздо большие каждый день, иногда от 6 час. до 6 часов, с полчасом на обеденный перерыв. Поэтому я предлагаю пока что, пока я отключаюсь от наиболее срочных долгов, прибегнуть к моему опыту с Лосским, известным философом. Он в своей «Истории Русской философии» на французском языке посвятил один параграф мне и моим книгам и для этого он сам предложил — посредством переписки — некоторые интересовавшие его вопросы, на которые я и дал точные и исчерпывающие ответы. В дальнейшем же я буду иметь возможность освободиться от части моей работы и тогда в первую очередь я поставлю Вас в известность.

Что же касается Вашего вопроса о моем отношении к антропософии, то я могу ответить уже теперь, что я не имею никакого отношения к ней. Тем не менее я признаю что это интересное явление и в особенности, что там имеются интересные люди, живущие повышенной духовной жизнью. Меня вообще, подобно антропософам, все считают «своим». Так например, мое миросозерцание сближали и с Федоровством, и с Ницианством, и с Мережковским, и с Бергсоном, и с Фейербахом и с многими другими. Материалисты же считают что я мистик и создаю новую религию, а религиозники считают, что я материалист и даже воинствующий атеист. Объясняется все это тем, что мое миросозерцание интегрально и универсально. Поэтому будучи индивидуальным в целом, оно родственно в своих элементах со многими другими миросозерцаниями. После этой последней, седьмой книги, что я Вам послал, мне предстоит издать еще пять книг, но они не будут такими огромными, как предыдущие книги, так как главная проблематика уже проработана. Притом я рассчитываю на мое исключительное здоровье и на то, что мне всегда не везло в мелочах, но зато всегда везло в главном. А философия это главное, даже главнейшее, я даже думаю что именно филосо-

фия придет на смену религии, но философия соответственная, обоснованная на науке и вооруженная искусством, с одной стороны, и техникой, с другой. Ведь философия это дитя религии, а дети всегда идут на смену родителям, и именно в нашу эпоху это «Дитя» религии приближается к своему зрелому возрасту, как религия приближается к своей смерти.

Итак, до нашей будущей встречи у Вас искренне преданный

Вам П. Боранецкий

1966, З. 1.

**

Недавняя книга П. Боранецкого называется «Социальный Идеал», в ней 1365 страниц, из них 16 стр. занимает «содержание», подробно перечислено что написано в книге, с указанием страниц, легко сразу найти. Предыдущая книга называется «Религия, Материализм, Прометеизм», в ней 1650 страниц из которых 13 стр. отведены подробному перечислению содержания книги. Все разработано внимательно и подробно, затрачен громадный труд. То же самое и во всех предыдущих книгах, а вероятно будет и в тех пяти следующих, которые непременно должны быть написаны...

Кто внимательно полностью прочтет уже напечатанных шесть тысяч страниц и следующих пять книг, решить трудно, на себя я такой труд не беру и только вот на выдержку прочел внимательно главу о Прометеизме, так как Прометеизм видимо главная основная идея автора и понятие это весьма мудреное, ни в одном словаре, ни на каком языке точного определения не дано. Прометей как известно похитил с Олимпа священный огонь, с тем чтобы передать его атлантам, сделать их полубогами, а затем и всех людей довести до такого же состояния!

«Что такое Прометеизм — можно сказать в одну минуту и можно говорить всю жизнь. Ибо содержание Прометеизма одновременно и предельно просто, и бесконечно сложно» — так начинается эта глава. Дальше идут 28 абзацев, поясняющих что такое Прометеизм, каждый абзац начинается одинаково:

«Он есть система идей и идеалов...

«Он является системой идей и идеалов...

«Он есть философия творчества в его Абсолютном значении и назначении в мире...

«Он представляет собой миросозерцание Человека в качестве организатора-творца...

«Он представляет собой миросозерцание триединой реальности в мире всего истинного, благостного и прекрасного, всего великого...» и так далее, двадцать восемь таких абзацев.

К сожалению я, оказывается, не из тех людей, которые в одну минуту могут понять что такое Прометеизм и даже после двадцати восьми абзацев для меня остается неясным как люди могут достигнуть Прометеизма. Тем хуже для меня, самому автору вполне ясно и можно искренно позавидовать ему что у него такое цельное, вполне сложившееся, неизменное миросозерцание, никаких больше сомнений, весь план составлен полностью во всех деталях, полное духовное равновесие. Это действительно завидно, когда сам прожил жизнь в постоянных сомнениях и не только не предвидел будущего, но часто даже не совсем понимал происходящее. Жизнь отдана на такой громадный вполне законченный труд, своего рода подвиг.

Нет ни малейшего сомнения что П. Боранецкий необычный человек и как хорошо что люди не стали муравьями, думающими одинаково, совершающими кем-то приказанную работу, а среди них есть Боранецкий.

Решаюсь только высказать мнение, что не надо писать так протяженно-сложенно, нет у нас теперь времени читать тысячи страниц, по одному вопросу, важному только для самого автора. Спиноза тоже работал со стеклами, шлифовал их для оптических приборов и в то же время писал свои фолианты, ставшими бессмертными, он писал много короче и даже эти короткие записи даром не рассыпал. Удивительный философ Витгенштейн оставил после себя только две небольших книжки, но его аудитории всегда были полны и его влияние все растет, в особенностях в последнее время в Америке.

Но каждый должен стараться быть совершенно независимым от навязанных чужих мнений, поступать по сво-

ему убеждению, даже в отношении формы изложения — менее всего ценно подражание или пережевывание чужого.

Постскриптуm:

Достоевский заставил нескольких своих героев покончить самоубийством, но сам нередко в очень тяжелом положении и с сознанием неизлечимой болезни, грозящей перейти в падучую, о самоубийстве никогда не думал, этого нельзя найти в его произведениях. О причинах самоубийств, описанных в его романах, думают по разному, толкователи и критики больших произведений очень любят свои фантастические домыслы и приписывают автору такое, что никогда ему на мысль не приходило. Но вот самоубийство Кириллова в «Бесах» совершенно ясно построено на Прометеизме, хотя этого слова у Достоевского нет — Кириллов хочет покончить с жизнью по собственной воле, а не тогда когда ему это предназначено какой-то высшей божественной волей, поступая так он как бы становится полубогом, не подчинен никаким придуманным людьми богам. Мышление наивное потому что если подумать глубже, то ведь может быть он и стреляется-то по решению высшей воли, так ему предназначено.

Очень любят критиковать и пережевывать большие произведения и поступки больших людей, несравненно легче чем дать что-то свое хотя бы совсем маленькое и к тому же так приятно подержаться за колесницу триумфатора, вот, например, покойный философ Степун разбирает как раз произведения Достоевского, говорит что изучает их уже много лет, а Кириллов у него не стреляется а вешается, что совершенно меняет всю сцену самоубийства. Кириллов стреляется и Верховенский долго волнуется, как бы он не раздумал, а вот о самоубийстве Ставрогина наболтано столько галиматы, что Достоевскому и присниться не могло...

По самоубийству Кириллова я немного понял что такое Прометеизм, но тем не менее с почтением и уважением отношусь к Боранецкому, просто жизнь отдающему на разъяснение этого вопроса.

И. И. КОЛЫШКО — «БАЯН»

Часто говорят — «это хороший человек» или даже — «это очень хороший человек», а о другом говорят — «плохой человек, очень плохой человек...»

Если о человеке говорят, что он неприятный собеседник или что он приятный человек, тут никаких возражений быть не может, вопрос личного мнения. Но у кого есть право одних людей считать очень хорошими, а других очень плохими, кому даны права дискриминации, права прокурора обвинять или судьи выносить приговор.

Особенно остается под сомнением можно ли касаться личной жизни человека, когда им создано что-то ценное, а личная жизнь подлежит осуждению с общепринятых точек зрения. Можно ли просто писать об интересных ярких людях, иногда очень талантливых, частная жизнь которых должна подлежать осуждению?

Это маленькое введение понадобилось мне потому, что я долго не решался написать что-нибудь об Иосифе Иосифовиче Колышко, человеке исключительно талантливом. Но прошло уже больше полстолетия, и он сам и окружавшие его давно в могиле, а впечатление, оставленное им, настолько ярко и выпукло, что невольно часто его вспоминаешь, мало за жизнь встречал таких необычных людей как он.



Колышко я знал по Петербургу, еще когда он был чиновником, когда писал в «Гражданине» князя Мещерского, в «Санкт-Петербургских Ведомостях», князя Ухтомского под другим псевдонимом и главное в самой распространенной, уже либеральной русской газете «Русское Слово» под псевдонимом «Баян». Его фельетоны читались

миллионом людей, он конкурировал с Дорошевичем, одни его считали первым, другие — Дорошевича, но о фельетонах того и другого говорили и читали в них между строк.

Одно время Колышко был секретарем Витте, был уже в пятом классе по чину, потом написал нашумевшую пьесу «Большой Человек», в которой вывел Витте, пьеса долго шла и в Петербурге, и в провинциальных театрах.

В разговорах Колышко был очень интересен, остромыслен, едок и в то же время мог расположить к себе если хотел. Он очень нравился женщинам.

При Временном Правительстве Колышко был арестован и посажен в Петропавловскую крепость, по обвинению в шпионаже. Он несколько раз ездил в Стокгольм, там у него была знакомая или совсем близкая немка, причастная к дипломатии и вероятно к шпионажу. Он хотел получить от немцев большую сумму и начать издавать в Петербурге газету, в которой более или менее скрыто проводить идею сепаратного мира. Это не удалось, он был арестован, отрицал всякую свою вину, но впоследствии я остался при убеждении, что это так было. Он не отрицал в личном разговоре этой дружбы с немкой в Стокгольме, но старался доказать, что это была чисто любовная связь.

Тогда же по подозрению в сношениях с немцами был арестован Дмитрий Рубинштейн, но его быстро освободили, а Колышко был освобожден только после октябряской революции.



В Петербурге говорили о его романической истории со смолянкой, фамилия которой была известна многим. После выпускных экзаменов, на торжественном акте в Смольном Институте, присутствовала императрица Мария Федоровна, и эта красивая смолянка была награждена шифром, и ей предстояло стать фрейлиной вдовствующей императрицы. А ночью она бежала из Института и уехала куда-то с Колышко.

Для Института это было скандальной историей. Их совместная жизнь продолжалась несколько лет, мучили они друг друга, тратили много денег. Без прохождения ка-

ких-либо театральных курсов, благодаря связям, она добилась дебюта в Александринском театре, была зачислена артисткой и быстро дошла до ответственных ролей. Целый ряд необычных инцидентов был во время этой ее театральной службы.

Колышко нанял для нее довольно большую квартиру в новом доме на Каменноостровском проспекте, она там поселилась без него. Была большая гостиная или зала, но она самовольно велела выломать переборку, отделявшую соседнюю комнату, затянула пол и стены черным сукном и среди большой комнаты поставила что-то вроде катафалка, затянутого лиловым бархатом, а кругом в церковных подсвечниках стояли четыре толстых свечи. Она ложилась на этот катафалк, зажигала свечи и громко декламировала свои роли или какую-нибудь трагедию Шекспира, в подлиннике, по-английски. По комнатам летал большой орел, переборка была снята, чтобы ему было просторнее, она из рук кормила его мясом.

Продолжалось это недолго и когда пришлось сдавать квартиру нужно было уплатить домовладельцу убытки за разломанную перегородку. Орел загаживал комнаты, но она сама все убирала, говорила, что это ее лучший друг. Она протестовала при намеках, что Колышко соблазнил ее — никто меня не соблазнял, я сама его заставила так поступить, он делал что я хотела.

Она бывала у меня на Каменном острове, в сумочке у нее всегда лежал заряженный револьвер. Одно время она впала в аскетизм, решила есть только два сырых яйца в день, тоже носила их в сумочке. Она была мне очень интересна как необычный человек, нравилась мне, но я боялся ее, даже ни одного поцелуя никогда не было, мне казалось, что она при этом непременно меня застрелит... С началом войны она пошла сестрой милосердия на передовые позиции, под огнем делала перевязки и выносila раненых, была награждена каким-то почетным знаком за храбрость, своей смелостью заражала других.

После войны оказалась в Югославии, где организовала Институт для девиц, как бы по правилам и традициям Смольного, ввела форму черных пелеринок, издавала журнал «Черные Пелеринки» и в нем сообщалось, что когда

вернемся в Россию, пелеринки будут белые, как были в Смольном. Там в Югославии она и умерла — это тоже был странный, недюжинный человек, очень одаренная натура; она писала у меня в журнале «Столица и Усадьба», воспоминания о Смольном, были очень интересные статьи.

В 1922 году она неожиданно приехала ко мне в Берлин, не объясняя зачем, привезла несколько номеров своего журнала «Черные Пелеринки», один номер из которых сохранился у меня до сих пор. В этом журнале писали старшие воспитанницы, но главное она сама. Она искренно верила, что все вернется к старому, снова будет Смольный Институт благородных девиц с белыми пелеринками.

**

Я не знал человека более ядовитого чем Колышко, его не любили, но боялись. Он приехал в Берлин с некоторыми деньгами, стал играть на бирже, влез в какие-то дела и деньги ушли. Потом уехал во Францию, я его потерял из виду и встретил опять в Ницце, уже совсем без денег. На последние свои деньги он умудрился купить в Ницце какую-то виллу, которую от него потом отобрали, потому что продавец продал ее незаконно. В этой вилле он похоронил свои последние деньги. Тут он нашел свою Тамарочку, девочку восемнадцати лет, которая видимо искренно его полюбила, и несколько лет он жил на ее скромный заработок — 600 франков в месяц — а сам не мог найти никакой работы; писал во все газеты, но его нигде не хотели печатать.

Одно время он уговорил местного книготорговца Вилькомирского издавать еженедельную газету, целиком писал все номера. Вышло номеров тридцать, и газета закрылась, так как сводить концы с концами не могли.

Газету он вел понятно так, что восстановил против себя буквально всех эмигрантов, сколько их было на Ривьере, и не было человека, который бы говорил о Колышко иначе, как с озлоблением. Он несколько раз обращался ко мне за помощью, я немного ему помогал, но потом перестал отвечать на его письма. В последний приезд в Ниццу я тоже не хотел с ним встречаться, но он узнал о

моем приезде из газет и прислал письмо, которое меня тронуло настолько, что я все-таки решил с ним повидаться.

Я пригласил его к себе в отель, говорили вдвоем. Началось с разговора о статьях некоего Никитина в «Последних Новостях», где Никитин опять обвинял журналиста К. как немецкого агента.

Колышко оказалось написал уже пространнейшее письмо в редакцию и в этом письме, по обыкновению, отпускал колкие фразы по адресу многих, в том числе и Милюкова, хозяина газеты. Понятно письмо это не напечатали. Колышко возмущался.

«Вы ощельмованный всеми человек, вместо того, чтобы оправдаться, по свойственной вам манере брызжете слюной на других».

Я не стеснялся в выражениях, он меня вывел из себя.

«Вы знаете Иосиф Иосифович, мне представляется, что если бы была улица широкая, мощеная асфальтом, с цветниками и на ней стояло одно помойное ведро, то вы, идя по этой улице, непременно влезли бы ногой в это ведро и запакостили бы улицу».

Его передернуло. Я думал, что он ответит мне дерзостью. Но он промолчал, как бы поник и спросил вполголоса:

«Так что же мне делать?»

«Делать вам можно только одно — каяться. Вам нужно выйти на паперть собора, положить земные поклоны на все четыре стороны и сказать: «прости меня народ русский», а не изливать еще свою желчь на других. Казалось бы, вы уже так затравлены, что идти дальше некуда, к стенке приперты, а вы все еще кусаетесь... Но кусаетесь беззубо, зубов у вас уже нет».

«Так что же мне делать?» — еще раз повторил он.

«Сядьте и напишите свою исповедь... Но как напишите! Так напишите, чтобы исповедь Жан-Жака Руссо, которая вошла уже в поговорку была недосказанной в сравнении с тем, что вы напишете... Пишите все, без всякой утайки. Выверните себя наизнанку — тогда может быть вам поверят...

Начните с того, как вас еще кадетиком взял к себе

князь Мещерский, как благодаря ему вы делали свою карьеру, как вы за взятки, будучи чиновником, проводили дела, как вы попали в печать, писали под тремя псевдонимами в трех разных газетах, едко переговариваясь сам с собой, как вы попали в секретари Витте, как вы потом этого Витте осмеивали,

Упомяните о вашей истории со смолянкой, ради которой вы бросили семью. Как вы, пользуясь вашим положением известного фельетониста Баяна, влезли в целый ряд акционерных обществ и получали там большие оклады...

Еще многое другое, что я сейчас не припоминаю, все это напишите и тогда перейдите к главному — расскажите, что вы делали тогда в Швеции, как вы жили там с немкой, которая была агентом немецкого генерального штаба, как вы привезли в Россию проект сепаратного мира с Германией и как вы хотели получить за это миллион...»

«Я не брал денег от немцев» — перебил Колышко.

«Я склонен вам верить, что вы от немцев денег не брали, но вот когда вы вывернете себя наизнанку и расскажете все, тогда может быть поверят, что вы не брали денег от немцев».

На этом мы расстались.

Когда мы уезжали из Монте-Карло, Колышко прибежал на вокзал в Ницце и точно помолодевший, выпрямившийся в светлом летнем костюме (единственном приличном, по его словам, оставшемся у него) сказал:

«Я пишу... уже одна глава готова. Вы меня заразили вновь энергией. Я напишу все как на исповеди».

**

Он действительно написал объемистый фолиант и назвал это «Исповедью», прислал его мне, я прочел и удивился стойкости человека, в этой своей исповеди он опять критиковал и осуждал других. Это была не исповедь, это была полемика — такую рукопись нельзя было напечатать, ни к чему, и ему она не послужила бы на пользу.

Как-то И. В. Гессен увидел у меня эту рукопись и за-

хотел прочесть, и долго читал, потом вернул мне, и я ее передал в архив Б. Николаевского.

Колышко умер, это был большой талант, но злобный — за его талант многое простится ему, может быть все; настоящих талантов мало, он был настоящим, и точно во-лею судеб у талантливого человека должны быть какие-то непонятные другим изломы и даже пороки.

Где нет черных теней, там нет и ярких бликов, только серенькое...

Он умер в начале тридцатых годов в полной бедности, нигде не было никакой заметки о его смерти, а человек он был необычный.

ЧЕЛОВЕК С ТЕЗОЙ — ПРОФЕССОР А. А. ПИЛЕНКО

Уже давно это было написано, полежало, перечел, много вычеркнул, порвал, выбросил и теперь опять пишу, так прочно он остался в памяти. Принято думать, что об умершем надо вспоминать только хорошее или ничего, здесь хорошего мало, но все-таки человек был видимо яркой крупинкой мироздания, потому что так засел в памяти, и кто может и кому дано право решать, что хорошо и что плохо.

Теперь часто к человеку приклеивают эпитет «ненормальный», как будто все больше таких ненормальных людей.

Ученый физиолог и психолог попробовал описать совершенно нормального человека и оказался совсем недоволен тем, что получилось. Среднего роста, с вполне нормальными конечностями и другими частями тела, с пятью нормальными чувствами, без всяких унаследованных болезней, только с самыми «общепринятыми», вроде детской кори и коклюша, не оставивших никаких хронических последствий, потом временных неисправностей пищеварения, изредка зубной боли, ничего аллергического или идиосинкритического; без всяких увлечений или капризов, без крутой смены настроений, без аффектов, всегда спокойный и размеренный в своих чувствах, одинаковых ко всем людям, никаких резких вызывающих мнений или горячих споров, размеренное отношение ко всему окружающему и так далее... Получился очень неинтересный и скучный человек, описать отличительные черты которого, так же трудно как особенности какого-то отдельного муравья в муравейнике или овцы в большом овечьем стаде, или пары башмаков массового производства.

Если человек встретился даже и несколько раз в жиз-

ни, но потом о нем ничего нельзя вспомнить, тем более записать, совсем забылся, значит ничего отмеченного или яркого в нем не было, хотя он может быть был вполне хороший человек по общепринятым терминам, весьма неопределенным и расплывчатым — а этот человек твердо запомнился.

**

Профессор международного права, читал лекции в двух высших учебных заведениях, а после революционной реформы Кассо получил кафедру и в Петербургском университете, и хотя кассовские профессора встречены были резкой обструкцией студентов, он уцелел там до самой революции. Знал несколько языков, французский совсем хорошо, считал себя очень умным, это подчеркивал, на всех смотрел сверху вниз. Писал политические статьи в большой газете, всегда кого-то обвиняя и находя всюду какие-то ошибки; если его статью не печатали, он удивлялся недомыслию редактора, негодующе уходил из редакции, но недели через две опять писал статью и ее печатали.

Жил в Петербурге безбедно, в зале своей квартиры поставил два концертных рояля, приглашал трех хороших пианистов и вместе с ними играл в восемь рук на двух роялях, соседи даже жаловались, что эти вечерние концерты их беспокоят, но концерты продолжались. Жену они тоже раздражали, он предложил ей на время концертов уходить из дома, что она и делала, подчиняясь его воле. В разговорах о музыке подчеркивал свои музыкальные знания, говорил о контрапункте, четвертях тона и конкретной музыке, но музыкальным слухом не обладал и прослушанные мелодии повторить не мог, не сразу узнавал композитора, никогда не играл соло.

Работал в консервативной газете и читал лекции в привилегированном учебном заведении, сделавшись ставленником Кассо, всегда говорил, что он в оппозиции и действительно в каком бы собрании он ни выступал, всегда был несогласен с мнением большинства, оставался при особом мнении, его присутствие на собрании гарантировало, что оно будет бурным.

«Я по природе прокурор, таким родился, таким и помру» — была его любимая фраза.

Он писал иногда отчеты о заседаниях Государственной Думы, и всегда резко критиковал речи всех ораторов без исключения, ни один ему не подходил.

В петербургскую Городскую Думу выборы происходили по двум куриям, первая курия цензовая, плательщиков крупных городских налогов, сравнительно малочисленная, а вторая курия весьма многолюдная и она выбирала половину гласных — от этой второй курии он был выбран в гласные и стал грозой всех заседаний, все проекты и предложения, исходившие от первой курии, всегда подвергались его жесточайшей критике, часто проваливал их.

Когда было внесено предложение о памятнике убитому премьер-министру П. А. Столыпину, Городская Дума хотела ассигновать пятьдесят тысяч рублей и открыть подписку, но хотя брат покойного премьера был как будто приятелем неугомонного прокурора, он провалил этот проект:

«За все свое премьерство Столыпин не сделал ничего полезного для города Петербурга, ровно ничего не сделал. Если за это нужно ставить памятник, то очень многим из нашего собрания тоже придется, когда они помрут... Я не вижу ни малейшего основания тратить городские деньги, которых у нас все время не хватает, на памятник человеку который ровно ничего хорошего для города не сделал».

Потом не раз с удовольствием рассказывал об этом своем выступлении.

Благодаря своим ораторским способностям, был выбран председателем ревизионной комиссии и тут стал находить сплошь злоупотребления в расходовании городских денег. Первым долгом накинулся на городские оранжереи, стал выяснять кому и почему посылаются цветы, венки и букеты, на каком основании, потребовал привлечения к ответственности ряда людей. Так и в других отраслях городского хозяйства, постоянный протест и обвинения, хотя часто без основания...



После революции он вместе с семьей оказался в Париже, стал французом, выступал во всех эмигрантских собраниях, всех громил, делая собрания не только бурными, но иногда доводя до скандала.

Когда большевики захотели передать московскому патриархату собор в Ницце, он тоже немедленно вмешался, собрал кучку казаков, на собрании прихожан утихомирил всех сторонников передачи, довольно прозрачно дал понять, что их ожидают большие неприятности, если они согласятся на передачу, и указал на дюжих присутствующих казаков — собор передан не был...

Устроился ночным редактором в большую французскую ежедневную газету, но продержался там недолго, поссорился с хозяевами и принужден был уйти. Перешел в другую газету, проработал там несколько месяцев и был уволен за превышение данных ему полномочий и еще за что-то. Оказался теперь без всякой службы, пробовал добиться лекторства в Сорbonне, но это не удалось.

Хотя он всегда утверждал, что делает все для своей семьи, дети с возрастом стали относиться к нему холодно и под конец даже враждебно, ушли из его квартиры, не встречались и на письма не отвечали. Жена заболела, не могла больше работать и после долгой болезни умерла в доме для умалищенных. Он остался совсем одиноким, искал какой-нибудь работы по своей специальности, найти не мог. Решил заниматься чем угодно, стал торговать икрой от большой фирмы, сделался проводником по Парижу для избранных иностранцев, читая им лекции об исторических памятниках, но вследствие постоянной критики и резкого тона, удержался недолго, стал искать новое занятие, скучал и нуждался.

**

Всегда говорил, что не интересуется беллетристикой, даже хвастался что совсем не читал многих классических произведений, считал это бесцельной тратой времени, ценно только такое произведение, где есть определенная теза, а если книга пишется только для чьего-то времяпрепровождения, то это дребедень. Однако, теперь стал прове-

рять переводы произведений Льва Толстого на французский язык. Одобренный Французской Академией перевод «Войны и Мира» сверял строчка за строчкой и нашел столько неправильностей в переводе, что получилась не критическая статья, а целая книга. Печатать такую книгу по-французски было немыслимо, не нашлось издателя, предложил советскому Госиздату, но ее не приняли.

Занялся другой странной книгой, как бы пространной самозащитительной речью. Книга называлась «Не виновен», на четырехстах страницах разбирал всю свою жизнь и особенно отношение к детям. Никогда за всю жизнь он никого не защищал, всегда только обвинял, и даже хвастался тем, что некоторым испортил их карьеру — впервые стал защищать, но себя самого. Неясно было от каких обвинений он защищается, были только сплошные доказательства того, что он всегда был прав и логичен в своих поступках. Книга эта осталась тоже только в рукописи.

Еще, уже в последние два года, решил писать мудрое юридическое сочинение о моновалентности и поливалентности в сложном судебном процессе, подолгу сидел во французском архиве, изучая былье судебные процессы за много лет, в результате получилась довольно объемистая брошюра, но так как его теория была противоположна принятой во Франции еще со временем Наполеона, успеха она иметь не могла и хотя ему удалось устроить диспут с юристами Сорбонны, его теорию не приняли и брошюру не напечатали.

**

В Петербурге мы встречались сравнительно мало, но в течение многих лет внешние отношения были как будто приятельские, но мне была совершенно ясна его неприязнь и даже заочная враждебность.

В тридцатых годах встретились в Париже и он стал часто бывать у нас, приходил неожиданно, без назначенного заранее дня. Относились к нему любезно, особенно когда он совсем уже стал нуждаться и даже по его словам почти голодал, говорил, что вполне доволен самым необходимым, только молоко и хлеб, приходил к зав-

траку и сидел до вечера, нервно ходя по комнате, много и пространно говорил, отчеканивая каждую фразу, но если его прерывали, сердился и внушительно вставлял:

«Я привык говорить так, чтобы меня слушали и не прерывали, иначе это не разговор, а дамская болтовня».

Он приносил свои рукописи, читал критику переводов Толстого и очень подробно, глава за главой свою защитительную книгу. Эту книгу я помню особенно хорошо, он прочел ее всю от начала до конца, глава за главой и по прочтении спрашивал:

«Находите ли вы здесь что-то неясное и нелогичное?»

Все было ясно и логично, но в общем скучно и холодно, и это была не защита от каких-то обвинений, а сплошное самоутверждение, доказательства логичности всех его поступков.

Чужих книг он не читал, в том числе и моих, только изредка как бы в виде любезности за гостеприимство рассказывал, что прочел что-то мое и на вопрос, что же он вынес из прочитанного, всегда был один ответ:

«Я читал внимательно, нашел несколько опечаток, удивлялся как вы самовольно распоряжаетесь знаками препинания, но дело не в этом — какая у вас теза?.. Я не нашел тезы, а если нет тезы, то это пустословие...»

Так буквально и говорил, и я делал вид, что не обижусь, принимаю как должное. Все общение с ним в течение ряда лет было для меня как бы особой формой мазохизма, еще не описанной в курсах психиатрии. Кроме того было жалко этого теперь так одинокого и так разочарованного человека. Иногда готов был поссориться, сказать, что мы не можем встречаться, но не говорил, и посещения его продолжались и все был тот же самоуверенный авторитетный тон во всех его фразах.

Однажды все-таки я не выдержал его непозволительно резкого тона, поссорились, он ушел и долго не показывался.



Прошло месяца два, наш русский консьерж пришел сказать, что у ворот стоит какой-то господин и просит спросить примут ли его, что он странник, а фамилии не говорит. Посмотрели в окно, это был профессор международного права, пригласили войти, поздоровались как будто ничего не произошло, не вспоминали о происшедшем перерыве. Он стал опять бывать, первое время был менее резок, но дальше пошло попрежнему.

Он жил теперь совсем один в своей муниципальной квартире, его пробовали уплотнить, но через разных властей он отстоял свое право на квартиру.

О его смерти мы узнали только через несколько дней, консьерж дома нашел его мертвым у кровати. Ни во французских газетах, ни в русских нигде не было ни слова о его смерти, никакого объявления — и это тоже не некролог, как принято их писать, это история одной жизни человека несомненно яркого и необычного, сам себе портил жизнь.

**

Он умер и безразлично как и где похоронен, здесь его больше нет и напоминающего о нем ничего не осталось. Но если «там», если там есть, и он мог бы прочесть это, то весьма вероятно спросил бы:

«А какая тут теза?» А может быть на этот раз и не спросил бы, увидел бы тезу.

Всю жизнь прожил в роли прокурора, всех обвиняя. В государственном строе прокуроры нужны для охраны законов, их роль важна и очень ответственна, но и прокурор иногда не находит состава преступления и дело прекращает. Он сам себя назначил прокурором и на этом прокурорстве хотел выделиться, делать свою карьеру, вместо того чтобы анализировать и критиковать собственные поступки.

Он баламутил наше болото, поднимал муть со дна, иногда вспыхивали яркие болотные огоньки не из ядовитого газа метана, а острой человеческой мысли, хотя тоже всегда с ядовитинкой. Как это ни странно у меня не осталось никакой неприязни к нему, печально что его больше нет.

Я написал это о нем, умолчавши о многом еще, о таком, что осуждается так называемыми общественными правилами, всегда касающимися другого, но редко прилагаемыми к самому себе — довольно и сказанного. Пусть это будет памяткой о нем, так как никаких других не осталось, ни одной книги, ни одного друга, а это был необычный человек.

ОШИБКИ, ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ОБМАН

Андрэ Мазон, заслуженный профессор Коллеж де Франс, прислал интересную брошюру о Левеке, оттиск из объемистого тома изданного ЮНЕСКО. Левек восемь лет пробыл в России и написал шесть томов Истории России на французском языке, никогда не переведенных на русский язык, это была первая Русская История на французском языке.

По рекомендации Дидро Екатерина Вторая пригласила Левека в Петербург и назначила его воспитателем и преподавателем французского языка в тогдашний кадетский корпус для «благородных», впоследствии Пажеский корпус.

А. Мазон написал грамматику русского языка и особенно известен тем, что он первый уверенно заявил о подложности «Слова о Полку Игореве», категорически утверждая, что это написано в восемнадцатом веке, а не в двенадцатом. Позже несколько других филологов тоже усомнились, но русские настаивали на двенадцатом веке. Теперь и в Москве появились мнения, что это рукопись не двенадцатого века, вероятно восемнадцатого, автор ее точно не установлен. Советский филолог А. Зимин написал целую книгу, доказывая подложность «Слова», которая напечатана на гектографе, но не сдается в печать. По словам Мазона профессор М. Успенский, академик, тоже соглашается с А. Зиминым, но не печатает трудов по этому вопросу до поры до времени.

Как будто история «Слова о Полку Игореве» во многом похожа на то, что было с известной чехосlovakской Краледворской Рукописью, где сам автор под конец признался в подделке и подробно рассказал, что он предпри-

нимал, чтобы сравнительно долго его подделка не была раскрыта.

Из французских профессоров Сорбонны лучше других знает русский язык Пьер Паскаль, тоже уже заслуженный профессор Сорбонны, теперь в отставке, но продолжает работать над большой монографией о Достоевском. Несколько томов Достоевского он превосходно перевел на французский язык, чего никак нельзя сказать о других переводах русских классиков, даже премированной французской Академией перевод «Войны и Мира» не только несовершенен, но в некоторых местах курьезен.

Паскаль в полную противоположность Мазону уверен в подлинности «Слова» и беседовать об этом произведении нужно отдельно с Мазоном и отдельно с ним.

**

Кошки очень не любят когда их гладят против шерсти, то же самое и с людьми, гораздо приятнее люди, которые соглашаются с высказанными мнениями и даже их развивают, а самое обоснованное противоречие возбуждает иногда неприязнь и даже в литературной критике в отзывах всегда сказывалось, каковы убеждения автора, интересна ли книга, литературна, это не так важно, а «како веруеши». Это «како веруеши» давно у нас на Руси, со времен protопопа Аввакума, который дерзал даже самого царя, вместо приветствия, спрашивать — «како веруеши?»

Спорить подолгу и безрезультатно многие любят и особенно это было свойственно нашей русской интеллигенции, часами горячо спорили ни к каким выводам не приходя. Помню только одного человека, тоже из русских интеллигентов, который никогда не спорил и если с его мнением не соглашались, он просто умолкал. Это был, уже ушедший в иной мир Н. В. Брянчанинов, когда-то мой сотрудник по журналу «Столица и Усадьба». Из богатых дворян Вологодской губернии, с университетским образованием в России и потом на теологических факультетах в Германии и Франции, он не будучи политическим эмигрантом, большую часть жизни прожил заграницей. Растратил между прочим два наследства, под конец нуж-

дался, совсем офранцузился, написал по-французски семь книг по истории России, был постоянным сотрудником «Меркюр де Франс» старейшего и весьма требовательного журнала, так что его французский язык был лучше родного русского.

Он завещал мне целый фолиант своих рукописей, воспоминаний и рассуждений, и я до сих пор не знаю что с ними делать, таким не настоящим русским языком они написаны...

Профессор П. Паскаль больше Мазона проникнут русским духом, у него меньше французского шовинизма, он действительно влюблена в Достоевского. Профессор Мазон еще недавно передал в Москву собранные им рукописи Тургенева, но все-таки любви к Тургеневу у него нет — это чувствуется и в его статьях и в разговорах.

**

При разговоре с Паскалем присутствовал третий собеседник, не филолог, но весьма начитанный, знающий русскую литературу, он не занимался специально изучением «Слова о Полку Игореве», но принадлежал к числу людей, которые непременно стараются найти возражения, пополняя этим свои знания и в то же время оживляя разговор. Он тоже стал уверенно утверждать, что «Слово о Полку Игореве» подделка.

«Написано в двенадцатом веке! Впервые не религиозное художественное произведение на русском языке? Чего уж интереснее, сколько копий было написано, но вот оказывается, что проходит шестьсот лет и нигде ни слова об этом удивительном произведении, никакого упоминания! Оказывается только одна копия, да и та сгорела во время московского пожара, но ведь в других-то городах, в монастырях пожаров не было, а ни одной нигде не нашлось... Слово-то писалось в Киеве или где-то около Киева, специалисты говорят, что оно много раз переписывалось и потому получилась хронологическая путаница, а нигде ни одной копии, ни одного упоминания об этом произведении за шестьсот лет!.. Много известных подделок и не только письменных, знаменитую тиару Сайтаферна ку-

пил французский Лувр, после тщательного изучения знатоками, а позднее выяснилось, что ее сделали два маленьких ювелира в Одессе и получился такой конфуз, что пришлось ее спрятать. Или тоже эта история с древнееврейским манускриптом, некий Шапиро нашел будто бы древнюю рукопись на арамейском языке о законах Моисея и представил эту рукопись на обсуждение знатоков Британского музея, подробно рассмотрели и музей решил купить ее у Шапиро за крупную сумму фунтов. Шапиро уже строил планы, что он предпримет на эти деньги, как перестроит свою жизнь, но сдуру послал копию своей рукописи еще двум немецким знатокам и один из них решительно заявил, что это наглая подделка и сообщил об этом Британскому музею... Музей отказался купить рукопись и она была продана в Лондоне на аукционе всего за двадцать фунтов и бедный разочарованный Шапиро покончил самоубийством, столько упорного труда отдал этой подделке и все рухнуло из-за того, что нашелся какой-то прозорливый немец! Вот может быть так и с Мазоном, до сих пор идет спор о «Слове о Полку Игореве» и не видно, когда он кончится, написана ли рукопись в двенадцатом веке или в восемнадцатом и знал ли об этом Мусин-Пушкин и сознательно морочил даже Екатерину Вторую или сам был обманут?

Подделок сколько угодно, вот хотя бы с «Русалкой» Пушкина, твердо теперь установлено, что конец «Русалки» никакого отношения к Пушкину не имеет, а сколько подделок Шекспира, в восемнадцатом веке сколько их было найдено и десятки знатоков решали, что это подлинный Шекспир, а дальше выяснилось, что от Шекспира тут только бумага, листы вырванные из каких-то книг и на них написано почерком похожим на шекспировский. Теперь при рентгеновских лучах и более совершенной химии такие подделки уже труднее, но тоже бывают, а вот в случае со «Словом» ведь даже настоящей бумаги двенадцатого столетия не понадобилось, потому что ни одной копии не осталось, сгорело!

«Слово» между прочим очень понравилось Пушкину и он поверил что это писано в двенадцатом веке, и эта уверенность Пушкина убедила многих, по крайней мере

временно. Пушкин хорошо знал греческую мифологию и часто пользовался именами оттуда, но в древне-русском языке он знатоком не был — гении тоже могут ошибаться...

Ведь вот русские былины тоже не религиозные произведения рождались с десятого, одиннадцатого века, не на бумаге, а передавались сказителями, наслышивалось, изменялось и все о них знали и сколько угодно записей осталось, а вот только одно «Слово о Полку Игореве» провалилось сквозь землю!..

И другое еще, если это было первое художественное произведение на русском языке, то уж автор выбрал бы какое-нибудь торжественное или радостное событие, патриотическое, а не стал бы воспевать позорный поход с печальным концом. В тех же былинах всегда какая-то победа, достижение, торжество, противник побеждается, нечто приятное для русского сознания, а не то что в «Слове об Игоре». Лингвистические и хронологические недоразумения пусть разбирают специалисты, до сих пор ровно ничего не разобравшие, а вот только что сказанное мною, понятно и ясно каждому...»

**

Кое-что из нашего прошлого клеймится теперь большими клеймами, но в области всяких научных и механических достижений русские оказываются как будто впереди других наций. Не может быть мысли, что русский интеллект ниже какого-либо другого, а русская сметка давно известна, она была даже у безграмотного мужичка, но в то же время не надо забывать, что мы были на столетия позади других стран, многому учились у других, Петр Великий учился у голландцев, а Петербург построил лучше и красивее чем Амстердам, а Ломоносов учился у немцев, но один сделал для России больше чем десяток немцев для Германии.

САМЫЙ СТРАННЫЙ ПИСАТЕЛЬ, КАКОГО ЗНАЛ

Это Розанов.

«Фамилия у меня совсем неподходящая для писателя, Розанов, цветочное что-то, что у меня общего с розаном... и вообще много неподходящего» — сказал как-то он. Действительно ни на какой цветок он похож не был.

У Розанова было много почитателей, еще больше читателей и несмотря на его совсем непривлекательную внешность у него были даже поклонницы, особенно среди курсисток. Его книги имели широкий тираж, переводились на другие языки.

Л. Троцкий в своей книге «Литература и Революция» написал о Розанове — «пресмыкающийся человек и писатель, извивается, склизкий, липкий, свертывается когда нужно или ползет куда-то, как выгоднее, отвратительный червяк...»

Профессор протоиерей В. Зеньковский, философ и богослов, в своем капитальном труде «История Русской Философии» пишет:

«Розанов едва ли не самый замечательный писатель среди русских мыслителей, но он и подлинный мыслитель...

«Розанов один из наиболее даровитых и сильных русских религиозных философов, смелых, разносторонне образованных и до последних краев искренних с самим собой. Оттого-то он имел такое огромное (хотя часто и подпольное) влияние на русскую философскую мысль XX века».

Профессор Кенигсбергского университета Н. Арсеньев в своей книге о новой русской литературе оговаривается, что берет только более видных писателей этого периода и много места отводит Розанову. Но Розанов для него не фи-

лософ, создавший свой особый стиль, писатель странный, иногда неприличный в своих выражениях, но один из виднейших в начале XX века.

Ив. Тхоржевский в своей объемистой «Истории Русской Литературы» тоже отводит много места Розанову, считает, что Розанов, как и Лесков, создал свой особый стиль и оказал известное влияние на других писателей, но как о христианском философе или богослове он ничего не говорит.

**

Не могу понять, как можно считать Розанова религиозным христианским мыслителем или философом, когда у него всюду, на каждом шагу отталкивание от Евангелия и Христа? Розанов прямо говорит, что Христос принес на землю много несчастий, больше чем кто-либо, что «Христос — зло». Сопоставляя Евангелие с Ветхим Заветом, он видит много мудрого и даже радостного в Ветхом Завете и ничего не находит благостного, ведущего к счастью людей в Новом Завете. Для Розанова культуры Вавилона и Ассирии, а тем более Египта, мудрее и радостнее христианского учения, христианство разрушает семью, не понимает, что в основе всего пол, христианство возвеличивает иночество, аскетизм, скопчество и монастырь, а монашки и иноки помрут с голоду, если им из соседней деревеньки не будут доставлять пропитания...

Розанов признает Вифлеем, потому что там новорожденный, но Голгофа для него отвратна. Прежде всего пол, семья, дети, главное необходимое, то что нужно плоти и для продолжения здешней жизни «Душа свободна — только если в комнате тепло натоплено».

Он все время нападает на христианскую церковь, и настоящие откровения видит в записях Ветхого Завета — и как его могут делать христианским религиозным мыслителем кажется совершенно непонятным.

Розанов пошел в «Новое Время», потому что там платили больше, чем в других газетах, одновременно писал и в «Русском Слове» под псевдонимом, там тоже хорошо платили.

**

Со своим настоящим юмором Осип Дымов как-то рассказывал мне:

«Я часто встречался с Розановым и совсем неожиданно он однажды попросил меня, не могу ли я устроить его сотрудником «Нашей Жизни», где я тогда писал время от времени. Просьба меня удивила: в «Новом Времени» он получал большой гонорар, а в «Нашей Жизни» платили гроши, да и направление было совсем иное, чтобы не сказать противоположное. Однако, он настаивал, и я пошел в редакцию для переговоров. Я знал там только редактора. Ко мне в приемную вышел секретарь, я рассказал ему в чем дело, и он пошел доложить редактору, а я остался один в приемной. Через некоторое время редактор вышел, осмотрелся что никого в приемной больше нет, и спросил меня:

«А тут был еще какой-то идиот, пришел сватать Розанова?»

Я сказал, что он уже ушел.



Во время процесса Бейлиса, по недомыслию редактора «Нового Времени», Розанова послали корреспондентом газеты в Киев. Этот знаменитый позорный процесс можно сравнить только с более грандиозным и еще более позорным для государства, процессом Дрейфуса. Первые же телеграммы Розанова из Киева оказались такими сумбурными и глупыми, что решено было немедленно вызвать его обратно и вместо него на процесс послали молодого секретаря редакции Кривенку — телеграммы Кривенки тоже не подняли ни тиража, ни умственного уровня газеты. Помню, что многие в редакции возмущались этим процессом.

В своих книгах Розанов с уверенностью утверждал, что есть ортодоксальные еврейские секты, употребляющие христианскую кровь для своих ритуалов, и он этим не только не возмущался, а видел в этом особую глубину и значение и с некоторой грустью вспоминал о культе Баала и некоторых других древних культурах Египта, Перу и Юка-

тана, с человеческими жертвоприношениями, сожалел что таких культов больше нет.

Розанов особенно восхищался «Песней Песней», считал это величайшим произведением.

«Загадочно, что в Евангелии ни разу не названо ни одного запаха, ничего пахучего, ароматного; как бы подчеркнуто расхождение с цветком Библии — «Песней Песней», этою песнею, о которой один старец Востока выговорил, что все стояние мира недостойно того дня, в который была создана «Песнь Песней».

И Розанов прав, не только в «Песне Песней», но и в других текстах Ветхого Завета мирро, нард, амбра, корица и шафран, всякие благовонные масла и ни слова о запахах в Евангелии. Розанов рассказывает о жертвеннике Баала, что в нем были с боков особые отверстия, чтобы аромат сжигаемой жертвы доходил до верующих и до небес. Что касается куренья ладаном, принятого в теперешних христианских богослужениях, то это явилось уже много позже и заимствовано именно из Ветхого Завета и еще более древних религий.

«Песнь Песней» — это радость плоти, это гимн возможному рождению, на это все время устремлены мысли Розанова, и мир без любовного экстаза для него холодная пустыня и призрак смерти. Иногда в своих высказываниях о поле, он доходит до таких несдержаных выражений и подробностей, что читать во всеуслышание невозможно — однако, очень многие читали и этим именно привлекал их Розанов в своих произведениях.



Когда я в первый раз приехал к Розанову, дверь приотворила девочка, лет десяти-двенадцати, закутанная в теплый платок; приотворила, спросила кто, захлопнула дверь и побежала спросить, впускать ли. Через минуту впустила в темную переднюю, вышел Розанов.

«А очень рад, пожалуйста, раздевайтесь, я вам сейчас всю семью представлю».

В следующей комнате была уже вся семья, видимо было так принято у них, всем выходить сразу навстречу. Пол-

ная простоватая женщина, закутанная в большой шерстяной платок, такой как носила когда-то моя нянька, рядом несколько девочек, побольше и поменьше — все в платках. В квартире было тепло, платки были просто частью наряда, своего рода стиль.

«Это моя жена, а это мои деточки».

Каждую он чмокнул в голову и погладил, поцеловал и жену, все время с радостной улыбкой.

Я что-то пробурчал, не знал что говорить с этой женщиной и с этими девочками, но они и не ожидали, что с ними будут разговаривать.

Пошли в его кабинет, говорили об египтологии, о Религиозно-Философском Обществе, о его книгах. Он показывал свою коллекцию монет, потом опять вспоминал о своих деточках.

«А правда у меня хорошая жена и деточки?»

Я не знал что сказать. Эта женщина казалась мне совсем неподходящей женой для философа и писателя, казалось, что она ни о чем вне житейских дрязг говорить неспособна; читает ли он ей когда-нибудь свои рукописи — вероятно нет — она и книг его может быть не читала, зачем ей?

Над столом вся полка была уставлена собственными произведениями Розанова, каждая книга в особом переплете, некоторые в ярко-цветных.

«Для каждой книги нужен свой цвет, другой не подойдет, оскорбит ее... Я для каждой выбираю подходящий, у каждой книжки своя душа, своя особенная. Оскорбительно было бы всем им одинаковые переплеты...»

Я заехал за Розановым, чтобы куда-то его везти. Он пробовал было отказываться:

«У меня вечером заседание Религиозно-Философского Общества, надо подготовиться».

«Опять будете там спорить с Мережковским и Гиппиус о канонах и догматах? Лучше бы вели с Гиппиус споры по сексуальным вопросам, тут у нее больше авторитетности» — пошутил я. «А вы заметили, что мистическая религиозность всегда связана с повышенной сексуальностью, блудники и развратники часто кончают монастырем».

Розанов оживился.

«Да, это интересно... это очень интересная тема. Так и должно ведь быть — и там и тут тайна. Величайшее таинство жизни... Я, пожалуй, поеду с вами, только ненадолго».

Опять провожать высыпалась семья. Опять каждого Розанов чмокнул, громко и влажно, и жена его перекрестила на дорогу.

«Ну поезжай с Богом, Христос с тобой...»

**

Как-то мы случайно вместе с Розановым выходили из редакции «Нового Времени» в Эртелеевом переулке, у подъезда стоял мой ярко-красный открытый автомобиль (купил сдуру в Париже по слухаю, сосватал приятель).

«Это ваш?... я никогда не ездил в автомобиле».

«Поедемте, Василий Васильевич».

«Поехать... а вы меня не убьете, это не очень страшно?» — шепелявил Розанов.

Я смеялся. Он боязливо сел рядом со мной, зажал в руке рукав моего пальто. Когда выехали за город, разлетайку Розанова стало трепать ветром, сорвало у него шляпу. Он ухватился за меня обеими руками так, что я с трудом мог управлять рулем.

«Не надо... не надо, я не хочу умирать, вы видели сколько у меня детей, еще маленькие... семье останется всего тридцать тысяч... На что они будут жить, не надо так скоро, не надо...»

Когда повернули обратно, ветер был сзади. Розанов привык к скорости, и ему стало нравиться, стал улыбаться.

«Есть что-то особенное в автомобиле, героическое... Хочется полететь как птица... мне кажется что я уже лечу на крыльях... А вы мне папироску дадите?»

«Сигару хотите?»

«Нет лучше папироску, я сигары не умею, мою возьмите, выньте у меня из кармана».

Руки у него были заняты, он крепко держался за меня и боялся отнять руку, чтобы самому достать. В кармане у него кроме папирос и коробки спичек, было много каких-

то крошек и что-то липкое. Я вынул папиросу и спички, протянул ему.

«Нет, вы закурите для меня... Возьмите в рот и закурите, обслюнявьте папироску, я так люблю. Вы ее пожуйте немножко, чтобы была мякенькая и мокренькая».

Вполне благополучно доставил его домой, он потребовал чтобы я вошел в квартиру и подтвердил жене, что он ездил в автомобиле со страшной быстротой и даже под конец не боялся. Дверь отворила жена и в переднюю высыпали дети в платках, Розанов всех целовал и, прощаясь, сказал что с удовольствием поедет еще раз.

**

Розанов всегда сам приносил статью в редакцию и как будто неуверенно — подойдет ли она — протягивал редактору, что-то при этом шепелявил и потом молча уходил. Понятно он был уверен, что статья будет напечатана, редакторы считали даже неудобным прочитывать статью Розанова до набора, просто наверху в уголке ставились буквы п.к. — плотный корпус. Некоторые из главных сотрудников посыпали иногда статьи прямо в набор. Розанов никогда этого не делал.

В редакцию присыпалось много книг для отзыва, отзывов печаталось мало, но книги немедленно исчезали в карманы сотрудников и там навсегда оставались. Розанову книг не перепадало, разве что по религиозным вопросам, которыми другие не интересовались — но читал он много. При большом построчном гонораре Розанов зарабатывал все-таки меньше некоторых других сотрудников (Меньшиков не в счет, тот получал 50 копеек за строчку и писал иногда подвалы), каждая статья была кусочком его души, иногда сумбурная, но выношенная, пережитая, как будто продуманная, или продукт чтения многих книг. Были сотрудники и с другими приемами, вроде Ванички Мануйлова, который смотря в свежий номер «Фигаро» или «Тан» писал большую статью, начинавшуюся словами: «Как нам сообщают из весьма осведомленного источника» и т. д. и таким образом он наколачивал сотни строк по 10 копеек, и это почти ежедневно.

Впрочем, один раз Розанов погнался за деньгами, надо было поскорее получить три тысячи рублей за книгу, а материала для нее не хватало, выходило слишком мало страниц. Он собрал разные письма, полученные за последнее время, и всунул их в книгу, страниц сорок, ни к селу ни к городу, и не совсем корректно по отношению к писавшим.

«Что же вы Василий Васильевич, начиняете пирожок чужим фаршем, точно Ваничка Мануйлов» — пошутил я.

«Да, да, сам понимаю, что нехорошо, деньги были очень нужны... Семья большая, вы видели, маленькие еще, а у меня еще и сорока тысяч нет...»

Через несколько лет Шкловский написал свою книгу об этой книге Розанова и особенно тонкую художественность и логичность мысли автора увидел именно в этих втолкнутых в книгу чужих письмах!

У Розанова всегда не хватало денег на любимую нумизматику и надо было откладывать для многочисленной семьи. Ни в каких закулисных коммерческих комбинациях он никогда не участвовал и только удивлялся, как это другие зарабатывают двести рублей в месяц, а проживают пятьсот.

**

В своих книгах Розанов не стесняется, ни в сути, ни в форме выражений; ставил как эпиграф — «написал сидя в уборной».

И как это ни странно такие штучки нравились многим читателям, придавали тираж книге, и читатели ждали какую еще новую штучку выкинет Розанов.

Вдруг прерывая свои размышления о чем-то, записывал:

«Мир без начинки... Пирог без начинки. Вкусно ли? Но, действительно: Христом вывалена вся начинка из пирога и это называется христианством».

После революции Розанов написал:

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над русской историей железный занавес. Представление окончилось. Публика встала. Пора одевать (надо бы «надевать»...) шу-

бы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Выходит, что железный занавес, разделивший Европу пошел не от Черчиля, а от Розанова...

В статьях для «Нового Времени» Розанов все-таки несколько сдерживался, а то ночной редактор Тычинкин, приятель Танеева, управлявшего канцелярией его величества, вычеркнет что-нибудь, ибо «Новое Время» доставляется царю полными номерами, не так как другие газеты, только в вырезках... Как-то по недосмотру была напечатана в газете его большая статья, в которой он проводил параллель между девой Марией, Венерой и Афродитой. Статья очень не понравилась Святейшему Синоду, о статье в Петербурге много говорили, но никаких кар не последовало.

Наряду с пикантными и необычными статьями, написанными особым розановским стилем, бывали и совсем простые, даже сентиментальные и трогательные. Когда умер Гей, старейший сотрудник «Нового Времени» (читатели его совсем не знали), друг старика Суворина, работавший с ним, когда еще сами набирали номер, Розанов написал вместо некролога как бы сказку. Уже в день своей смерти Гей встретился на том свете с А. С. Сувориным:

«Здравствуйте Алексей Сергеевич! Ну вот и я, наконец, приехал».

«Здравствуйте, здравствуйте... очень рад давно жду» — старики обнимаются, и Суворин расспрашивает Гея, что делается там, в Петербурге, в редакции.

Дальше идет простой, как бы наивный разговор двух старииков, но он производил такое впечатление, что некоторым, зная обоих, хотелось заплакать, и все находили, что замечательно написано.



«Василий Васильевич, еще чаю и вот кусок торта я вам положу...»

«Нет, я лучше этих бараночеков в чай положу».

Он втолкнул горсть сушек в стакан чаю, так что перелилось через край, и стал размешивать ложечкой, пока

они сделались совсем размокшими, склизкими, липкими. Вынимал пальцами теплую, склизкую сушку, долго ее облизывал причмокивая, обсасывал и только тогда съедал — капли с сушки падали на скатерть и ему на колени.

В это время он говорил об египтологии, восхищался каким-то редким атласом в Публичной Библиотеке. Опять вытягивал сушку и любовно мусолил ее в руке. Пил стакан за стаканом, наливал в блюдечко, дул. Лоб становился потным, растрепанные волосы прилипали неряшливыми космами, что оставались от лысины.

Вдруг повернул голову, уставился на сидевшую недалеко мою гостью и стал шепелявить:

«Миленькая, баронессушка, какие грудки... Ах какие грудки, дайте чуть-чуть пальцем дотронуться, позвольте» — и он протянул к ней руку. «Я только потрогаю тихонечко, ведь я старичок».

Дама чуть-чуть отодвинулась, смотрела на него с недоумением.

Это была баронесса Ливен, моя соседка по Каменному острову, писательница, красивая, остроумная и снобка, необычное сочетание. Она написала уже две книги, большую пьесу «Цезарь Борджа», была сотрудникой моего журнала «Столица и Усадьба», по-настоящему знала несколько языков. В своем снобизме она доходила до того, что добрую половину петербургского высшего общества называла выскочками, нуворишами, чинушами и даже хамрюшками, считала, что у нас почти нет настоящей аристократии, всем еще недавно цари давали пощечины и палкой били, из истопников и брадобрееев делались князьями; настоящая аристократия только в Австро-Венгрии, там у нее была сестра замужем за австрийским магнатом, послом в Соединенных Штатах, и она каждый год ездила гостить к сестре в какой-то роскошный замок под Веной.

И вот она просила непременно познакомить ее с Розановым.

Баронесса встала и немного отошла от стола, Розанов за ней. Видимо она колебалась рассердиться ли, обругать его или все принять в шутку. Обратила в шутку, стала убегать от него вокруг стола, Розанов бежал за ней, протягивая вперед руки и что-то шепелявя, неловко лавируя

среди стульев, наконец за что-то зацепился и растянулся на полу; поднимаясь, стал сначала на четвереньки, получилась фигура неподражаемо комическая, она стала его поднимать, я тоже, все хохотали.

Потный, раскрасневшийся Розанов, ладонями обтират пот со лба, может быть у него и был носовой платок, но он о нем забыл.

Магда Ливен ушла раньше, Розанов еще оставался, я не мог точно определить ее отношение к нему. Но через несколько дней она позвонила по телефону и настойчиво просила устроить еще свидание с Розановым, «замечательно интересный человек», сказала она, и я опять устроил их встречу.

**

Магда Ливен очень обиделась бы, если бы ее причислить к так называемой широкой публике, к тем читателям, которые делали Розанову популярность и даже известность, однако и она захотела еще с ним встретиться. Многочисленные читатели, создававшие тираж не-философским книгам Розанова, его туманными космологически-пантеистическими рассуждениями не интересовались, о них писали, как вот В. Зеньковский, только очень немногие, для других это было совсем непонятно, как будто туманно и для самого Розанова. Его самая объемистая книга «О Понимании» мало ком читалась и в печати прошла незамеченной, популярность Розанова и тираж создавались такими книгами как «Люди Лунного Света» или «Опавшие Листья».

Так называемая широкая публика носилась с Розановым как с писаной торбой, но вот и совсем не широкая публика, а авторитетный в то время критик князь Свято-полк-Мирский, написал в одной из своих статей:

«Розанов, гениальнейший из людей своего времени...»

На собраниях Религиозно-Философского Общества он иногда как будто соглашался с православными докладчиками, но тут же вдруг вставлял что-то такое, что шарахались от его слов.

Сидя у себя дома за столом, задумавшись, или в каком-нибудь заседании, он начинал что-то рисовать на ли-

стике бумаги, уходя прятал этот листок в карман — всегда это были части мужского и женского тела, какие запрещалось выставлять на картинных выставках или печатать как иллюстрации в книгах и журналах. Я как-то попросил показать мне листок с рисунками, но он что-то шепелявя вполголоса и улыбаясь, отказал, но потом дал мне листок.

«Трэдль у Диккенса в «Давиде Копперфильде» все рисовал в тетрадях чертиков, а я люблю вот это... И в детстве всегда рисовал, и теперь люблю рисовать. Самое святое, святая святых... тайна бытия и смысл мироздания».

У меня было несколько бронзовых и железных статуэток копии помпейских, хранящихся теперь в особом отделе Неаполитанского музея, куда вход только по особым разрешениям. Две-три из них остались в развалинах Помпеев и проводники показывают их тайком за особую плату, только мужчинам.

Розанов подолгу рассматривал их, то в тени, то поворачивал к свету, гладил, почти что целовал и потом возмущался:

«Неприличное!.. Говорят что неприличное, кто это говорит, как у них язык повертыивается... святая святых, тайна жизни, а не неприличное. Не дорошли до понимания этого...»



Возникает иногда сомнение, кто подходит для серии портретов необычных людей, но относительно Розанова сомнений нет, трудно найти более необычного, очень талантливого. Одни относились к Розанову с отталкиванием и даже презрением, другие считали его чуть ли не гениальным, я никогда не приписывал себе права делить людей на отрицательных типов или положительных и не сужу к какому типу относится Розанов, но что он необычный и очень интересный человек в этом нет сомнений.

БАЛЬМОНТ

Один из основателей русского символизма, несомненно талантливый, но с причудами чтобы не сказать больше — почти у всех талантливых людей бывают странности, но странности Бальмонта доходили до крайнего, до неприличия и скандала.

Он написал очень много стихов, среди них сколько угодно дребедени, но есть и очень ценное, в особенности хороши его переводы, перевод знаменитого «Ворона» Эдгара По настолько хорош, что трудно судить, лучше оригинал или лучше перевод...

Бальмонтистки и бальмонтисты, приходившие в восторг при чтении его произведений, представляли себе Бальмонта сидящим в башне из слоновой кости, творящим и скандирующим свои произведения на восходе солнца, или может быть при заходе. Но при личном общении с Бальмонтом поэтический ореол быстро тускнел, линял и даже оставалось нечто совсем мещанское, чтобы не сказать пошлое...

С. А. Кречетов рассказывал мне, как однажды в Москве он увидел Бальмонта на Малой Бронной, в разлетайке, с корзинкой в руках, в корзиночке были фиалки, и Бальмонт идя по краю тротуара, по одной бросал на грязный тающий снег. Удивленный он спросил Бальмонта что это значит.

«Разве вы не знаете что завтра Благовещенье?.. Пускай на улице будут цветочки и птицы увидят, если не люди...»

Я говорил Кречетову что это он сам выдумал, но он только улыбался.

С. А. Кречетов (Соколов), сын богатого московского нотариуса, был человек незаурядный, очень талантливый,

остроумный, но тоже с большими фантазиями, сильно помешавшими ему в жизни. На наследство, полученное от отца, он основал издательство «Гриф», в котором впервые печатались декаденты и символисты, был несколько лет фактическим редактором «Золотого Руна», роскошно издававшимся Н. Рябушинским, как редактор подпisyвался Н. Шинский, но в действительности главные затеи принадлежали Кречетову. Кречетов никогда не был алкоголиком вроде Бальмонта, но странных выходок у него было много, для украшения факта часто присоединял, а когда временно ему пришлось заведывать нотариальной конторой отца, запутал много дел, но зато все дела перевязывал золотым шнурком и припечатывал золотой сургучной печатью — об этом не раз рассказывал мне и смеясь и сожалея, что так быстро растратил наследство. В изданиях «Грифа» участвовал Ходасевич, в него же ушло и небольшое наследство Ходасевича. Кречетов женил его на Рындиной, ставшей потом женой Маковского, а вторая жена Кречетова взяла себе для сцены фамилию Рындиной, с одобрения мужа и самой Рындиной, чем путанее, чем страннее, тем занятнее, веселее — так забавлялись.

Позже вернувшись из германского плена занялся политикой, основал «Братство Русской Правды» и о нем лучше не вспоминать, настолько наивна и провальна была эта организация, хотя сам Кречетов действовал вполне искренно, убежденно, но окружил себя предателями и кроме вреда деятельность этого Братства ничего не дала.

Как-то в Петербурге был объявлен вечер Бальмонта, билеты были раскуплены, зала была полна. Уже давно прошел назначенный час, а Бальмонта все еще не было, наконец он появился, встреченный шумными аплодисментами; постоял молча на эстраде, обводя взглядом залу, подошел к краю эстрады, сел, свесил ноги и стал бормотать что-то невнятное.

«Бальмонт совсем пьян» — кто-то громко сказал в зале, и все поняли, вечер был отменен, деньги за билеты вернули...

Таланту и гениальности предназначены взлеты и провалы, отступления от общепринятого и общеодобряемого.

Если человек всю жизнь едет по гладкой степи или плывет по глади озера, а то и болота, и меняет свое настроение только от сезонных перемен в природе, то он обычно тускл и ярких кристалликов от него не останется.

И в данном случае хочется забыть о всем скандальном что было у Бальмонта и выбрать лучшее из его творчества.

**

В 1933 году Бальмонт жил в Кламаре около Парижа. Куприн предложил мне поехать к нему в гости, сговорились и поехали, с нами были жены, Куприна и моя, повезли с собою объемистую картонку со съестным, красное вино и коньяк.

Бальмонт, по виду еще совсем молодой, без морщин, хотя с седой шевелюрой, стройный, бодрый, несмотря на свои 66 лет, встретил нас любезно, даже стихами. На левом лацкане приколот какой-то орден, святого Саввы пояснил он, потрогавши орден рукой.

Жена Бальмента сразу схватила картонку, понявши что в ней есть спиртное и понесла в соседнюю комнату, Бальмонт погнался за ней, она ловко вдвинула ее в дверь и замкнула дверь на ключ.

«Если там коньяк, его не дам» — сказала она. Бальмонт рассердился, несомненно стал бы драться, ломать дверь, но все обошлось сравнительно благополучно, она принесла только бутылку красного вина.

Сразу начал говорить:

«Поэтов собственно есть три: Пушкин, Тютчев и я... разве еще Фет, Фет за его слово «безбрежность»... это замечательное слово, исключительное. Я его впервые ввел в русский язык — у Даля нет этого слова, а потом мне говорят, что Фет раньше в двух местах его употребил. Верно... У меня напечатано стихов сорок томов и семь готовы к печати... Но теперь не понимают, не печатают...»

Что Бальмонт постоянно привирает и фантазирует это мы хорошо знали, но все-таки относительно слова «безбрежность» было совсем неуместно. Я уверен был что видел это слово не раз и в старых литературных произведениях, и в Академическом словаре конца прошлого ве-

ка. У Гончарова это слово есть во «Фрегат Палладе» и много раньше у Дельвига — «Мне не страшна грядущего безбрежность!». Однако я не стал ему возражать.

Бальмонт стал декламировать свои стихи, декламировал естественно, просто, отчетливо выговаривая каждое слово, совсем не так, как нараспев скандировали бальмонтисты.

«Я знаю восемнадцать языков» — сказал он — «а мои произведения переведены на двадцать шесть». Тут Бальмонт тоже врал.

«У вас удивительный дар, Константин Дмитриевич — рифмы и звуки у вас как-будто льются сами собой, вероятно и во сне вам снятся?»

«Да, я часто ночью, во сне, сочиняю стихи и наутро записываю».

«Это редкий дар, для меня непостижимый» — говорил я — «но ведь согласитесь, что иногда рифма ведет смысл, а не смысл рифму, а порой и вообще смысл приходится притягивать за хвост...»

Бальмонт сердито посмотрел, презирая видимо такого не-поэта, но ничего не ответил.

«Вы знаете как я пишу стихи» — говорил он — «вот видите эту книжку» — и он вынул из кармана черную тетрадку в клеенчатой обложке. «Вот тут вчера оставалась чистой последняя страница, я спрашиваю ее» — он указал на жену — «о чем написать на этой страничке? А она говорит, ты бы лучше подумал о том как сшить Мирре шубку... Ах, шубку, хорошо о шубке — и вот написал стихи о шубке...»

Просидели больше часу, все было сравнительно мирно и тихо и я уже видел разочарование на лице моей жены, которой столько рассказывали о Бальмонте. Стали собираться, оделись, Бальмонт пошел провожать нас до автомобиля. Сзади за Бальмонтом побежала его жена, накинувши какую-то кацовку — он был одет вполне прилично, она ободранкой.

Остановили проезжавшее такси, мы с Куприными сели, стали прощаться с Бальмонтом, но он заявил что тоже едет и стал влезать в автомобиль; жена уцепилась за него — «Костя, ты не поедешь» — стала тянуть его с подножки.

«Я поеду» — решительно заявил Бальмонт, грубо отталкивая ее. Они стали переругиваться, то-есть вернее бралился только он, а она не пускала. Около нас собирались любопытные. Бальмонт стал в позу и обратился к собравшимся:

«Вот посмотрите как должен жить гениальный поэт, какая трагедия... У него нет ни франка в кармане, потому что вот эта стерва все у него отнимает и всовывает своей дочке на abortion».

В толпе хохотали, слово abortion поняли, хотя Бальмонт кричал по-русски, а к тому же оказалось и несколько русских зрителей, в Кламаре много русских.

Положение было весьма неприятное и чтобы выйти из него моя жена предложила зайти в какое-нибудь кафе или ресторанчик здесь в Кламаре — так и сделали, уплативши таксисту за бесчестие...

Пошли в какое-то бистро на задней улице, так как тут на площади было уже неловко под взглядами собравшихся.

Бальмонт сразу приказал подать прислуживавшему мальчугану две бутылки красного, две бутылки белого, пива и дамам по двойной рюмке портвейна, почему-то именно портвейна! Его жена протестовала:

«Как же ты, Костя, распоряжаешься, ведь не ты угощаешь».

Но Бальмонт отмахнулся:

«Не твое дело, молчи... Я вот вам, Пименович, стихи сейчас напишу. Подайте бумаги, перо и чернила» — приказал он.

«Нельзя чернить, он все на скатерть разольет» — протестовала жена, но все-таки принесли и Бальмонт стал писать стихи — это было нечто сумбурное, бессмысленное.

Куприн дремал, выпивши еще стакан красного вина, а Бальмонт все оживлялся к ужасу своей жены. Стал грубо ругать Куприна, но тот только ласково улыбался:

«Оставь, мамочка... оставь».

В этой же комнате на большом столе, обитом зеленым линолеумом, два каких-то лоботряса играли в пинг-понг и шарик уже два раза прыгнул к нам на стол — это

раздражало не только Бальмонта, но и меня, и когда шарик прыгнул в третий раз, я раздавил его бутылкой. Бальмонт одобрительно посмотрел на меня:

«Вы его раздавили, Пименович — вот это я понимаю».

Потом вдруг вскочил из-за стола, отошел на середину комнаты и протянувши руку по направлению к нам, громко сказал:

«Хамы...»

Я ценил Бальмента за его талант, но тут не выдержал, тоже встал, подошел к нему, крепко взял за руку выше локтя и спросил:

«Кто это хамы, Бальмонт?»

Он смотрел на меня в упор, совсем приблизил лицо и от него пахнуло каким-то кислым неприятным запахом, но Бальмонт повернулся и указывая рукой в окно сказал:

«Это там хамы... на улице».

Повернувшись к жене он крикнул:

«Подай мне пальто».

Жена вскочила, надела на него пальто и он выбежал на улицу. Мы быстро заплатили по счету и через заднюю дверь вышли на другую улицу, чтобы поскорее уехать, но когда садились в автомобиль Бальмонт снова появился, за ним бежала жена. Он кричал вдогонку:

«Подождите, я еду с вами».

Но я сказал шоферу не останавливаться. Дорогой жена Куприна рассказывала что вот теперь они так до поздней ночи будут по Кламару бегать, а может быть он убежит в Париж, если есть в кармане деньги, постоянно так бывает, и потом его в участке разыскивать приходится...

Куприн мирно дремал, положивши голову мне на колени.

«Мамочка, а в бистро еще зайдем?» — спросил он жену, проснувшись.

«Зайдем, зайдем, папочка» — ласково ответила жена.

Когда мы подвезли их к дому, они действительно зашли в бистро.

«Выпьет стаканчик вина и тихо заснет» — сказала жена глядя его по седым волосам, еще когда подъезжали.

О БУНИНЕ

(Из старых записей)

1932 г.

Бунин живет в Грассе на горе и к его дому нельзя подъехать в автомобиле. Я долго тащил туда тяжелые свертки. Еле добрались.

Бунин постарел, но попрежнему красивый мужчина. Совсем бритый, совсем Будда. Во всяком случае мэтр. Так себя и держит. Очень ценный русский писатель, ценный прежде всего тем, что хранит русский язык, его богатство, и гонит от себя всякое литературное кривлянье, фокусничанье, «остранение».

Долго говорили. Вспоминали литераторов. Бунин говорит обо всех с мягкой иронией. Понятно он считает себя самым большим из живущих русских писателей. Разве что Горький...

Признался, что ждет Нобелевской премии и верит, что получит ее.

«Ну что же... Собственно настоящих литераторов, которые войдут в литературу как классики, вероятно, четыре» — сказал я. — «Вы, Горький, Толстой и Куприн».

Я хотел поставить на первое место Горького и Куприна, но не сделал этого, чтобы не разозлить хозяина.

Бунин согласился за себя самого, Горького и даже Толстого, но насчет Куприна покачал головой.

«Я читаю теперь мало... Некогда. Надо писать, зарабатывать деньги... Прочтешь две-три страницы и довольно, уже пахнет курицей... Помните, у Чехова кто-то говорит старому лакею — «отойди от меня, от тебя кури-

цей пахнет». Терпеливых авторов только развернешь — «пахнет курицей».

Об Алексее Толстом Бунин сказал: «талантлив очень Алешка, что говорить, продался большевикам».

О Шолохове Бунин мнения нелестного.

«Казаки так не говорят... все выдуманное».

Леонова, Фадеева вообще не знает. Катаева читал только «Растратчики». Недурно...

**

«А вы талантливый, но...»

Я остановил его жестом:

«Пожалуйста без комплиментов, я знаю им цену».

Бунин сделал вид, что рассердился.

«Я если говорю, так говорю, что думаю, иначе я вам бы ничего не сказал... Но вы мне не дали докончить мое но. Еще раз повторяю, что считаю вас талантливым, но вы слишком много видели и слишком много плохого знаете о людях, и к сожалению вам верят... Да, плохого много и в теперешнем и в прошлом, но было же и что-то хорошее. Задача писателя именно это хорошее выискивать. Вы вот постоянно на духовенство... Верно, что крестоносцы шли по колено в крови, грабили, убивали, чтобы освободить гроб Господен... Все это известно, но духовные лица приносили с собой и утешение, и задача для нас писателей находить это положительное... У вас вот и Бог есть, это ясно из всего, что вы написали, но вы Бога все время за бороду трясете...»

Почти у всех писателей, на всех языках, гораздо лучше типы отрицательные, ярче, интереснее, а когда пробуют растворять в лампадном масле и рисуют благостных божьих коровок, получается что-то скучное и даже не заслуживающее доверия. Но, во всяком случае, не Бунину обвинять меня, прочесть хотя бы его «Деревню», это такое сгущенное преднамеренное оплевывание русского мужика, что даже Глеб Успенский или Горький в своем «Детстве», уступают Бунину в умении находить неприятные черты в людях и настолько сгущать краски, что даже доверие к описываемому подрывается.

В своих разговорах Бунин старается снизить талант Куприна, придирается к его выражениям без всякого основания и все это только потому, что он понимает громадный талант Куприна и боялся его как конкурента на Нобелевскую премию.

Когда Бунин прочел, уже незадолго до смерти, мою новую книгу «Из Кладовой Писателя», он прислал мне очень теплое письмо с лестным отзывом о книге, но особенно ему понравилась статья о Куприне и именно потому, что я, при всей моей высокой оценке таланта Куприна, утверждал, что он уже писать не может, статья так и называлась «Закат Большого Таланта». При всяком удобном случае Бунин был готов в чем-нибудь снизить Куприна. Талант Куприна не давал ему покоя, он не переносил сравнений с ним.

Можно только порадоваться что премия была выдана русскому писателю, и если бы за Бунина не хлопотали родственники учредителя премии, то она могла уйти писателю другого языка.

Стали говорить вообще о критике, об обидчивости писателей.

«Плебеи духа» — сказал Бунин. — «Плебеи всегда очень обидчивы, им все кажется, что их оскорбить хотят. Ему еще рюмку водки предлагают, а он — да что я пьяница, что ли, и уже обиделся».

Но сам Бунин самый обидчивый из писателей...

До сих пор Бунин получал, как и некоторые другие русские эмигранты, деньги от сербского правительства.

«Теперь сократили» — сказал он. — «Будут давать впредь только по 600 франков в месяц. «Последние Новости» и «Современные Записки» платят мне максимум, но и этот максимум выходит гроши. Сколько они могут напечатать? Положение русского писателя трагично... А сколько жизненной силы уходит на работу, читают и думают, что вот так между прочим, походя написал, не зна-

ют того, что о сюжете думаешь неделями и месяцами, а какая-нибудь фраза не ложится уютно, так полночи не спишь».

Бунин рассказал:

«Мы недавно с Галиной Кузнецовой вернулись из Парижа... Иду там как-то в Пасси и вижу впереди старичок идет. Нагнал его — Куприн... Здравствуй, папочка, говорю... Ах, здравствуй, здравствуй... Очень рад тебя видеть... Ты на меня вероятно сердишься? За что, говорю... Так как же, вот ты мне еще летом написал, а я тебе не ответил... Знаешь, почему не ответил, все марки не было... Он в ужасном положении».

Сам Бунин не в лучшем. А живут вчетвером, он с женой, Галина и Зуров. Алданов прислал мне письмо — собирают деньги для Бунина...

У Бунина на его вилле «Бельведер» в Грассе голодно и холодно. Все простужаются... Под влиянием этого у него наросло революционное настроение.

«Такой мир не годится... Нужен какой-то переворот».

«А вы в прошлом были такой правый, консерватор».

«Я никогда правым не был...»

Это неверно — Бунин был известен тем, что он нередко кричал: «я — дворянин Бунин!» Он гордился тем, что он дворянин. «Писателем может стать каждый, если научится хорошо писать, а дворянином надо родиться...»

**

Бунин большой литературный талант, если у таланта нет никаких странностей, иногда даже неприятных окружающим, если у него нет отступлений от общепринятого, то это не настоящий талант!

Если это яркий человек, талант несомненный и он оставил после себя что-то ценное для будущих поколений, то все его недостатки в личной жизни служат только доказательством его талантливости и яркости.

В личном общении Бунин был иногда неприятен, он выделял себя над всеми, не переносил сравнений с другими писателями, считал это для себя оскорбительным, он несравним, он — Бунин. На этой почве мы с ним не-

сколько раз ссорились, он вообще позволял себе выражения резкие и обидные, но спокойно принимал и отпор, если он был сделан в остроумной форме, и никакой обиды не было, сохранялись дружеские отношения.

Покойный Тхоржевский написал два тома «Истории Русской Литературы» и там Бунину отведено было почетное место, о том, что он талантлив было повторено несколько раз, но Бунин обиделся, как это его сравнивают с другими писателями. Они поссорились, потом как будто помирились, но все-таки Бунин был недоволен и Тхоржевский написал сатирическое стихотворение «Фазан», в котором трунил над этой несравнимостью Бунина.

Стихотворение это напечатано не было, но ходило по Парижу и понятно дошло до Бунина.

Резкость Бунина была интересна и красочна, божьи коровки обычно скучны.

Меня как-то поразил разговор Бунина с женой, с которой он прожил полжизни и которую несомненно любил, она заплакала, а нам было неловко, но как потом выяснилось, это не было исключительным случаем, а они любили друг друга, она гордилась им и была его ангелом-хранителем.

Вспоминается Меньшиков, совсем не писатель, но очень талантливый газетный сотрудник, про которого его жена говорила, что Михаил Осипович пишет особенно талантливые статьи, когда он рассержен и будто бы она нарочно его иногда сердила!

Бунин тоже писал особенно ярко и талантливо когда сердился: в его последней книге «Воспоминаний» он сердится на других писателей. Можно с ним соглашаться или не соглашаться, но написано так остро, по-бунински, что книжку читаешь не отрываясь, никто другой так писать не решился бы, а вот Бунин написал.

В этой книге он явно придирается к Куприну, у Бунина было все время сомнение, не талантливее ли его Куприн и потому он к нему придирался.

Как-то я напечатал статью об авторских промахах и недосмотрах, у каждого автора есть такие, их особенно много, например, у Льва Толстого, есть и у Шекспира, и между прочим указал на несколько пустячных у Бунина.

Бунин написал мне — «меня-то уж не надо было трогать...» Кого угодно можно, но его, Бунина, нельзя. Мне пришлось опять печатно ответить и после этого Бунин уже больше не возразил, и мы остались друзьями и он мне писал мягкие сердечные письма.

Бунин яркий человек, его уход в иной мир был большой печалью для русской литературы.

**

«Звание академика давало титул «Ваше превосходительство» — рассказывает Бунин. — «Так и принято было обращаться друг к другу — ваше превосходительство... Мне было всего тридцать семь лет. Я был самый молодой, а кругом все древности. На первом же заседании рядом со мной сидит какой-то согбенный старишок, берет меня за руку и говорит тихо простуженным голосом: помните, ваше превосходительство, какой дождик был когда Крылова хоронили... Я тогда простудился и вот с тех пор каждую осень простужаюсь... Я еще не родился, ваше превосходительство, когда хоронили Крылова».

«Ну, что вы, что вы, шутить изволите — так и не поверил».

Это мне рассказывал Бунин в 1932 году, потом еще раз лет десять спустя, а потом я слышал этот рассказ и от других, кому он тоже рассказывал...

Когда с нами случается что-то приятное, мы невольно повторяемся, по несколько раз рассказывая об этом, приятно вспомнить, рассказывая еще раз переживаешь.

Вспомнили В. Немировича-Данченко. Ему уже 88.

«Я еще совсем молодой» — говорит Василий Иванович — «что же, сорок четыре Немировичу и сорок четыре Данченко».

«Вот писатель: написал десятки романов, но назовите хоть один. Вспомните хоть одного героя из произведений Немировича-Данченко... Никто не помнит».

Еще Буренин как-то написал:

«Сбросить Немировича-Данченку вниз головой с полного собрания его сочинений...»

«Вы знаете как он пишет?» — спросил Бунин.

Я знал. Он берет десь бумаги — и это дневная порция. Садится за стол, обмакивает перо в чернила и мелким, разборчивым, почти каллиграфическим почерком выводит наверху заглавие. Потом глава такая-то. Потом идет текст, тем же бисерным почерком без единой помарочки, без единой ошибки. Уже все точки, запятые, кавычки, все на своем месте. Можно посыпать прямо в набор. Никогда не правит написанного. Так гонит до конца последнего листика, полагающегося на сегодняшний день, внизу, на последней странице будет как раз конец главы. Точка. Три звездочки. Назавтра новая десь. Опять заглавие главы и опять все без помарочки до конца, с окончанием главы внизу последней страницы.

А когда десей уже довольно написано, ставил свою подпись и посыпал в печать и кое-что печатали, и даже довольно много, потому что человек приятный, был военным корреспондентом на двух войнах, в Японию ездил, где посетил храм, сгоревший триста лет назад... А если что не печатали, так откладывал до поры до времени, потом можно куда-нибудь подсунуть...

Немирович-Данченко как-то говорил Бунину еще когда тот был начинающим.

«Что вы, как кошечка. Лапочки после дождя подбираете, мокрую улицу боитесь перейти, чтобы лапочки не замочить... Вот так» — и Василий Иванович сделал ручками, как делают кошечки, отряхивая лапки, когда мокро. «К чему эта застенчивость? Сесть и писать. Возьмите две дести бумаги, обмакните перо в чернила и пишите... А когда кончится бумага, возьмите еще две дести...»



Когда ожидали Нобелевской премии, Бунин очень волновался, почти уверен был что получит и имел основание так думать, потому что один из Нобелей, живший тогда в Париже, сказал, что из русских кандидатов на первом месте Бунин, а вероятно в этом году дадут премию русскому.

Куприн как будто вовсе не интересовался премией, меня это даже удивляло потому что я ставил его талант

очень высоко, у него больше тем, больше творческой фантазии, простой, но своеобразный язык, так легко читать.

Еще больше Бунина волновался Мережковский, считал себя вполне достойным кандидатом и среди эмигрантов шла сплетня, что он предлагал Бунину договор, получит один или другой, разделим пополам, а слава останется уж одному — это понятно эмигрантская сплетня.

Но вот совсем точное. В 1937 или 1938 году у меня за завтраком в Шату Бунин говорил, тогда же записано:

«Мережковский тоже хотел получить Нобелевскую премию, говорят, что у него два сундука разных вырезок, из которых он стряпал свою трилогию, компилятор он умелый, что говорить, талантливый... а вот во время Пилсудского он с Гиппиус жил в Варшаве и читал доклады о том, что Россию с Польшей нужно разграничить по 72 году, как было до раздела Польши, Киев и Смоленск полякам, и получили за это хорошую квартиру в Варшаве... А потом присоединился к Муссолини и хотел писать его большую биографию, а за это получить ренту, но не вышло... Быть молодцу не в укор, а все-таки...»



Между прочим Бунина ругают за то, что он не раздает денег. Это неверно — Бунин отдал десять процентов полученной премии, то-есть около семидесяти пяти тысяч франков для раздачи нуждающимся писателям и другим организациям по усмотрению комиссии, председателем которой был профессор Кульман.

Сидя у меня в Париже перемывали косточки коллегам.

Про Бунина говорили что он свои деньги скоро истратит.

Рассказывали как несколько лет назад в Париже устраивали вечер в его пользу и очистилось десять тысяч франков. Первым делом Бунин купил себе громадный американский сундук-шкаф за две тысячи франков и повесил туда один пиджак и пижаму. Так как больше упаковывать было нечего, он положил туда еще свои рукописи, а остальное место заткнул мятой газетной бумагой чтобы

не баражталось... В Грасс из Парижа решил ехать через Биариц, в Биарице простудился, слег, пролечил все деньги и вернулся в Грасс больной без денег...

Другой раз, еще раньше, ему тоже собрали десять тысяч франков. Он сейчас же купил себе кольцо с рубином за восемь тысяч и продал его в Ницце за три тысячи когда понадобились деньги.

ТЭФФИ И ДРУГИЕ УШЕДШИЕ

Как будто раньше среди нас было больше интересных и даже ярких людей, одни умерли, другие где-то, и скучнее стало жить. А может быть вернее другое, сам стал неинтересным и потому от тебя отпрыгивают и не стремятся встречаться с тобой? Когда-то был полосатый, разноцветные полосы и даже с яркими крапинками, а теперь стал однотонный, серо-коричневый, тогда порою высказывал слишком решительные мнения и не стеснялся иногда в прямых выражениях, создавал этим неприязнь даже, но все-таки это было интереснее и снова приходили — мягкое и примирительное, это самое скучное...

Устали мы от революций и войн, от выброшенности, оторванных корней — молодому поколению все-таки легче, что как однолетнее растение, оно легко зацветает на любой подходящей почве, а вот многолетние кусты и деревья с трудом переносят пересадку, разве что с очень большим комом земли, но у нас этот ком отряхнули, и многие не приросли.

Столько нас старых русских уже ушло из этого мира, жутко вспоминать скольких уже нет, и чем-то отметных, и не все оставили по себе даже что-нибудь для воспоминаний, не успели или не могли.

**

В воскресенье было трое посетителей, хотелось бы сказать приятелей, друзей, но все осторожнее приходится выбирать эти наименования; время и расстояние все меняют. Один из сидевших за завтраком сказал:

«А вот хорошо помню как на этом зеленом диване

сидела Тэффи и вполголоса пела забавные песенки своего сочинения...»

Была тогда еще Цветаева, она читала свои стихи что-то про Звенигород, мне больше нравилась ее проза. Так хорошо она сказала о своем маленьком сыне:

«Вчера утром он принес маленькую новую подушечку и уверял, что она набита очень хорошими снами».

Тэффи пела про Красную Шапочку:

Красная Шапочка
В любви знала толк
Красной Шапочки
Нравился волк
Ну можно ли за бабушку
Волка принять?
И с какой стати к бабушке
Лезть на кровать?

Вы знаете сами
Как мы врем нашей маме.
Ну с какой стати к бабушке
Лезть на кровать?

Сказала дома Шапочка,
Что волк ее съел.
Ах, Красная Шапочка!
Всему есть предел.
Сказка эта славится
И все верят в нее.
Но мне лично не нравится
Такое вранье.

Вы знаете сами
Как мы врем нашей маме.
Но мне лично не нравится
Такое вранье.

Я попросил Надежду Александровну записать эту песенку и она записала. Едва ли она включена в ее сборник. Другая песенка была о девочке, которая под вечер

отпросилась погулять, но вернулась слишком поздно — «где же ты была так долго?» — спросила мать. — «Я смотрела на солнечный закат, так красиво садилось солнце». Мать сказала, что солнце давно уже село — «так я, мама, смотрела как оно сидело...»

Наконец, Тэффи стали печатать в Москве. Для того чтобы там печатали произведения эмигранта, нужно или умереть или поехать жить в Москву, взявши советский паспорт и оставивши надежду свободно передвигаться по свету, когда захочешь. Бунину нужно было умереть, Куприну поехать в Москву и там умереть, кое-что напечатали из Шмелева, тоже после его смерти, напечатают и еще нескольких других, когда они умрут, потому что все-таки мышление без директив партии создает более ценные произведения и они останутся в истории литературы.

**

Н. А. была не только талантлива, остроумна, с редким у женщины юмором, но еще и доброжелательный человек, старалась мирить, не ссорить, что так свойственно многим другим. Она говорила: «ну, вот кошка пробежала и убежала, ее больше нет, так можно же вернуться к прежним дружеским отношениям...» Как-то она написала мне, что благодарит за оказанную ей услугу, но так как всякий хороший поступок непременно должен быть наказан, то она дала мой адрес такой-то и вот теперь держитесь...

Единственный раз когда она совсем серьезно или в шутку может быть рассердилась, это было с Алексеем Толстым. А. Н. Толстого я знал с его детства, он много моложе меня, я бывал и жил в Самаре — это конец девяностых годов — почему-то милейший человек, губернский архитектор Щербачев, его тоже давно уже нет, повез меня на новогодний прием в Дворянском Собрании, какой ежегодно устраивали дворяне и именитые купцы, и представил там губернатору Брянчанинову и уездному предводителю дворянства графу Толстому, и я потом знал всю семью Толстого. Старшие его братья, когда я жил в Петербурге много позже, утверждали что он не Толстой, что он сын Бострема, но еще много позже, уже в эмиграции, когда

А. Н. стал знаменитым, они готовы были изменить свое мнение и называли его братом. По целому ряду данных, у меня полная уверенность, что он сын графа Толстого, хотя родился уже в имении Бострема, куда уехала его мать, покинувши мужа. В этом имении он вырос и, описывая «Детство Никиты», описал свое. Мы много раз встречались с ним в Петербурге, в Берлине, в Париже. В эмиграции его обвиняли и до сих пор обвиняют, что он сменил свои вехи, чуть ли не предатель, а он никаких вех не менял, потому что у него их никогда и не было: на своем большом таланте он хотел стать популярным, даже знаменитым, но главное привольно жить, не нуждаться в деньгах и кончить жизнь непременно в Париже, его любимом городе. Он любил все русское, в особенности русский язык, но гражданский долг толковал и понимал по-своему, вернее никак.

Как-то у меня в Целендорфе, под Берлином, на террасе, застекленной цветными стеклышками, он напал на Федина, швырнул его книгу.

«Тоже коммунист, подлизался...»

Позже подлизался сам, но талант он был яркий, его русский язык исключительно красочен, он войдет классиком в русскую литературу. В разговорах он иногда был еще красочнее, чем на бумаге, бросал такие словечки и фразы, что их нельзя было забыть. Он умер преждевременно из-за алкоголя, но что своевременно и что преждевременно в нашей жизни, мы марионетки, фантоши. Ниточки держает Кто-то, с большой буквы, и только Он знает, когда время кому умирать... Опять этот припев у меня, можно вычеркнуть, но лучше оставить. Зная свою обреченность тем больше ценишь оставшиеся еще дни и всякие неприятности кажутся менее неприятными перед лицом неизбежного конца.

Отскочил на Толстого, но назад, к Тэффи.

В 1937 году А. Н. Толстой приезжал в Париж, с молодой женой, перед этим был в Испании и в Англии, у Бернарда Шоу и у Уэллса, очень занятно рассказывал, был у меня, позвонила Н. А.:

«Мне сказали, что Алешка Толстой завтракал у вас, вероятно он еще раз будет, так пригласите меня, хочу его

видеть, а особенно его жену, Крандиевскую, это моя близкая подруга...»

«Понятно, непременно вам позвоню, так интересно будет присутствовать при вашем разговоре, но только, Надежда Александровна, его жена совсем не Крандиевская. Он недавно женился на молодой красивой и к удивлению моему, весьма воспитанной и образованной Крестинской, племяннице советского посла в Берлине.

«Как, он не с Крандиевской? Что случилось, почему же они разошлись?...»

«Он рассказывал мне наедине, что Крандиевская уже состарилась, стала раздражительной, уже надоели друг другу, он по-настоящему влюбился в эту Крестинскую».

«Крандиевская состарилась, да она на три года моложе меня... Вот мерзавец, не желаю с ним встречаться...»

**

В это время начинался в Москве этот жуткий сфабрикованный Сталиным процесс, где судили сотрудников Ленина и в числе их бывшего посла Крестинского, дядю жены Толстого. В это же время готовился уехать в Москву Куприн и Толстой приглашал меня провожать их, но узнав о процессе Толстые так переполошились, что не ожидая Куприна, сейчас же улетели в Москву, Куприн уехал несколько позже.

Люди меняются, время и расстояние творят чудеса, у многих выдающихся людей есть поступки, заклейменные общественным мнением в тот или иной период времени, но они все-таки остаются большими людьми. Достоевский был на каторге, как революционер, а под конец жизни стал другом Победоносцева и от этого нисколько не перестал быть великим русским писателем. За что-то положительное нужно прощать очень много отрицательного.

Я всегда с интересом, дружески и тепло относился к А. Толстому, но мне стало неловко, когда он стал восхваляться все сделанное Сталиным, написал роман «Хлеб» и главное по радио говорил о злодействе Катыни. В Катыни были предательски убиты тысячи польских офицеров и

сделано все, чтобы скрыть это преступление. Уже по разным газетам русским и иностранным, казалось совершенно очевидным, что это сделали не немцы, они не могли этого сделать, а мой знакомый профессор Krakовского университета, раньше в России приват-доцент, привозил мне целую кипу собранных им материалов, печатных и писанных, и из них было очевидно, что это преступление совершено по приказу Сталина...

Сталин большая фигура на шахматной доске истории, но его злодеяния выше всех фигур. А Алексей Толстой был назначен в комиссию для расследования преступления Катыни, и он потом по радио уверенно говорил, что это дело немцев... Подлизывание может достигнуть такой степени, когда его нужно назвать совсем другим словом. Можно еще добавить, что в комиссии вместе с Толстым был какой-то епископ, и он клятвенно заверил, что русские тут не при чем.

С РАЗНЫХ ЛИСТКОВ

Я был студентом Петровской Академии, а Витте был в то время министром путей сообщения. Он реформировал порядки на железных дорогах, ввел новые тарифы, и два раза в год министерством издавался объемистый «Официальный Путеводитель» с расписаниями всех железных дорог, со всеми новыми правилами и даже законами, касающимися железных дорог. Я внимательно читал этот Путеводитель, хорошо его знал.

С моим родственником, уже немолодым человеком, весьма состоятельным, но очень скучным, мы должны были ехать из Белостока в Оренбург. Там на Южном Урале у него было имение и еще какие-то дела. Он всегда возил с собою много деловых бумаг, счетную машинку Однера, «Урочное Положение», а на этот раз еще шубу, жеребковую доху на белке, валенки — был еще август месяц, но на Урале уже в сентябре холодно. У меня все мое имущество, включая книги, было тоже в объемистой упаковке около пуду весу, а в его чемоданах было пуда три.

«Вот пассажирский тариф на дальнее теперича удобный, а багаж разорительное» — сказал он глядя на чемоданы, когда задолго приехав на вокзал мы сидели в буфете. Пассажирский тариф тогда был так сказать регрессивен, а на багаж расстояние скидки не давало, считалось просто по верстам.

«Мы в каком классе поедем?» — спросил я, все расходы по поездке он оплачивал.

«Да в первом надуть, три дня езды, а сколько пересадок: в Двинске, в Смоленске, в Москве, в Ряжске, в Самаре... В первом все же на чай рубль кондуктору и спать можно».

«Я вам устрою провоз багажа бесплатно».

«Бесплатно? Как же это бесплатно? У нас сверх четырех пудов будет, а на билет по пуду полагается».

«Я устрою, дайте деньги я куплю билеты и сдам багаж».

Он недоверчиво посмотрел, но все-таки может быть из уважения к моей студенческой форме, дал деньги и я пошел покупать билеты. Вернувшись, я протянул ему ба-

гажную квитанцию, на ней значилось четыре пуда пятнадцать фунтов и пометка «бесплатно».

Удивление его было полным, я стал объяснять, как это сделано.

«Видите, вот два билета 3-го класса, это мы сначала хотели ехать третьим классом, затем решили перейти во второй класс, для этого нужно докупить пол-билета, то есть два детских билета, вот четыре детских билета... Затем подумавши, мы решили перейти в первый класс, а для этого по правилам, изложенным в этом Путеводителе нужно купить дополнительный билет третьего класса, вот еще два билета третьего класса. На каждый полный билет полагается пуд багажа, а на каждый детский по 20 фунтов и значит у нас право на 6 пудов, могли бы еще добавить пуд 25 фунтов...»

Как потом оказалось, я сильно поднялся во мнении моего родственника, он не раз потом об этом рассказывал, и даже добавлял при этом — «из него толк выйдет».

Позже я написал об этой поездке полу-юмористическую статью и послал ее в «Новое Время», где она была напечатана, и получил 15 рублей гонорара, и в результате этой статьи были изданы новые министерские правила относительно багажа. В министерском разъяснении было сказано и внесено в «Официальный Путеводитель», что по дополнительным билетам, при переходе из одного класса в другой, на багаж скидки не полагается...

В то же время ходил анекдот. К вокзальной кассе подходит дама с мальчиком восьми-девяти лет и пожилой нянькой, просит дать ей два полных билета и четверть билета для сына. Кассир высовывается из окошечка, смотрит на мальчика:

«Ему нельзя четверть билета, у него длинные штаны, как у гимназистов».

«Ах, у вас значит тариф по длине штанов, тогда, пожалуйста, ему полный билет, мне пол-билета, а няньке совсем не надо» — смеясь говорит бойкая дама.

Кассир побежден юмором и выдает мальчику детский билет.



Эдгар По американский классик, хотя в других странах его больше ценят и читают нежели в Америке. Изумительная фантазия, родоначальник детективных произведений, автор незабываемых поэм, хотя бы «Ворон». Алкоголик, полжизни провел в бродяжничестве, неудачник, но несомненно гениальный писатель.

Эдгар По написал, что из прочитанного запоминается не больше одной сотой... Но один запоминает одно, другой — другое. На экзамене ботаники в Петровской Академии полагалось знать 420 латинских двойных названий. не только названий, но и морфологию каждого растения. Сегодня у меня едва ли осталось в памяти 42 двойных латинских названия, вероятно меньше, однако тогдашнее зазубривание, как будто совсем ненужное, не пропало даром, названия забылись, но что-то общее осталось. Твердо знаешь, что есть растения цветковые и есть тайнобрачные, споровые, и растение может родиться только из семени или споры своего предка, а не просто от сырости; а из курса энтомологии забыл сколько пятнышек на гусенице кузнечика и сколько на гусенице саранчи, и на каком членнике, но зато никогда не усомнишься, что муха может родиться только из грязи.

Во всех науках есть много гипотетического, когда-то несомненное сегодня уже под сомнением или совсем ушло, благодаря постоянному расширению знаний — но есть что-то, что уже неизменно, никогда не уйдет, как теорема Пифагора, квадрат гипotenузы равен сумме квадратов катетов, это останется уже навсегда.

И вот из многое забытого остается что-то основное, нерушимое, и при встрече с новым человеком сразу чувствуешь, иногда по одной фразе, сколько он знал, хотя теперь и забыл.

Л. Н. Толстой после окончания «Войны и Мира» намеревался писать большой исторический роман о Петре Великом, больше двух лет изучал эту эпоху, окружил себя историческими книгами, делал много выписок, заметок и в результате решил, что Петр столь сомнительный человек, что писать о нем он не будет.

С. А. Берс в своих записях приходит мнения Л. Н. о Петре:

«Л. Н. утверждал, что личность и деятельность Петра I не только не заключает в себе ничего великого, а на против того, все качества его были дурные. Все так называемые реформы его, отнюдь не преследовали государственной пользы, а клонились к личным его выгодам.... Он основал город Петербург только для того, чтобы удалиться и быть свободнее в своей безнравственной жизни. Словие бояр имело тогда большое значение и, следовательно, было для него опасно. Нововведения и реформы почерпались из Саксонии, где законы были самые жестокие того времени, свобода нравов процветала, что особенно нравилось Петру I.»

Вольтер считал русских еще полуварварами, несравнимыми с французами, но он записал в «Истории Карла XII»:

«У Карла был титул Непобедимого и его он мог потерять, проигравши сражение; а Петру народы дали титул Великого и какое-нибудь поражение не могло лишить его этого имени, потому что оно не зависело только от побед».

Эту запись Вольтер делает, описывая поход Карла на Россию и в частности Полтавскую битву. У Вольтера явны симпатии к Карлу XII и к шведам вообще и тем не менее он отдает должное русскому царю.

Пушкин собирался, но не написал исторического романа из времен Петра, но постоянно подчеркивает исключительность и величие этого человека, хотя иногда как, например, в «Арапе Петра Великого», делает его и несколько смешным.

О Петре написано несколько исторических романов, Мережковским, Алексеем Толстым и другими меньшими.

Петр Мережковского не такой как Петр Алексея Толстого, а если бы Лев Толстой все-таки написал свой роман, то его Петр был бы уже совсем непривычный.

И «Фауста» знают по опере, тоже «Евгения Онегина», Троянскую войну по оперетке Оффенбаха «Прекрасная Елена», а поразительное историческое событие, русский раскол, представляют себе по опере «Хованщина» и полагают, что все староверы не умирали естественной смертью, а самосжигались в известном возрасте.



Моя мать мало образованная женщина все-таки любила читать в свободное время, хотя такого у нее было мало.

Тургенев умер в 1883 году во Франции, в Буживале (в окрестностях Парижа), но хоронить его везли в Петербург. Его гроб в товарном вагоне провозили через наш город Динабург в пятом часу утра. Мать разбудила меня, мне тогда шел пятый год, и повезла на извозчике на Петербургский вокзал чтобы увидеть гроб Тургенева. Когда раздвинули дверь обшарпанного товарного вагона, священник отслужил краткую литию, а рядом стояли два жандарма, чтобы не допускать публики и вообще этот провоз гроба держался втайне, мать случайно узнала от священника.

Тургенев много лет прожил во Франции, вот по соседству со мной, в Буживале, превосходно владел французским языком, но родным был русский и за все годы жизни во Франции он писал только по-русски, потому что это был его родной язык, потому что он его любил больше других.



Все большие научные достижения кем-то начинались, важна первая мысль, идея и работа над нею, но постепенно присоединялись дополнения и улучшения от других людей и только тогда получалось что-то большое и ценное.

Известный химик и физик Крукс построил свою знаменитую трубку, а сам занялся спиритизмом, стал отцом спиритов и даже соблазнил такого умнейшего человека как Конан Дойль, которого стали морочить, а он всему верил, хотел верить, потому, что это его утешало, разговаривал с духом своей умершей любимой жены и когда у него возникали все-таки сомнения, окружающие ссылались на Крукса.

Немецкий физик Ленард заинтересовался трубкой Крукса, дополнил ее, стал делать разные опыты с нею в своей лаборатории, выяснил, что лучи из этой трубки проникают наружу и распространяются в воздухе, но на этом остановился.

Дальше пошел Рентген, ему пришла мысль, что если эти лучи свободно проходят через стенки трубки, то может быть они могут проходить и через многое другое — и получились знаменитые лучи Х или лучи Рентгена, столь важные для науки, для медицины, принесшие столько полезного и даже спасительного людям. Рентген получил в 1901 году нобелевскую премию, Ленард негодовал, но в 1905 году и ему дали эту премию.

В Москве вышла изданная Академией Наук, поразительно интересная книга академика Иоффе — сам он уже умер. Иоффе знал буквально всех видных физиков этого столетия, встречался с ними, дает краткие, но яркие характеристики каждого. С Рентгеном он работал десятки лет. Эта небольшая книга Иоффе целая энциклопедия.

Единственный физик, не пожелавший разговаривать с Иоффе, Ленард. Это был ярый нацист, стоявший во главе германской науки во время Гитлера, предписывавший каких ученых нужно сместить, выслать из Германии или посадить в лагерь.

Прочтя небольшую книгу Иоффе, хочется прочесть десятки других книг по современной физике.

Рентген как будто не был нацистом или антисемитом, но много научных записей совместной работы с Иоффе он все-таки в своем завещании приказал сжечь, о чем с печалью и протестом пишет Иоффе и как бы в отплатау совсем не хочет говорить о научных заслугах Ленарда. Даже в чисто научных вопросах и абстрактных рассуждениях нужно иногда вносить поправки, считаясь с личными настроениями человека.



Столько лет прошло, а не видел этой неперелазной перегородки и другие ее тоже не видели, потому что нигде об этом не читал. Эта перегородка разделяет научную работу от литературного творчества — в научной работе необходима преемственность, коллективный труд, какое-то наблюдение или открытие разрабатывается и дополняется другими.

Совсем иное, противоположное, в творчестве литературном и вообще в искусстве, Бетховену никто не помогал и не подсказывал и Бородину или Чайковскому, и даже Оффенбаху. Коллективное творчество в литературе ничего большого и яркого дать не может и нельзя давать молодым писателям рецепты как и что надо писать.

Большое творится втихомолку, наедине, по ночам при бессоннице, подолгу вынашивается, не выносится на одобрение собраний пока произведение не готово и даже известно, что великие произведения встречали сразу полное неодобрение и только много позже начинали понимать что это нечто большое и ценное, какого раньше не было.

Никогда не было великого литературного произведения, написанного коллективом, никогда не было знаменитой картины, которую писали бы несколько художников, никогда не было музыкального шедевра, который создавали несколько человек. Вот тут неперелазная перегородка, которую я так долго не видел и которую многие не видят и до сих пор.



Когда не спал ночь, то холодно даже летом...

Павлов утверждает в своей объемистой книге, что старикам достаточно спать шесть часов в сутки. Он имел дело со стариками в каком-то приюте или больнице для престарелых, но как он мог установить достаточно или недостаточно, может быть их рано будили, а им еще очень хотелось спать. Он даже утверждает, что совсем безразлично спать подряд шесть часов или частями, несколько раз просыпаться, лишь бы в общем вышло шесть часов. И с первым, и со вторым никак не могу согласиться, и Павлов нигде не указывает как и сколько он спал сам.

Давно покойный биолог Мечников, в то время директор Пастеровского Института в Париже, уверял меня, тогда еще совсем юного, что для сохранения здоровья и долголетия нужно питаться только кислым молоком и финиками. Я из уважения к его учености поверил ему и нажил себе временно расстройство пищеварения, а престарелый украинский митрополит рассказывал мне, что наевшись в Париже фиников чуть не умер, и доктор ему решительно навсегда запретил есть финики. Сам Мечников умер далеко не доживши до старости.

Американцы пьют теперь очень много молока, считают это залогом здоровья и правильного пищеварения, а французы утверждают, что если бы они стали пить молоко вместо красного вина, скоро умерли бы. Знакомый француз говорил мне недавно, что в ресторане за соседним столиком американец ел лангуста и запивал молоком и это было так непереносимо, что он пересел за отдаленный столик.

В Париже есть теперь несколько специальных магазинов, где продаются только режимные пищевые продукты. Во вкусовом отношении они гораздо хуже нормальных, но зато вдвое дороже. Тем не менее кто-то их покупает, но все равно попрежнему болеют и лечатся разными таблетками, а потом от этих таблеток микстурами и впрыскиваниями.

Во Франции почти нет человека, который ежедневно не съедал бы какие-нибудь лечебные таблетки, при этом

непременно с какими-то витаминами и гормонами, и очень мало французов, которые не жалуются на печень, бывают и другие болезни, но печень всегда обязательно.

Даже нашему полуруделю Боксу ветеринар прописал пилюльки для печени и их не спросивши меня купили, и Бокс теперь время от времени благосклонно глотает их — особого вреда они не причинили, попрежнему иногда он жалуется, что болит живот, но не чаще чем в прежнее время, до пилюль.



Время — деньги, несомненно что нужно дорожить временем, но случается когда время уходит, нет времени, это во время крепкого сна или когда глубоко задумался. Прежнего глубокого сна у меня уже больше нет, уже не бывает чтобы лег вечером и только утром проснулся: ряд причин для этого, но спиши кусочками, не былой сон.

Среди дня о чем-то глубоко задумаешься, очнешься и не знаешь прошло четверть часа или полтора — как будто потеряно время, а может быть это самая ценная работа на какую способен человеческий мозг.

«Перед Божественным взором тысячи лет проходят как один вечер» — удивительный текст из Священных книг. Вечность не торопится, у вечности нет начала и нет конца, наша жизнь секунда вечности, что успеешь сделать, что передумать, но важно не сколько, а какой результат — оставил ли что-нибудь, хоть крупинку, хоть пылинку для вечности и если ничего не оставил вся твоя жизнь насмарку, не все люди равны, и важны те немногие которые что-то оставляют. И мы много счастливее, богаче наших пещерных предков, у них тогда не было в космосе запаса клубочков человеческой мысли, того что я назвал церебронами, создающие их умирают или давно уже умерли, а цереброны живут в космосе и мы часто воспринимаем их, поэты называют это музами, психологи интуицией. Если человек ровно ничего не оставит своего в космосе, то он должен идти в переливку, как переливает пуговичник в «Пер Гинте».



Знакомый иностранец, образованный и остроумный человек, недавно как турист ездил в СССР и рассказал мне, среди других юморесок:

«У известного всему миру памятника Петру Великому в Ленинграде, я совсем серьезно спросил переводчика — «а это памятник Ленину?» Он понятно удивился моей глупости и наивности, но по ряду других вопросов потом понял — «это памятник Петру Великому, знаменитый памятник». — «Как же так, город построенный Петром Великим переименовали в Ленинград, а памятник не переименовали?» Ряд моих других вопросов вроде этого заставили его понять, он изменил тон и между прочим сказал — «да мы в разговорах попрежнему говорим Питер, а не Ленинград... вот и Невский проспект переименовали в проспект 25 октября, а никто так не называет, попрежнему Невский».

Этот разговор заставил меня еще раз вспомнить о многих других русских городах с историческими названиями, хотя бы Оренбург и Самара, где я довольно долго жил. Была веками существовавшая Самара, около нее на Волге грабил купеческие суда Стенька Разин, была самарская лука, самарские степи, описанные Аксаковым, река Самарка, а теперь это Куйбышевское! Еще хуже с Оренбургом, Оренбургское казачье войско, пугачевский бунт и победы в самарских степях, «Капитанская дочка» Пушкина, оренбургский наказный атаман, когда-то мой приятель, даже оренбургский кадетский корпус, в котором в мое время учился Маленков, а теперь все это Чкаловское, и к моему удивлению развернувши последнее издание Энциклопедического советского словаря вижу, что и оренбургские степи называются теперь чкаловские.

Мой иностранный собеседник удивлялся такому презрительному или попросту глупому отношению к истории России, к русскому языку, к нашим предкам, ни в одном государстве никогда так не обращались с историческими именами, Петербург теперь остался только в Соединенных Штатах и его не переименовали... Такие переименования бывали только когда приходили иноплеменники, ко-

лонизаторы и старинные местные имена переделывали на свой лад, как, например, голландцы вместо Джакарты сбирали столицу Батавией, но теперь опять Джакарта.

Примечание: Теперь опять Невский проспект и опять Оренбург.



Купленную книгу обычно читают, а полученную даром очень редко. Настоящий писатель даром книг не раздает, их покупают, а графоманы рассылают всем охотно и не прошенный подарок идет нередко прямо в корзину...

Есть и особая порода покупателей для книг, в красивых переплетах, шкафы и полки книг полны, но это все не читано, для обстановки, для декорации, даже продаются только одни переплеты чтобы заполнить полки, а впечатление большой библиотеки и хозяин большой любитель книг. Для таких есть слово «нувориши». Но есть и еще другое, вот знаю молодого человека который деньги собирает чтобы книги покупать, понятно в переплетах, полные издания и шкаф большой заполнен книгами, даже в два ряда, он их любовно покупает, хранит от пыли но только сам никогда их не читает!...

И читатели есть очень разные, вот, например, я как-то встретил даму (одета элегантно и шляпку носит, значит дама) так вот она читала мне «Капитансскую Дочку» Пушкина, остановились на какой-то главе и дальше она читала одна, до конца. Я спросил ее как нравится ей эта повесть. Ответила что вначале было интересно, но потом главный герой Гринев исчез и стало скучно, поехал кто-то в Арзрум...

В том же томе было «Путешествие в Арзрум», ее закладка в книге выпала, а другая была на Арзруме, она и стала от нее читать.

Не мало таких читателей, скользят глазами по строчкам, совсем не вдумываясь что в них, просмотрен номер большой газеты, а в памяти осталось ничего...



С религией обычно связан страх, все время повторяется, что надо жить в страхе Божием, за временные грехи здесь, будет наказание в вечности, уже без всякой надежды, и верующие просят о прощении, о помиловании, хотя им неясно иногда, за что нужно прощать и миловать. Но может быть и иное отношение к Богу, можно считать Его добрым и всемилостивым, Отцом Небесным, как говорится в молитвах.

Помню разговоры в течение нескольких месяцев пока были вместе на пароходе во время кругосветного путешествия, со старым американским патером, профессором богословия — он был самый старый пассажир, очень ласковый и симпатичный человек и на маскараде, устроенном на пароходе, получил первый приз за костюм (хотя ему было за восемьдесят). Когда меня заставляли делать какие-то доклады по-английски, он охотно поправлял мои черновики, каждый день мы с ним подолгу разговаривали, его фамилия была Боуман, вероятно он давно умер... Я ему рассказывал о религии моего детства, он внимательно слушал и удивлялся, почему у нас была такая нерадостная религия, сплошь наполненная страхом и боязнью наказания за грехи, он уверял, что религия должна быть утешающей, примиряющей, радостной, а не пугающей все время, будто бы он такую религию проповедывал с кафедры и только такой должна быть настоящая религия.

Слово страх очень сложно, почему-то психоаналитиками больше всего принято немецкое слово «ангст», в полном немецко-русском словаре оно переводится девятью разными русскими словами.

Будто мы живем в какое-то небывало тревожное и неприятное время. Вспоминается моя старая нянька и дедушкина приживалка Кирьяновна, они ежедневно повторяли, что никогда такого не бывало, такое деется, что жить страшно, последние времена настали...

Кроме немецкого слова «ангст» и на других языках употребляется постоянно тоже немецкое слово «урангст», страх первобытного человека, перешедший еще к нему от животных и под влиянием этого животного страха пер-

вые люди и божества представлялись страшными и злыми. В детстве я очень боялся Страшного Суда, знал даже, что Страшный Суд будет перед масленицей, потому что неделя перед ней называется неделей о Страшном Суде. Как-то на такой неделе был очень красный закат солнца в морозный день, и я решил, что это уже начало Страшного Суда, побежал на кухню и отдал нашей кухарке карамельки и пряники, какие припрятал для угощения приятных посетителей на масленице, а сам долго молился на коленях перед иконой Всех Скорбящих. Не у меня одного в детстве, и у других, уже совсем взрослых, жила мысль о Страшном Суде, она и поныне живет у некоторых, особенно у адвентистов, страх геены огненной на вечность, но все-таки по утверждению современных психоаналитиков, у теперешних людей гораздо больше страха не вечного наказания варки в кипящей смоле, а страх полного уничтожения, страха ничто после смерти.

Если религия обещает вечное кипение в смоле, то она мало может утешить и скрасить нашу жизнь, но если в человеке живет вера в добре духовное начало, на котором построена вселенная, то жизнь становится радостнее и смерть не так страшна. Пусть это нелогично, не оправдывается разумным мышлением, недоказуемо, но и неопровергимо, только может быть, но с этим может быть, пускай химеричным, наивным, жизнь все-таки лучше.



Есть слово мало кому известное, кроме врачей — «пласебо». У больного сложилось твердое убеждение, что ему когда-то помогало какое-то лекарство, таблетки или пилюли, и он просит врача непременно вновь прописать это средство, а врачу ясно, что это не только паллиатив, но даже может оказаться вредное действие при теперешнем состоянии организма больного.

В серьезных медицинских журналах обсуждался вопрос, должен ли врач уступать таким требованиям больного и прописывать ему желанное лекарство или это граничит с шарлатанством. На международных медицинских съездах было решено, что «пласебо» иногда нужно, лучше

бы не прописывать больному никакого лекарства, но больной настаивает и врач пишет какой-то рецепт, даже нарочно сложный, а на уголке условными буквами помечает, что это должен быть только слабый раствор соды или сахара в дистиллированной воде, и больному это может принести временную пользу. А временное улучшение деятельности организма может повлечь за собой настояще длительное улучшение...

В английском медицинском журнале «Лансет» был приведен пример, как одна пожилая женщина непременно настаивала на каких-то голубых пиллюях, которые она когда-то принимала, а пиллюи эти продаются только в столице Шотландии Эдинбург. Точно такие же пиллюи продавались и в Лондоне, но она настаивала непременно на голубом цвете и врачу пришлось согласиться.

Я знал как будто культурного человека, страдавшего ревматизмом ног, он рассказывал, что испробовал десяток разных мазей, принимал лекарства и внутрь, но боли не проходили, а вот нашелся человек, который посоветовал ему взять конский каштан, пробуравить в нем осторожно накрест дырочки и в них продеть шелковинки, белую и черную, и перевязать их, носить постоянно этот каштан в кармане, а на ночь класть в постель... и ноги перестали болеть.

У знакомой молодой дамы были красивые густые брови и ее приятельница просила дать ей название того средства, каким она смазывает брови. Никакие уверения, что она ничем не мажет брови, не помогли и дамы поссорились. Я посоветовал налить в бутылочку обыкновенной воды, чуть-чуть окрасить каплей кофе и дать это средство, открыть секрет. Дамы помирились, а через полгода вторая уверяла, что у нее брови растут гораздо лучше, очень благодарила...

В детстве, когда мы летом жили в фольварке — так называют маленькие именьица в северо-западном крае — там все знали, что есть верный способ избавиться от бородавок, нужно взять ниточку, потереть ею бородавку и потом встретить другого человека, у которого тоже есть бородавки, всунуть ему в карман или еще куда-нибудь

эту ниточку, и бородавка перейдет к нему, а ему это совсем неважно, так как уже и своих много...

Самовнушение очень важно, вера может творить чудеса и иногда гораздо сильнее логичного мышления и научных знаний, самый глупый и абсурдный совет приносит иногда хорошие результаты, если в этот совет поверить, и чем глупее совет, тем в него легче верят — к сожалению только иногда такие советы приносят и большой вред.

Принято думать, что люди пьют с горя или от радости, но пьют алкоголь и без всякой причины или повода. Пьют алкоголь просто потому, что он, помимо вкусового ощущения, на время меняет настроение, часа на три-четыре, потом реакция, что будет реакция знают и все-таки пьют потому что так важно хоть на короткий промежуток выйти из монотонности жизни и из ежедневных постоянных надоевших забот.

Не только алкоголь, даже всякая пикантная приправа к пище, перец, горчица, керри, ваниль, все это маленькие возбуждающие, повышающие настроение. Иные уверены, что всякие пикантные приправы, всякие возбуждающие вредны и даже по религиозным убеждениям греховны, недопустимы при идее аскетизма — но нет ничего тяжелее и скучнее аскетизма.

По библейской легенде Ной был первым виноделом, а Христос не отказывался от хорошего угощения, на свадьбе в Кане Галилейской обратил воду в вино и даже вызвал порицание окружающих, что вино такое хорошее, не надо давать хорошего, когда люди напились уже плохим...

Франция высоко-интеллектуальная страна и в то же время самая легкомысленная, самая милая страна на всем земном шаре, потому что в ней жива идея «жуа де вивр», радости жизни, и при самой трудной и спешной работе необходим хороший завтрак с вином, никто во Франции не представляет себе завтрака без вина и если бы запретить вино, как было когда-то в Америке во время «прохибишен», то завтра было бы новое взятие Бастилии, а так как Бастилии больше нет, то было бы взятие Палаты Депутатов и Сената.

В былые, уже далекие времена, были в России два особенных города — Варшава и Харбин, где фабриковались любые заграничные ликеры, духи, элексиры и кремы, также и всякие заграничные соуса и приправы, английские и французские. Упаковка и этикетки не внушали никаких сомнений; тут же, видимо, рос гаванский табак и из него делались настоящие гаванские сигары, совсем такие же колечки, как на настоящих, в точно такой же упаковке, как на Кубе, по внешнему виду самые настоящие гаванские сигары...

Но были и настоящие знатоки и они отличали подделку. Весьма солидный пожилой немец, главный ревизор большого акционерного общества, открыл мне секрет:

«Самый хитрый преступник всегда упустит какую-то мелочь, и нужен только умный человек, чтобы разоблачить его... Наш директор ездил по делам в Америку и заезжал на Кубу и оттуда привез мне коробку настоящих гаванских сигар. Я долго и внимательно исследовал эту коробку и нашел наконец, как отличать варшавскую подделку. Настоящие гаванские коробки забиваются тоненькими круглыми гвоздиками, я вынул несколько гвоздиков, тщательно измерил их и оказалось, что гвоздики в варшавской коробке на миллиметр короче — они это упустили, а дайте мне теперь коробку гаванских сигар и я сразу скажу, настоящие они или поддельные».

Для того, чтобы отличить настоящую гаванскую сигару от всякой другой, ее нужно закурить, самоуверенность доброго немца была комична: я взял две сигары, одну дешевую немецкую, другую дорогую гаванскую, снял с нее колечко, надел на немецкую и он, закуривши эту сигару, уверенно сказал, что вот это настоящая гаванская.

Позже выяснилось, что когда этот ревизор ревизовал книги акционерного общества и склады товаров в разных городах России, его проводили и разыгрывали, как мальчишку и бухгалтеры и артельщики — и несмотря на долголетнюю ревностную службу его отрешили от должности главного ревизора.

Долго я не спал по ночам, просыпался через час после того как лег, а то и через сорок минут, думая, что уже утро, нажимал кнопку репетитора в будильнике и печально убеждался, что всего час ночи. Ворочался, вставал и уже зная наверное, что не засну, надевал халат, бродил по темному дому, не зажигая ламп, садился за письменный стол, писал какие-то каракули, брал с полки книги, зная наверное, что все равно читать их не могу, иногда зашивал ковер или штопал садовую перчатку.

Еще около часу бродил по дому, иногда звал черную собаченку-крысоловку, всегда готовую прийти на зов, разговаривал с ней и наконец в седьмом часу опять ложился и спал часа три...

Являлась мысль, что это психическое расстройство, путь в дом сумасшедших, искал причину своей бессонницы, не находил, бессонница продолжалась. Но днем я просил разобрать те мало понятные каракули, какие писал ночью, иногда только одно слово или малопонятная фраза, и это возбуждало ряд более или менее интересных мыслей и рассуждений.

Теперь стал спать почти нормально, ночью не хожу по дому, никакихочных каракулей нет и днем нет тем для записей.

А вот на-днях читал английский медицинский журнал «Лансет» и нашел утешение: в большой статье необычной для этого журнала, рассказывается, что такая же история была с Дарвином, пока он не спал по ночам, страдал от этого, ему приходили мысли, которые потом составили его знаменитую книгу. То, что пять лет он наблюдал в поездке на «Бигле», теперь выливалось в его теорию эволюции, изменившую мышление последующих поколений.

И я жду, чтобы опять наступила бессонница, хотя и не мечтаю написать что-либо даже несравненно меньшее чем эта книга Дарвина. Одних бессонных ночей мало.

Только застывший ум может не менять своих убеждений.

Не только отдельные люди меняют взгляды и убеждения, уходят — и так быстро — целые научные системы и теории не только в таких призрачных областях, как метафизика, но и в наиреальнейших, как физика.

Чем дальше, тем недоверчивее нужно относиться к так называемым твердым убеждениям на всю жизнь, обычно составленным в юности или принятым от тогдашних авторитетов. Авторитет уже давно ушел от своих взглядов и теорий, а его ученики и последователи стоят на его прежних убеждениях как на гранитной скале, хотя она пошатнулась и дала трещины — это люди фанатичные и опасные.

Недавно еще, перефразируя приснопамятного Кузьму Пруткова, можно было сказать:

«Плюнь в глаза тому, кто усомнится во втором законе термодинамики»: совсем еще недавно все подчинялось закону энтропии, только по энтропии можно было узнать течет время вперед или назад!.. Мне так тогда Эдингтон и Джинс заморочили мозги, что я ночи не спал, но вот прошли годы и энтропия уже под сомнением. Оказалось, что во вселенной атомы не только распадаются, но и созидаются вновь.

Если так меняются — и хорошо, что меняются — непреложные научные системы, то как же могут не меняться убеждения и мнения отдельных людей?

Лучшие умы меняли свои мнения и убеждения до полной противоположности. Примеров сколько угодно. Вспомнить хотя бы философа Канта, который в своей «Критике Чистого Разума», был монистом, а в книге написанной в более позднем возрасте «Критике Практического Разума», стал дуалистом. Вирхов был убежденным материалистом в молодости и стал виталистом под старость. То же самое случилось с известным психологом Вундтом. Из наших великих писателей многие тоже совсем изменили свои взгляды с возрастом — Достоевский,

Лев Толстой писали в зрелые годы совсем не то, что в молодости.

Сколько ярых и убежденных коммунистов уже сменило вехи...



У нас есть скоморох, уже пожилой, но еще представительный мужчина, многие не желают с ним встречаться, говорят что он дурак и наглый, а мне он нравится и разговоры с ним иногда по-своему интересны: такую невообразимую глупость скажет, что сам никогда не выдумаешь. Давно уже он твердо решил что Гоголь позор русской литературы, опоганил наше прошлое, сплошь каких-то мерзавцев нарисовал, ни одного порядочного человека...

Был вчера и нашел еще одного писателя, испортившего русский язык, несомненно глупого — это Лесков. Все у него говорят каким-то хамским языком, если много читать то и сам станешь так говорить, вредная и глупая литература. Все религии он считает ложными кроме его собственной, знает два своих предыдущих воплощения, в последнем был французским графом и к сожалению убивал много людей, поэтому теперь по законам Кармы в этом воплощении он наказан тем что девять его гениальных изобретений никто не хочет субсидировать, и так как это Карма, то надо спокойно относиться к этим неудачам.

Еще в предыдущем воплощении он вместе с Иисусом Христом учился в Индии и Христос был посвящен, а ему посвящения не дали, но он ясно иногда вспоминает это время, а сомневающихся в том что Христос жил в Индии считает полными идиотами, ни малейшего сомнения быть не может и если даже Николай Рерих пишет что никаких документов, подтверждающих пребывание Христа в Индии он не нашел, то это тем хуже для Рериха, а он-то был там вместе с Христом...



В то кругосветное путешествие усердно играли в бридж, играли на всех океанах. Из Сингапура на Яву проходили по узкому проливу между Суматрой и Явой, в этом проливе находился знаменитый остров Кракатау, на котором в 1883 году произошло самое страшное извержение когда-либо записанное; холмистый остров исчез, осталась только маленькая его часть, вулкан выбрасывал пепел до облаков и он будто бы несколько раз облетал вокруг земного шара и вечерние зори в разных странах были необычных оттенков, а на океане поднялась волна в двадцать метров высотой и прошла почти одиннадцать тысяч километров до мыса Доброй Надежды, многое смывая на пути. В этой катастрофе погибло сорок тысяч человек. В детские годы я несколько раз читал все что находил об этом извержении, и слово Кракатау навсегда запомнил. Я представлял себе какое-то страшное чудовище Кракатау и страх к этому слову внушил своим сверстникам.

И вот теперь мы пройдем совсем близко к Кракатау, пока что играли в бридж. Начался необычайный даже для тропиков ливень, молния сплошным голубым сиянием освещала водяную завесу, беспрерывно грохотал гром, вода на палубах не успевала стекать, укрывшись чем-то я выскочил на палубу, ничего не увидел за водяной завесой, но вызвал большое неудовольствие своих партнеров, так как прервал робер, и они остались сидеть за игорным столом за стаканом виски-сода, и удивлялись какое мне дело до какого-то Кракатау...

Играли не только на пароходе, но и в поездах. Когда в специальном белом поезде ехали из Иерусалима в Каир, то на Суэцком канале была пересадка. Так как робер был не кончен, аккуратно завернули карты каждого партнера отдельно в плед, так перенесли по мосту на другую сторону канала и продолжали играть в новом поезде до Каира. Играли в поезде от Тиенцина до Пекина, несмотря на тучи пыли в леденящем ветре, играли от Гонконга до Кантона, хотя наш поезд уже охранялся войсками, не играли только

по Индии, от Бомбея до Бенареса, потому что вагоны были непроходные и очень тряслись.

Праотец бридж — наш русский винт. В винт играли почти в каждом уважающем себя доме, играли часами и ночами — из винта родился бридж, но на родине винта теперь в бридж не играют и даже будто бы не печатаются игральные карты. Впрочем, у меня на полке лежат две колоды советских игральных карт, но это безбожная пропаганда, вместо былых королей и валетов — цари и духовные лица, а дамы — царицы, ведьмы или угодницы.



Мой последний роман «Голоса Горной Пещеры» не совсем роман, его можно бы назвать «парапроманом», как бывает паратиф и настоящий тиф, но называть так не будут.

Его можно было бы тоже назвать с некоторой смелостью «Записями Кассандры». Напомню в двух словах ее историю, богиня Афина, которую считают богиней мудрости — и она всегда с собой тоже птицей мудрости — и эта богиня полюбила Кассандру и наделила ее даром предвидеть будущее. Но Зевс бывший тогда не в ладах с Афиной рассердился, однако не мог отменить распоряжение богини, а только добавил свое — «Кассандра будет предвидеть будущее но никто ей верить не будет» и только много позже когда точно случалось, как предсказала Кассандра люди сожалели что ей тогда не поверили...

Так вот дерзновенно я мог бы назвать свой новый роман «Записи Кассандры», в нем даны важные поправки современных понятий и лозунгов, но сейчас в эти поправки не поверят и только позже поймут и их примут, и это спасет белую цивилизацию.



Есть удивительная кривая, которая в математике называется «брахистохроной».

Если с какой-нибудь возвышенности нужно скатывать шар, то можно математически рассчитать — если не принимать во внимание трение и сопротивление среды — какой уклон наиболее выгоден, при котором шар покатится дальше всего, и вот оказывается, что нужно скатывать шар не по прямой линии, а по вогнутой кривой, брахистохроне... Если бы запатентовать брахистохрону, то можно было бы выручить на патенте миллионы, но такого патента не дадут.

Однако, русский полковник Чемерзин, в Петербурге, до первой мировой войны, заработал на брахистохроне большие деньги. Он предложил военному ведомству изменить нарезку в тогдашних винтовках. При его нарезке пуля летела на более далекое расстояние — это была не свернутая прямая линия, как было в прежних винтовках, а свернутая брахистохрона. Пуля в стволе ружья перевертывалась больше чем в прежнем стволе и приобретала большую скорость — винтовка стала более дальнобойной.

Тот же полковник раньше изобрел особый панцырь, который не пробивала никакая пуля, но потом стала пробивать пуля из винтовки с его нарезкой. Он продал много своих панцирей, будто бы такой был куплен и для Николая II. Позже он предлагал еще новый панцырь, который не пробивается и с брахистохроной, но этих уже не покупали, опасаясь очевидно, что он предложит еще какое-то усовершенствование, и пуля будет пробивать и этот панцырь...

В разговорах и в газетах, а часто и в книгах, много наболтано лишнего, факты перекрашены и сдобрены фантазией, и помня это оговариваюсь. Панцырь Чемерзина я видел, он при мне стрелял в него в своем кабинете, относительно брахистохроны это он мне рассказывал, и я ему поверил. Что же касается всего остального, то это были только слухи, ходившие по Петербургу, вообще о Чемерзине рассказывали много фантастического. Это был человек недюжинный, с большими способностями и возмож-

ностями, уже в эмиграции он начал новое дело, некоторое время давал работу двум-трем десяткам русских, хотя бы и за очень скромную плату, но предприятие окончилось только курьезом. Дочь Чемерзина, теперь известная балерина Черина.



Настоящий юмор одно из высших достижений человеческой мысли. Политические анекдоты и карикатуры быстро умирают, это однодневки, но есть юмор долголетний, годный всегда и везде.

Много лет у меня хранилась вырезка из какого-то американского журнала начала девяностых годов. Как только появились автомобили, американский коми-вояжер поехал на этой диковинной машине в западные штаты Америки, приехал на какую-то большую ферму, все высипали посмотреть на диковину. Фермер ходил вокруг машины, с осторожкой ощупывал ее, очень интересовался, и вояжер предложил ему немножко проехаться. Тот с опаской сел в автомобиль, выехали на дорогу и на первом же повороте машина ударила о дерево и остановилась. Было сломано только крыло, пассажиры не пострадали, только тряхнуло. Но дальше фермер ехать отказался, и только спросил:

«А как же вы останавливаетесь если нет дерева?»

В английском журнале «Панч» была выдана как-то премия за лучший юмористический рисунок, непременно с очень короткой подписью.

Подвыпивший англичанин на рассвете возвращается в свой загородный домик, в руке у него ключ, вместо дорожки, ведущей к дому, он шагает по покрытым стеклами парникам, слышит хруст стекол и говорит улыбаясь — «подморозило...»



Порфирий, ученик и биограф Плотина, утверждает, что Плотин никогда не перечитывал того, что писал. А Лев Шестов, известный русский философ, истолкователь Плотина, считавший его самым глубоким философом, говорит, что иначе и не могло быть: мысли Плотина так противоречивы, что если бы стать перечитывать и сводить написанное, то ничего не осталось бы, и в этом несоответствии отдельных записей, в борьбе между разумным мышлением и теологией и заключается вся суть оставленного Плотином для последующих поколений. И все-таки, по мнению и некоторых других философов, Плотин — один из великих мыслителей.

«Пока душа в теле, она спит глубоким сном» — эту фразу Плотина Лев Шестов ставит эпиграфом своих объемистых статей о Плотине.

У не-философа, человека такого как я, сумбурно становится в голове, когда это читаешь и стараешься понять. Философия по-русски — «любомудрие», наука для достижения мудрости. Если мудрость доступна человеку, то понятно, она достигается знаниями, взятыми от других, но особенно, и главное, собственным мышлением. Если, прочтя чью-то мудрость, на ней раз навсегда остановился, то это дешевая мудрость, так как зависит только от того, кому случайно поверил. Путь к зачаткам мудрости не в том, чтобы одна запись противоречила другой и чтобы не нужно было читать ранее записанного. Долгое и углубленное мышление может привести к зачаткам мудрости, только к зачаткам, но для этого необязательно быть философом.

«Пока душа в теле, она спит глубоким сном»... Какой бы ни был человек, умный или глупый, плохой или хороший, святой или преступник — все равно, по мнению Плотина, его душа до смерти спит глубоким сном: значит спала и его душа, когда он это писал?..

Мы живем в мире трех измерений, сравнительно недавно прибавили четвертое — время. Но это четвертое измерение тоже для нас вполне понятно, время идет в одну сторону, от начала к концу, от рождения к смерти. Не-

давно умершие два английских астронома-философа, Эддингтон и Джинс, были настолько популярны, что их научные мудреные книги стали бестселлерами, и они утверждали, что нельзя точно установить, куда идет время, вперед или назад, но для меня несомненно, что время идет в одну сторону, от молодости к старости, а не наоборот.

Мышление называется философским, когда это не мысли, вызванные чем-то случайным, преходящим, или постоянными ежедневными заботами, а мышление о чем-то более важном, длительном, одинаково важном для всех, о смысле и цели жизни и главное об основах морали, обязательствах по отношению к другим людям. Ни одна философия не нашла и никогда не найдет неопровергимых основ для морали и только религии дают определенные приказы и благо верующим, которые, веря этим приказам, их выполняют. Но верующих в приказы религий становится меньше, а когда вера потеряна, остается пустое место.

Лев Толстой, написавший свои удивительные произведения раннего периода, позже даже боролся с религией и его знаменитый роман «Воскресенье» был запрещен цензурой, как произведение антирелигиозное, из-за главы о церковной службе в тюрьме, его рассказ о трех старцах на острове в Белом море тоже был запрещен. Льва Толстого отлучили от церкви. Но под конец жизни, ночью, бросивши семью, с которой он прожил пол-века, среди которой он творил свои произведения, тайком бежал в монастырь Оптину Пустынь.



Давно стояла на полке старая английская книга, восемнадцатого века, бумага прочная, приятная на ощупь, не пожелтела и не струхлявела, и печать четкая, отчетливая, точно гравюра. Мы смотрим на прошлое часто через розовые очки и находим хорошее там, где его не было, но книга действительно превосходно издана, с несколькими картами и переплет не отклеился.

«Описание Русских Открытий между Азией и Америкой и Покорения Сибири и История Коммерческого Обмена между Россией и Китаем» — Вильяма Кокса.

Никакой истории покорения Сибири в книге нет, но много рассказано о том, как русские мореплаватели пробивали путь во льдах Северного океана к Берингову проливу — тут имена не только Беринга и Чирикова, но и много других — Серебренников, Трапезников, Пушкарев, Коровин, Глотов, Соловьев, Очередин, Крыницын, Левашев и другие. Очень интересные очерки, а в конце книги две больших главы о торговле России с Великобританией. Тут курьез: если поверить этому описанию, то выходит, что весь товарообмен России с Китаем и Великобританией ограничивался продажей ревеня. Ревень растение хорошо известное, из его зеленых стеблей готовят компоты в Швеции и в России до сих пор, а в Англии всегда славился пирог с ревенем, но главное в корнях этого растения, они издавна считаются целебными и кусочки сущеного корня ревеня прописывались при всяких заминках в пищеварении, давали всегда превосходные результаты, есть даже указания, что ревень продлевает жизнь человека. Но я впервые узнал, что на ревень была в то время государственная монополия, частные лица не имели права торговать им; лучшие, самые целебные корни растут у подножия Гималаев, и бухарские купцы, почему-то, именно бухарские, привозили их в сущеном виде в Кяхту, там принимал их русский чиновник и все отправлялось в Санкт-Петербург, а оттуда в Великобританию... В 1765 году было отправлено в Англию 1350 пудов сущеного ревеневого корня, по цене 65 рублей за пуд, а для внутреннего потребления в России оставалось только около шести пудов.

Вспомнились строки А. К. Толстого из «Русской Истории от Гостомысла»:

«...Петра я не виню:
Больному дать желудку
Полезно ревеню».

Юмор одно из высших и приятных достижений нашего мышления, юмор бывает преднамеренный, сочиненный, случайный и может быть даже академический или саботажный.

Третий том пятнадцати-томного Словаря Современного Русского Литературного Языка 1954 г. издаваемого советской Академией Наук, начинается с буквы Г. Она бывает большая, прописная, и маленькая обыкновенная, «обычно буква Г взрывной звонкий заднеязычный согласный звук, но иногда буква Г бывает фрикативной, произносимой с шумом, получающимся от трения выдыхаемого воздуха в щели между сближенными органами речи, щелиинной, противоположной взрывной...»

Буква Г иногда может заменять цифру 4 и как пример такого случая приведена выдержка из Советской конституции. Статья 125 конституции гласит:

«Гражданам СССР гарантируется законом:
а) свобода слова
б) свобода печати
в) свобода собраний и митингов
г) свобода уличных шествий и демонстраций».

Когда-то я знал в Петербурге журналиста Янчевецкого, он работал в СПБ Телеграфном Агентстве и из своих поездок писал корреспонденции в «Новое Время». Годы я ничего не слышал о нем, пока несколько лет назад не появились его два романа «Чингис-хан» и «Батый». За первый роман он получил сталинскую премию первого разряда и какой-то высокий орден. Недавно вышла его книга «Загадка озера Кара-Нор» и в ней есть удивительные рассказы о преданности людей другой расы.

В советской Энциклопедии напечатана биография Яна, он же Янчевецкий, говорится, что он был сотрудником русских газет, но «Новое Время» не названо, хотя писал он только в «Новом Времени», а Телеграфное Агентство тоже наполовину принадлежало Суворину.

Совсем неважно, что пропущено «Новое Время» и Суворин, но важно то, что все современные советские записи, социальные и исторические безобразно извращаются — то что писалось в сталинский период теперь опровергается, а то что пишется теперь, тоже будет опровергаться несколько позже, а через много лет когда нас уже не будет, историкам будет очень трудно разбираться, что правдиво и что ложно.



Амфибolia... это слово существует на всех европейских языках, не раз встречал его, но по-русски ни разу, хотя оно имеется в русском словаре Академии Наук царского времени.

Чудное слово (ударение на о) амфибolia, при первой встрече с ним сразу мерещатся крокодилы, жабы, саламандры и прочие амфибии, но значение его совсем иное. В советском пятнадцати-томном словаре его не поместили. Все словари поясняют, что это значит «двусмысленность». Это определение не совсем верно, может быть и трехсмысленность.

Когда ищут в каком-то слове скрытого смысла, и досужие критики иногда его находят и придают написанному автором особый, иногда мистический смысл, какого автор совсем не имел в виду — это настоящая амфибolia. Когда в переводах Илиады, в отдельных словах искали особого скрытого смысла и переиначивали легенду о Троянской войне — это амфибolia. Но особенно ярким примером амфибoliи могут быть слова — «социалистический» и «демократический» — в западном понимании это совсем не то, что в советском, и когда московское правительство называет своих сателлитов социалистическо-демократическим блоком, то другие европейские социалисты и демократы откращиваются от этого наименования — это настоящая амфибolia...



В столичных гостиных создалось несуразное русское слово прочно вошедшее в обиход в гвардейских кругах в Петербурге — «благодарствуйте». Подражая светскому обществу и многие не светские стали употреблять это выражение вместо других, таких простых, ясных и благозвучных русских слов — «спасибо», «благодарю вас», «очень благодарен» и т. д.

Глагол «благодарить» или «благодарствовать» и «благодарствуйте» это повелительное наклонение множественного числа, вы значит должны меня благодарить за что-то, как раз обратное тому, что нужно сказать. Понятно, в теперешней России это слово уже умерло, умирает оно и среди старых русских эмигрантов, по мере умирания их самих, но еще часто его слышишь.

У меня всегда мурашки бегали по спине, когда я среди настоящего русского разговора слышал вдруг «мерси», стыдно было и за русский язык и за тех, кто это говорил, вместо русского «спасибо» или «благодарю вас». Чем-то нижегородско-французским пахло всегда от этого «мерси», и еще Достоевский, сто лет назад высмеивал его в своих «Бесах». В России его больше не осталось и нет вероятно среди русских эмигрантов и в Америке, и слава Богу.

Придворный генерал Мосолов, начальник канцелярии Двора, любил хорошее вино и рассказывал мне о знаменитом винном подвале Зимнего Дворца, где хранились редкостные бутылки старых вин, собранные за несколько царствований. Отдельные бутылки брались только для каких-нибудь особо торжественных случаев. Но иногда кто-нибудь из видных придворных просил у министра Двора Фредерикса одну бутылку по случаю именин или иному поводу, и иногда получал. Как-то Александр III увидел что двое придворных пьют такое вино.

«Чья жена именинница?» — спросил смеясь, но выпить вместе отказался — сам он очень редко разрешал себе взять такую бутылку.

Во время революции, еще февральской, толпа разбила подвалы Зимнего Дворца, затопила вином, ни одной цельной бутылки не осталось. Пьяные лежали и в подвалах и наруже.

Он же рассказывал про старого лейб-медика Гирша, постоянно курившего сигары, даже иногда в присутствии Александры Федоровны, ненавидевшей табачный дым.

«Как вы можете курить, ведь это яд?» — сказала она как-то лейб-медику.

«Так точно, ваше величество, очень сильный яд, но только медленно действующий... я вот шестьдесят лет курю и все еще не начал действовать» — ответил Гирш.



В моей редакции в Петербурге работала очень толковая и вполне грамотная машинистка и стенографистка, а перед тем в Москве она много писала под диктовку журналистов и, между прочим, одного среднего писателя, который специализировался на серийных романах. Он был постоянным сотрудником пастуховской газеты «Московский Листок», писал из номера в номер продолжение начатого романа, часто не знал, что будет в следующей главе. В Петербурге таким борзописцем был, между прочим, Гейнце, печатавший свои романы в комаровской газете «Свет».

Она рассказывала много интересного о своей московской работе, между прочим о том, как однажды романист «Московского Листка» пришел расстроенный и взъявленный, не знал, что диктовать дальше, а вчера еще все было в порядке, плавно лилось продолжение романа, было еще далеко до конца. Он рассказал, что редактор Пастухов приказал закончить роман не дальше как в двух номерах и на его возражения, что это невозможно, впереди самое интересное, Пастухов настаивал на своем:

«Больше двух номеров печатать не буду, кончай...»

Она вывела его из затруднения:

«Не волнуйтесь так, успокойтесь, его не переспоришь... Все действующие лица садятся у вас сейчас на волжский пароход для увеселительной поездки, вот пусть

они поедут, пароход столкнется с груженой баржей, загорится, перевернется и все погибнут, одни сгорят, другие утонут, никого не останется и продолжения романа не нужно...»

Так автор и поступил, был очень ей признателен и через три номера начал новый роман, о котором были в газете широковещательные анонсы.

Издатель и редактор «Московского Листка», Пастухов, был человек без всякого образования, но с большой сметкой и чутьем, превосходно знал своего читателя, и его газета давала хороший доход. При газете были агенты по сбору объявлений, им он платил хороший процент, но требовал энергичной работы. Если театр давал слишком маленькое объявление, то агент пояснял антрепренеру, что и рецензии будут маленькие, или никаких не будет, или будут неприятные.

Антрепренер Никитского театра почему-то уменьшил размер объявления. Пастухов послал предупредить, но тот не увеличивал. Тогда газета напечатала весьма неприятную рецензию о новой постановке в Никитском театре, и все-таки объявление не было увеличено.

Пастухов вызвал рецензента и сделал ему резкий выговор:

«Не умеете, батенька, писать, а еще опытным считаешься... Вот я продиктую, что надо напечатать» — и Пастухов продиктовал — «Осмотр потолка Никитского театра комиссией установил, что он представляет большую опасность, кирпичи выпадают из свода в зрительную залу, в интересах публики мы считаем необходимым об этом напечатать».

Совсем так, или вроде этого было напечатано в газете, и следующие вечера в Никитском театре было пустовато. Антрепренер прибежал с извинением и значительно увеличил объявление. После этого перемирия в газете появилась заметка, что потолок укреплен и теперь никакой опасности не представляет.



ОЧЕРКИ И НАБРОСКИ

ЖУРНАЛ «СТОЛИЦА И УСАДЬБА»

С книгой, с запиской, с маленькой вещицей совсем не ценной, связаны иногда яркие черты ушедшей жизни, не вошедшие в исторические записи или мемуары. Они вдруг заставляют вспомнить совсем забытое: в нашем мозгу постоянно движется какая-то кинолента, и все мысли, переживания, впечатления фотографируются на ней, но некоторые отпечатки постепенно тускнеют, а другие даже вовсе не были проявлены и вдруг проявляются только теперь.

Вот такой случай с моим журналом «Столица и Усадьба», в подзаголовке называвшимся «Журнал Красивой Жизни», основанным мною в 1913 году в Петербурге и я все время был единоличным издателем и редактором: это совсем неважно, а ценно то, что в этом журнале ярко отразились тогдашние настроения, накануне революции и многое, нигде незаписанное.

Этот иллюстрированный журнал я решил издавать по образцу английских, печатать возможно совершенно в отношении техники и со строгим выбором материала. В техническом отношении Россия понятно отставала от Запада, для так называемых роскошных изданий не было подходящих машин и даже бумаги и красок. В это время я был сотрудником «Нового Времени» и даже по доверенности старика А. С. Суворина, управляющим коммерческими делами «Товарищества Новое Время».

С кем я ни советовался все в один голос полагали, что это провальное дело, такое издание у нас невозможно по многим основаниям. Но я все-таки решил начать хотя бы на скромных началах, напечатал два больших объявления на первой странице «Нового Времени», изложил программу этого журнала и допустил несколько рискованных фраз,

вроде того, что в этом журнале, по возможности, не будет гражданской скорби, а он будет выискивать, что было и есть красивого и радостного в русской жизни, хотя бы доступной далеко не всем, даже немногим. Такое объявление сразу вызвало порицание в нескольких так называемых «прогрессивных» газетах.

Первый номер вышел на необычно хорошей бумаге, с цветными иллюстрациями и на обложке, и внутри. Цена была назначена семьдесят пять копеек за номер, и вскоре была повышена до рубля. Тогда как журнал «Огонек» стоил пять копеек, а «Солнце России» — десять копеек, а за пятнадцать-двадцать копеек можно было купить целую книжку «Дешевой Библиотеки» Суворина.

Начал очень осторожно, тираж первого номера всего полторы тысячи, и в день его выхода было всего 72 подписчика... Но номер был немедленно распродан, тотчас же было напечатано второе издание, уже три тысячи экземпляров, тоже распродано и напечатано третье, для которого не хватило некоторых цветных иллюстраций. Второй номер — уже шесть тысяч.

Первый успех окрылил меня, я стал платить необычно высокий гонорар за статьи с правом их сокращать и правлять, пригласил опытного фотографа и стал посыпать его по России снимать старинные усадьбы, их обстановку, отдельные предметы, исторические или художественные, равно как и владельцев этих усадеб. С первых же номеров печатались посольства великих держав, а дальше и меньших. Первым было, понятно, союзное французское, в группе весь состав посольства, текст по-русски и по-французски; потом соседняя Германия, группа всего состава посольства, залы, меблировка и фасад здания, на крыше которого величественная группа лошадей — а в августе 1914 года в первый же день войны, толпа разгромила посольство, разбивала все что можно внутри, а с крыши сбрасывали на площадь кусками эту лошадиную группу, толпа зрителей кричала ура, полиция не вмешивалась. Потом снимки английского посольства, японского и так далее, все без исключения.

Тираж увеличивался, быстро дошел до одиннадцати

тысяч, а под самый конец около двадцати, при такой высокой цене номера.

**

Удивительно, что после первых же номеров совсем неожиданно появились люди, много выше меня стоявшие на социальной лестнице, много старше меня, полюбившие этот журнал, стали приезжать ко мне и предлагать свою помощь. Первым былober-егермейстер Двора, барон Кноринг, личный друг вдовствующей императрицы Марии Федоровны, потом известный адвокат Андреевский предложил свое участие в журнале и даже без моего ведома поставил меня на выборы в один из четырех фешенебельных клубов Петербурга, где он был председателем совета старшин: выборы в эти клубы были с особо строгим просеиванием, 75 белых избирательных шариков покрывались 25 черными, и кандидат не проходил, но Андреевский сказал, что он ручается за успех выборов, я был избран и оказался самым молодым членом этого клуба сановников и богатых помещиков.

Начал писать салонные фельетоны князь В. В. Барятинский, под строгим псевдонимом «Княгиня Сандр», случайно он же познакомил меня с Г. Д. Уэллсом, бывшим тогда в Петербурге. Директор Императорских театров Теляковский разрешил посещать репетиции и делать снимки для журнала, об истории театра вообще, писал статьи барон Дризен, редактор «Вестника Императорских Театров»; стал сотрудником А. Столыпин, брат премьер-министра, тогда уже «вдовствующий» — дал интересные семейные воспоминания о Лермонтове, родственнике Столыпина. Статьи по искусству давал Н. Врангель (брать главнокомандующего), известный знаток живописи, один из хранителей Эрмитажа, он устраивал в Петербурге выставку картин парижского Лувра, по поручению президента Академии Наук вел. кн. Николая Михайловича. Все титулы провеврял обер-секретарь департамента Герольдии, Кондратьев, старый мой знакомый, он же передавал о курьезах с разными титулами.

Барон Кноринг отвез первые номера журнала на прием у вдовствующей императрицы в Елагином дворце и че-

рез несколько дней было тридцать подписок от фрейлин, правда «малого Двора» Марии Федоровны — между большим и малым Двором все время был некоторый антагонизм, до самой революции.

**

Я вырос в семье довольно невежественной, узко консервативной, никогда не был ни в каких партиях, ни в правых, ни революционных, революции боялся, но верно-подданнических чувств у меня совсем не было, где-то в глубине сознания жил протест за триста лет гонений на моих предков-раскольников, принужденных убегать с родины или прятаться в северных лесах, не только лишенных всяких привилегий, но облагавшихся особыми податями, запретами молиться как они хотели. Мое недовольство стало сказываться и на страницах журнала и хотя читателями были люди из высшего класса России, вышло так, что некоторые мои печатные вольности и так называемые экзотические разговоры, которые я сам писал для каждого номера, совпадали с тогдашними настроениями на верхах Петербурга. Меня штрафовали несколько раз по три тысячи, но ни разу я этих штрафов не платил, получать деньги ко мне полиция не приходила.

На третий год издания журнала, за завтраком у Кюба, пошел с кем-то в пари на бутылку шампанского, что из трех названных имен знатных и богатых, все окажутся моими подписчиками — и пари выиграл!

По примеру английских журналов стали печататься портреты великосветских дам, что нужно было для увеличения тиража — это раньше у нас было совершенно невозможно. Вспоминаю разговор с кавалерственной дамой Чичериной, весьма уважаемой и авторитетной в высшем свете. Я приехал к ней с тем, чтобы она разрешила снять ее обстановку и дала свою фотографию, она приняла очень любезно, но решительно отказалась:

«Актрисам нужно чтобы их фотографии печатались в газете, но я же не актриса... Напечатают портрет, а рядом обстановка и орудия убийства «Тиме»; у нас совсем не принято то, что делается в Англии».

Но через несколько номеров она прислала свою фотографию; фотографии светских дам получать стало легко, уже сами присылали через кого-нибудь.

Бесплатно номера никому не посыпались и не подносились, никаких портретов высочайших особ не печаталось и что уже совсем удивительно, в номерах журнала не было ни разу фотографии самого царя.

Случилось совсем небывалое, как я узнал потом через Танеева, правителя личной канцелярии царя, несколько номеров журнала попали во дворец и к концу 14 года поступила личная подписка императрицы Александры Федоровны, это был первый и последний случай в истории России, чтобы царский дворец присыпал подписьную плату за журнал!

Вся корреспонденция на имя членов царствующего дома сдавалась в особое почтовое отделение, а все адресованное лично царю прямо до него дойти не могло, попадало к Танееву и царю доставлялись только некоторые вырезки из журналов и газет, а частные письма только в исключительных случаях, после строгой цензуры личной канцелярии.

С отправкой придворных подписок была целая церемония: например, Лейхтенбергские были высочества и были светлости, так высочествам надо было отправлять через придворное отделение, а светлостям через общую почту.

После того как получилась личная подписка императрицы Александры Федоровны мой журнал доставлялся во дворец без всякой цензуры.

**

Как уже сказано, меня несколько раз штрафовали по три тысячи рублей и вот, например, за что:

От редакции журнала была послана просьба герцогу Ольденбургскому о разрешении снять обстановку его дворца, там было много скульптуры, картин и редкой старины мебели, и что особенно интересовало меня, была большая мраморная статуя, работы известного скульптора, с обнаженной вел. княжны Марии Николаевны, до-

чери Николая Первого. Как известно, она отличалась удивительной красотой и сложением. Фотографу я дал указание обратить особое внимание на эту статую, был сделан ряд снимков и по одному из них изготовлено большое клише. Все оттиски фотографий, как полагалось, посланы были в придворную цензуру, генералу Мосолову, а надписи на отдельном листе, в другом конверте и только на следующий день.

В подписи к этой статуе было указано, что она изображает вел. княжну Марию Николаевну, леплена с натуры таким-то скульптором — на оба листа был поставлен штемпель цензуры, разрешено печатать, но когда в номере журнала появилась эта статуя с этой надписью, меня немедленно оштрафовали на три тысячи рублей и еще, кроме того, Мосолов попробовал читать мне нотацию за такую вольность, но я, смеясь, выразил удивление, что я сделал плохого, ведь если Господь Бог царственную особу наградил такими физическими прелестями, то зачем это скрывать...

Другой раз я попросил написать статью Асинкрита Асинкритовича Ломачевского, теперь полного генерала в отставке, а я знал его еще по Оренбургу, где он был губернатором Тургайской области. А. А. был много лет личным адъютантом вел. кн. Николая Николаевича старшего, у которого была вторая семья, два сына от балерины Числовой, теперь уже гвардейские офицеры, по фамилии Николаевы. А. А. близко знал эту интимную жизнь вел. кн. написал статью любовно и правдиво, дал много фотографий и я все это напечатал в номере, не пославши в придворную цензуру, на том основании, что это уже далекое прошлое — в результате штраф в три тысячи рублей, а номер полностью распродан...

Никогда в журнале не печатались портреты великих князей и только однажды по моему поручению художник Троянский нарисовал в красках вел. кн. Константина Константиновича в костюме Цезаря Борджа. В Измайловском полку устраивались закрытые спектакли, руководимые поэтом К. Р., вел. князем, он выступал сам в спектаклях и между прочим в роли Цезаря Борджа. Рисунок в красках был напечатан в журнале; так как это касалось

искусства, в придворную цензуру послано не было — и снова штраф в три тысячи рублей!

Все эти штрафы остались не уплаченными, кто-либо вмешивался в мою защиту или это происходило само собой, но ни одного штрафа я не уплатил до конца существования журнала, а дальше уже такой сумбур, что никто прежних штрафов не взыскивал, да и взыскивать было бы не с чего, все отобрали до ниточки!

Вести с фронта были все печальнее, один только раз был подъем настроения после взятия Перемышля, но не надолго. На бирже было оживленно, цены акций подымались, устроили даже частную вечернюю биржу вдобавок к нормальной официальной, учреждались новые банки, кто-то наживался на военных заказах. Винные лавки были закрыты с первого дня войны, но у «Медведя», у «Кюба», на «Вилле Родэ» было сколько угодно шампанского, в кабинетах оно подавалось просто в бутылках, а в общих залах в больших фарфоровых кувшинах и вместо бокалов наливали в чашки, в «Аквариуме» на Каменноостровском проспекте начались особенно блестящие вечера, длившиеся далеко за полночь, они назывались шампань-танго, публика была избранная, денежная.

Ходил по Петербургу анекдотик: в средний ресторан приходит полицейский пристав, подходит к столику, нюхает чашку, и спрашивает рядом стоящего хозяина:

«Чем это пахнет?»

«Тремя тысячами ваше высокородие» — отвечает находчивый хозяин. Но протокола не составляется, а часть этого штрафа попадает в передней в карман высокородию.

Шампань-танго. В зале с особым входом в «Аквариуме» посреди свободное место для танцев, а по сторонам столики, только по протекции, все полно... Уже два часа ночи, в боковой двери появляется Сидор, с его незабываемым языком, из моего романа «Хорошо Жили в Петербурге», давно распроданного. За столиком сидит его племянник, Арсений, с ним молодая красивая актриса, уже с крупными буквами на афишах, и известный уже, остроумный критик и драматург Додо. Сидор немножко смущен, хорошо бы пройти незамеченным, но его знака-

ми приглашают за столик, садится, бокал шампанского протягивает к бокалу актрисы:

«За ваше здоровье, для сохранения красоты хе-хе-хе... Мы тамока в кабинете были по деловому... Где-то тамока стреляющее, а тутока выпивающее, каждому свое полагающее, хе-хе-хе».

«Совершенно верно» — говорит Додо, нарочно мрачным голосом — «только вот как бы тамока стреляющее да сюда не пальнуло, тогда тоже каждому из нас будет полагающее».

Лицо Сидора мрачнеет, молча встает, прощается, ловко увертывается от танцующей испанской пары, уходит в выходную дверь.

Это сценка из моего романа, он был написан позже, но в «Столице и Усадьбе» была такая же сценка и фразы даже рискованнее этих, и читателям это нравилось, жило мрачное предчувствие, революции боялись, но теперьшними правящими были недовольны, в интимной компании говорили о дворцовом перевороте, о сепаратном мире с Германией и в этих разговорах участвовали высокостоящие люди. О том, что делается в ставке, рассказывали почти трагические факты, много анекдотов, известия с фронта были все хуже... Говорили о пире во время чумы, о танцах на вулкане и тому подобное.



Чтобы печатать фотографию той или иной светской дамы, нужен был какой-то предлог, до войны это были балы, любительские спектакли, даже балеты, парфорсная охота, юбилеи. Но началась война, придворные балы давно прекратились, великосветские дамы устраивали лазареты, одевались в костюмы сестер милосердия, по примеру самой императрицы и царских дочерей, некоторые отправлялись в салон-вагоне на фронт в санитарном поезде, наполненном подарками для солдат.

Уже многим хотелось быть напечатанными в таком журнале, но иногда не было предлога. Выдумал страничку «Наши Любимцы», какой-то удивительный попугай, собачка исключительной породы, редкостная кошка, даже

обезьянка. Первыми помню позвонили дети придворного нотариуса Грэвса и заявили, что у них есть замечательные любимцы. Любимцы были напечатаны, а вместе с ними в медальоне и дети с мамашей или мамаша отдельно, это уже на специальной странице, помельче...

Богатый банкир непременно захотел напечатать портрет своей жены, предлагая за это хорошую сумму, от денег я понятно отказался, но предложил ему устроить хорошо оборудованный лазарет для раненых, пригласивши в комитет великосветских дам и может быть великую княгиню, и тогда его супруга будет напечатана в середине группы на фоне госпиталя.

Разбогатевший подписчик журнала всячески уговаривал меня напечатать портрет его жены, когда-то шансонетной певицы. Он так настойчиво упрашивал, что я посоветовал ему заказать хорошему художнику портрет его жены во весь рост масляными красками, он будет выставлен на первой художественной выставке, и среди других картин будет напечатан в журнале — так и случилось.

Оказалась еще совсем неожиданная цензура. На одной странице были напечатаны четыре фотографии, три жены гвардейских офицеров и четвертая графиня Ностиц. По выходе номера ко мне приехали два гвардейских офицера и очень серьезно заявили, что они являются секундантами оскорблена супруга, так как я напечатал его жену рядом с «женщиной-рыбой»! Я категорически заявил, что при своей близорукости и полном неумении обращаться с оружием, на дуэли драться не буду, но если нужно, приношу мои извинения, хотя не вижу ничего оскорбительного для него, графиня Ностиц настоящая графиня, муж ее бывает при Дворе, а что она когда-то плавала в аквариуме на сцене «Аквариума», хотя бы и совсем обнаженная, но как же иначе в воде? Я знал это прошлое графини Ностиц, знал, что об этом браке много говорят, и напечатал так нарочно. Кончилось все благополучно, и мы даже вместе позавтракали с якобы оскорбленным супругом...



Вел. князь Павел Александрович женился на разведенной жене своего адъютанта Пистелькорса. Сын Дмитрий и дочь Мария, тогда еще дети, были возмущены этой женитьбой отца, жить дома не захотели и их взял к себе в Москву дядя, вел. кн. Сергей Александрович, бывший тогда московским генерал-губернатором. Вскоре он был разорван в Кремле бомбой...

Но почему-то при большом Дворе к этому браку Павла Александровича отнеслись весьма снисходительно и дали его супруге титул княгини Гогенфельзен. А когда вел. кн. Михаил Александрович женился на Шереметьевской, дочери московского адвоката, разведенной с мужем, произошел такой инцидент: Михаил Александрович прислал мне четыре больших фотографии своей супруги с просьбой одну из них напечатать в журнале и написал какая должна быть подпись под фотографией — «Супруга вел. кн. Михаила Александровича, графиня Брасова». Было заказано клише и уже поставлено в номер, уже все было в машине, когда получился пакет из придворной цензуры и на фотографии Брасовой красными чернилами было вычеркнуто слово «графиня». Немедленно позвонил в Гатчину великому князю, он очень вззволновался, просил на час задержать печатанье номера, немедленно приехал из Гатчины в Петербург к генералу Мосолову, но тот заявил, что таков приказ сверху, он ничего сделать не может; поехал к министру Двора барону Фредериксу, но и тот заявил, что он в данном случае бессилен... Тотчас же адъютант великого князя приехал ко мне с извинением за причиненное беспокойство и сказал, что надо печатать как приказано, без «графини»... Долго потом в фешенебельных клубах обсуждалось непонятное такое разное отношение к двум бракам великих князей и даже самому Танееву, как потом выяснилось из разговоров с ним, было непонятно, почему все можно Павлу Александровичу и нельзя Михаилу Александровичу.

**

То, что никогда не появлялось на страницах журнала фотографий Николая Второго, хотя в газетах и других

журналах он печатался часто, никто как будто не замечал, но уже в январе 1917, совсем перед революцией, ко мне приехал воспитатель наследника Жильяр, и с ним еще какой-то военный, и привезли дюжин пять фотографий, лично снятых императрицей. Пояснили, что ее императорское величество просит напечатать их в моем журнале.

Почти все фотографии были сделаны в дворцовом парке, царь рубит или пилит дрова, возит на саночках детей, носит на руках наследника и даже на одной стреляет ворон. Отказать я не мог. Заявил, что очень благодарен ее величеству, но сразу всех напечатать не могу. Было напечатано восемь на одной странице, с подписями под каждой, сделанными рукой императрицы...

В заключение совсем уже комически-трагическое, это было уже в феврале месяце. Приехал какой-то блестящий военный, на карточке значилось, что он личный адъютант министра внутренних дел. Он привез пять или шесть больших фотографий Протопопова и сказал, что его высокопревосходительство просит выбрать одну из них, какая мне понравится, и напечатать ее на должном месте в моем журнале! Я попробовал отговариваться, что журнал не печатает мужских портретов и официальных лиц, но адъютант настаивал: в данном случае может быть сделано исключение, это личное желание министра, и он уверен, что вы его просьбу исполните.

Я взял фотографии, сказал, что подумаю, что во всяком случае для следующего номера весь материал уже готов, еще что-то; разумеется, немыслимо было печатать такую фотографию, но зато мне стало ясно, что министр внутренних дел кандидат в дом умалишенных, многим рассказывал об этих фотографиях и это производило жуткое впечатление.



Пароход тонет... Сильный крен все увеличивается, в машинном отделении уже вода, по радио передаются сигналы о помощи, но поблизости никакое судно не отвечает. Пассажиры сгрудились на накрененном борту, где спускаются спасательные лодки, мешают матросам, какой-то пассажир уже прыгнул в лодку, еще не дошедшую до

воды, волна наклонила ее и он упал в воду — вот-вот начнется паника... Капитан, до сих пор бывший на верхней площадке или в каюте управления, спускается на палубу, где сгрудились пассажиры, входит в толпу, улыбается, вынимает из кармана большой портсигар, медлительными движениями сигарной гильотинкой обрезает кончик сигары, тоже медлительно закуривает, а портсигар протягивает вблизи стоящим мужчинам... Пароход потонет, но только не было бы паники, чтобы спасти всех людей — поведение капитана успокаивает толпу...

Если многие боялись революции, предчувствовали что-то неладное, небывалое, то я особенно остро чувствовал это. В конце не выдержал и когда увидел Ленина, говорившего с балкона дворца Кшесинской, и услышал как он показывая рукой на Кронверкский проспект, сказал толпе, чтобы шли туда, в Арсенал, и разбирали там оружие для защиты революции — мне ясно представилась кровавая баня впереди, и я решил как можно скорее уехать из Петербурга, и уехал 11 апреля 1917 года. Уезжал в надежде, что рано или поздно все уляжется, ведь не звери же люди, тогда вернусь. Для продолжения журнала оставил довольно много денег, больше чем нужно, вывозить уже было нельзя, и редактирование поручил сотруднику журнала Н. Лернеру, пушкинисту, премированному Академией Наук. Журнал должен продолжаться во что бы то ни стало, оставил много заготовленного материала, фотографий и статей.

Но пока я был редактором журнала, я постоянно думал об этом тонущем пароходе и наивно воображал, что мой журнал что-то вроде сигары капитана, как-то успокаивает, отвлекает от мрачных мыслей, от паники, а спокойствие важнее всего даже в самые трудные минуты жизни.

РАЗГОВОР с Ю. Н. М.

Не осталось больше настоящих петербуржцев, все уже умерли. Петербург был совсем особенный город, не потому что там было правительство, в Москве тоже были большие ученые и богатые люди, но москвич совсем не похож был на петербуржца. Я хорошо знал Петербург, без всякого права на это по происхождению был полностью знаком с жизнью верхов, но вот сейчас, после разговора с Ю. Н. Маклаковым вспомнил об особенностях петербургской жизни, он рассказал такие подробности из жизни своего отца, в должности сначала Черниговского губернатора, а потом министра внутренних дел в течение трех лет, с тысяча девятьсот двенадцатого по пятнадцатый, что хочется кое-что записать.

Николай Маклаков был представлен царю во время поездки царя в Чернигов на поклонение мощам недавно канонизированного Феодосия. В это время раненый в Киеве Столыпин умирал. Черниговский губернатор Маклаков подготовил прием царя иначе чем это было в Киеве, там царь ездил среди шеренг войск, а тут по пути следования были палатки с крестьянами разных волостей и они радостно приветствовали царя, Николая II это очень понравилось, впервые такое сближение с русским народом, это было поставлено в заслугу Маклакову и тут уже видимо царь решил дать ему в недалеком будущем более высокий пост. Но министр внутренних дел Макаров уже почувствовал в Маклакове опасного конкурента и решил дать ему повышение, место губернатора в Нижнем Новгороде, где губернаторский оклад был много выше нормального, прислал ему официальное предложение, даже шифрованной телеграммой. Но Маклаков вызвал своего правителя дел, старого преданного чиновника и приказал ему зашиф-

ровать телеграмму министру — «отказываюсь». Старый чиновник поражен был, не хотел шифровать такую телеграмму, но все-таки выполнил приказ. Получивши телеграмму Макаров вызвал Маклакова в Петербург, стал его уговаривать принять это назначение, уверял в своем полном расположении, но тем временем, совсем неожиданно для Макарова, в гостиницу «Регина» (которую я так хорошо знал) приехал гоффурье, как всегда в маленьком открытом автомобиле, и передал высочайший приказ Маклакову явиться во дворец, а на следующий только день был назначен прием у Коковцева.

При аудиенции Николай II держал в руке бумагу с отставкой Маклакова и тут же при нем красным карандашем на ней написал «Маклаков остается Черниговским губернатором. Николай», однако о готовом уже решении ничего не сказал Маклакову, а только улыбаясь посоветовал ему завтра на приеме у Коковцева шармировать его, что он так умеет, потому что Коковцев его очень не любит, а может быть положит гнев на милость... Когда Маклаков назавтра разговаривал с Коковцевым и шармировал его, тот уже ясно понимал в чем дело, что Макаров уходит в отставку, а Маклаков будет министром внутренних дел, но опять ничего об этом не сказал Маклакову, только стал уверять его в своем расположении.

Через несколько дней Макаров был уволен в отставку и в Правительственном Вестнике появилось сообщение, что Черниговский губернатор Маклаков назначается управляющим министерством внутренних дел, не министром, а управляющим, потому что Маклаков был только камергером и действительным статским советником, а для ministra это слишком мало, должен быть гофмейстер или тайный советник.

Даже царь в Петербурге должен был актерствовать и хитрить и когда Маклаков уже был назначен на должность министра, Николай между прочим обещал ему, что он его будет наставлять и учить как тут нужно в Петербурге относиться к людям, не только к высшим чиновникам, но и к тем кто поменьше. Иван Грозный или Петр Великий те поступали без актерства, кого хотели били, снижали и повышали без всяких предупреждений и подготовки, но

в наше время в Петербурге было совсем иначе и не только на высоких чиновных постах, а и среди банкиров, среди мелких чиновников. Все хитрили, друг под друга подкапывались и только когда новичек несмотря на все укреплялся, тогда это был свой брат Афанасий, с ним примирялись и дальше рука руку мыла, я тебе одолжение, а ты мне, дарма ничего — как говорил мой Сидор в романе — «дарма, брательник, только кирпичина на голову падающая, а все остальное за деньги».

Н. А. был очень жизнерадостным и это между прочим нравилось царю и императрице — про него ходили сплетни что для увеселения больного наследника он прыгал по ковру кабинета пантерой, но разумеется точно такого факта не было, как и многого что выдумывают насчет жизни высоких особ.

Как-то министр внутренних дел Маклаков доложил царю что такого вот нужно произвести в гофмейстеры, а Николай ответил — «нет, я его произведу в тайные, а то гофмейстеры выходя в отставку идут служить в разные банки и для придворного звания это неудобно...» Царю приходилось считаться с условиями Петербурга, Петербург был совсем особенный город и тип настоящего петербуржца больше неповторим, хотя мне это теперь ни к чему, но я доволен что в свое время ознакомился с этой жизнью и понял ее.

Н. А. Маклаков будто бы всецело хотел следовать программе Столыпина и если бы она была проведена, то весьма вероятно мы не были бы теперь разбросаны по всему миру как эмигранты. Только новый закон земско-городского положения помешал ему.

Конец Н. А. был трагичен — расстрелян у Бутырской тюрьмы.

ИЗ ПРОШЛОГО

Настоящей правды не существует, потому что неясно самое слово «правда»: однако, лучшим судьей остается время. Кто-то назвал Николая Первого «жандармом Европы», и эта кличка привилась.

Во всех произведениях всегда более яркими оказываются типы отрицательные, но нужно находить хотя бы ничтожные светлые черточки, а они есть у каждого человека, даже самого злого и преступного: так нужно не потому, что это кем-то приказано или так требуют некоторые религии, по идеи всепрощения и непротивления злу, а может быть только потому, что эти светлые черточки самое важное для совершенствования людей, и даже чисто эгоистически лучше находить их в человеке, нежели сплошь отрицательные.

В мое время в Петербурге было убеждение, что Николай Первый покончил самоубийством, отправился заготовленным ядом и то что царь отправился, служило как будто к его чести: понял свои ошибки и ушел, оставивши место наследнику.

Почти двадцать лет постоянным врачом Николая Первого был немецкий профессор Мандт; никаких его записей тогда мы не знали. Но в 1917 году в Лейпцигском издании напечатан по-немецки его дневник и недавно впервые переведен на русский баронессой Будберг. Доктор Мандт как будто совсем искренно и откровенно рассказывает о последних часах жизни царя Николая Первого.

В начале февраля 1855 года Николай Первый простудился и несмотря на болезненное состояние поехал на смотр гвардейской пехоты, уходившей в Литву. «Вернувшись с этого смотра, он слег в своем маленьком кабинете, чтобы больше не покинуть его живым. 16 февраля полу-

жение государя настолько ухудшилось, что я доложил о своих опасениях наследнику цесаревичу».

Дальше рассказывается, что императрица уговаривала мужа причаститься, а в ночь на 18 февраля, во время дежурства Мандта у его постели, Николай спросил его:

«Скажите, Мандт, я должен умереть?»

И как это ни удивительно, Мандт ответил:

«Да, ваше величество...»

Еще несколько фраз и Николай говорит:

«Как у вас хватило смелости сказать мне ваше мнение так... уверенно?» — последнее слово было сильно подчеркнуто.

«В голосе государя, как и в его глазах, было всегда что-то необычное, производящее сильное впечатление. Безо всякого усилия он мог этим голосом достигать такой звучности, что если он отдавал приказание своей гвардии на одном фланге, это было так же отчетливо слышно на другом, точно его голос выбрировал в атмосфере. Может быть этим и объясняется общеизвестный факт, что своим словом и взглядом, государь мог действовать на самые сильные натуры».

Автор этих записей утверждает, что он находился неотлучно при умирающем «до последнего вздоха». Назавтра Николай Первый был уже мертв и на престол вступил Александр Второй.

Трудно судить насколько верны и точны эти записи, но нет тоже твердых оснований не верить им и никогда настоящей правды узнано не будет — так и многое в истории...

Нет никаких сомнений, что Николай Первый хотел смерти Пушкина, не предупредил дуэли и даже не послал своих врачей, когда великий поэт умирал. Было ли это результатом желания сделать своей любовницей жену Пушкина, или вернее произведения этого поэта казались ему подрывающими престол, но несомненно, что он не помог сохранить жизнь великого русского поэта. То же самое и с Лермонтовым, и вполне вероятно, что дуэль с Мартыновым была провоцирована из Петербурга, а о том, чтобы ее предупредить, не было и речи. Грибоедов тоже был

послан в Персию не без цели, отнюдь не дипломатической...

Какой страшный закон был издан Николаем Первым о военной службе: на двадцать пять лет забирали в солдаты не только холостых, но и женатых, и они уже на всегда уходили из семьи, а их жены оставались без всякой поддержки, горевали, иногда кончали трагически.

Один удивительный факт, касающийся русской литературы при Николае Первом — его отношение к Крылову. Баснописец Крылов был назначен Александром Первым помощником библиотекаря «Петербургской Публичной Библиотеки» с окладом в 3.000 рублей ассигнациями, затем в 1820 году оклад был повышен до 6.000, и Крылов назначен главным библиотекарем, а в 1827 году, без всякой просьбы Крылова, Николай Первый повысил его оклад до 12.000 рублей...

**

Мое личное мнение тут не при чем, иногда в статьях и даже книгах авторы вместо «я» говорят «мы», это мне кажется совсем неприемлемым; кто это тебя уполномочил говорить «мы», но свое мнение каждый вправе высказывать, даже когда оно глупое. Записки лейб-медика Мандта доверия не внушают, чего же он столько лет молчал, и только в семнадцатом году были напечатаны его воспоминания: лучше было бы, если бы Николай Первый действительно отравился, самоубийство не одобряется христианской религией, хотя нигде нет в священных текстах запрета самоубийства, но самоубийство может искупать многие заблуждения, ошибки и даже преступления человека.

КАПРИЗЫ МЫСЛИ

Так капризно идет мысль, иногда по логичной смысловой ассоциации, иногда по звуковой, а иногда почему-то, без всякой связи прыгает с одного на другое. В данном случае связь есть, но совсем случайная. Ночью была гроза, сильный ветер и двойная дверь моей спальни вздрагивала и тихо гудела, даже мелодично, точно золова арфа. Эта дверь — плод фантазии одного из бывших владельцев дома, в котором мы живем. Вспомнился злосчастный русский министр внутренних дел Хвостов и его дочь, вполне культурная милая и очень взвалмошная; но она так ласково и услужливо относилась ко мне, что теперь, когда ее уже нет, все отрицательное ушло и осталось только теплое дружеское воспоминание.

Я встречал не раз ministra Хвостова в Петербурге. Его почему-то звали «лисий хвост», но ничего лисьего я в нем не находил, это был просто карьерист, убежденный монархист, ясно понимавший, что только при этом строе он может выдвинуться. Он был обходителен, любезен и вкрадчив.

Но здесь не о встречах с ним, а рассказ его дочери. Ей было лет десять, когда Хвостов был нижегородским губернатором, самовластно и грубо расправлялся с бастующими рабочими, получал подметные письма с угрозами, но продолжал свое. Каждое утро приходил парикмахер и брил его в кабинете, а его десятилетняя дочь, по слышанным разговорам или внутренним чутьем, понимала, что отцу угрожает опасность и про себя решила, что парикмахер непременно его зарежет. Из кабинета в соседнюю комнату вела двойная дверь, и девочка боясь за отца, тихонько пораньше вставала каждое утро, тайком проби-

ралась к этой двойной двери и, сидя на корточках, прислушивалась, что делается в кабинете. Однажды отец услышавши какой-то шорох за дверью, быстро отворил ее и увидел дочь, был удивлен:

«Что ты тут делаешь?»

«Я боялась папа, что парикмахер тебя зарежет бритвой».

«А если бы он стал меня резать, как же ты могла бы помочь мне?» — он обнял ее, был растроган и обещал, что впредь будет бриться только в присутствии камердинера или секретаря.

В это же время в Нижний Новгород приезжал на несколько дней Распутин для выяснения, хороший-ли это губернатор, чтобы доложить в Царском. Очевидно нашел губернатора подходящим и Хвостов вскоре был назначен министром внутренних дел. Но, как я ни допрашивал дочь, теперь уже взрослую и даже пожилую, она уверяла, что ее не допускали к Распутину, она его ни разу не видела и никаких разговоров не слышала. Я ей не совсем поверили, но вполне оценил эту привязанность и любовь к отцу.

Министр Хвостов записан на черную доску прогрессивно думающими людьми. Он достиг власти через проходимца Распутина, он применял возмутительные методы борьбы с забастовками. Когда человек умер и так трагически, как Хвостов, хочется найти хотя бы что-то маленькое положительное в нем! Оно есть в каждом человеке, надо только его найти. А когда человек как-то выделяется, достигает большого положения, то он уже поднимается над толпой и мне вполне понятно было такое почтительное, любовное отношение к Хвостову его дочери Анны Алексеевны, ныне тоже покойной.

Хвостов получил место министра по рекомендации конокрада Распутина, дошедшего под конец до такой наглости, что ночью из кабинета кафешантана, «Виллы Родэ», требовал, чтобы его соединяли по телефону с Царским Селом и я знаю случай, когда такое соединение было дано и он разговаривал с императрицей, называл ее мамой, и рекомендовал какого-то нового государственного деятеля, не помню какого. Хвостов понимал, что если он вызовет неприязнь Распутина, то будет сменен. Однако у него

хватило государственного сознания и если угодно, благородства, убрать Распутина пока не поздно. Он вызвал к себе двух маленьких репортеров, Ржевского и Снарского, дал им шестьсот рублей, зная что они общаются с Распутиным, поручил им завлечь его в какой-нибудь ночной ресторан или просто притон, сильно напоить, так чтобы произошел скандал, чтобы была вызвана полиция и был составлен полицейский протокол, а потом этот протокол напечатать в какой-нибудь петербургской газете. Это рассказывали мне эти самые репортеры...

Хвостов надеялся, что скандал дойдет до Царского Села и это подорвет там влияние Распутина. Но вышло иначе. Репортеры обо всем рассказали Распутину, вместе с ним пропили эти шестьсот рублей и очень охотно потом рассказывали об этой своей проделке. То что министр Хвостов замышляет что-то против «святого старца», до Распутина дошло и Хвостов был смешен с министерского поста. Дальше пошло еще хуже.

Опять-таки через Распутина, при посредстве журналиста Манасевича-Мануйлова премьером стал Штюрмер, а еще дальше полусумасшедший Протопопов — революция стала неизбежной, немцы наступали, смерть Распутина уже помочь не могла, столько было им сделано гибельного для нашей родины...

Лев Толстой в последних главах «Войны и Мира» старается дать понять, хотя эта его мысль проведена и раньше во всем романе, что все происходило не по воле Наполеона, не по воле Александра или Кутузова, а по воле Божией. Никакая человеческая воля не могла бы изменить хода событий. Пожар Москвы и гибель армии Наполеона предрешены были свыше — вот также можно было бы закончить большой исторический роман о русской революции, если бы нашелся второй Лев Толстой. Может быть, когда-нибудь и будет написан такой исторический роман о русской революции, но едва ли уже в нем будут такие заключительные главы, как в «Войне и Мире».

НЕЧТО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ

Больше полстолетия как я изучал метеорологию, совместно с физикой, работал даже на метеорологической станции, на экзамене получил высший балл. Как было тогда с этой наукой, так и теперь, ровно ничего не изменилось. Насколько ушла от прежнего физика, от тогдашней не осталось камня на камне, а метеорология все на том же месте. Те же изотермы и изобары, циклоны и антициклоны, много новых приборов, но результат все тот же. Наверняка нельзя предсказать погоду даже на завтрашний день, а тем более ее изменить...

Совсем смешно и наивно, когда в газетах печатают предсказания на месяц или на всю зиму, или на все лето, трудно даже понять зачем это делается, кого и для чего нужно морочить.

В годы моего детства и еще ранее, погоду предсказывал календарь Брюса, сподвижника Петра, на годы вперед и так как он не указывал, где это будет такая погода, то иногда не ошибался. В годы моего студенчества появился инженер путей сообщения Демчинский, нашел геометрическую систему предсказаний погоды и даже умудрился получить аудиенцию у Николая II и деньги на издание специального журнала — его сын учился со мной в Академии, но даже он скептически относился к отцовской системе. Понятно она провалилась, журнал прекратился, и уже было неделикатно говорить с Демчинским о погоде.

Несколько удачнее писал о ранней или поздней весне профессор петербургского Лесного Института, Кайгородов. Он внимательно и любовно наблюдал жизнь птиц, пролеты, постройку гнезд, приготовление к отлетам, печатал

каждую неделю эти свои наблюдения в газетах и иногда его выводы были довольно правильны. Но и птицы нередко ошибались, не вовремя прилетали, слишком рано начинали вить гнезда и ставили старого профессора в конфузное положение. Птицы все-таки и некоторые другие животные, знают больше чем ученые метеорологи, но и они ошибаются, в зависимости от капризов природы, хотя они сами нераздельная часть природы. Особенно часто ошибаются растения.

Не осталось точных записей, занимались ли предсказанием погоды египетские и греческие жрецы, рассматривая внутренности жертвенных животных, занимался ли этим Дельфийский оракул или для него это было слишком низменное занятие, решал вопросы судьбы человека и народов. Из Библии известно, что Иосиф разгадал сон фараона о семи коровах жирных и семи тощих, съевших жирных. Это значило, что наступит семь засушливых неурожайных лет, но случилось ли так, в Библии не указано; ацтеки приносили богам человеческие жертвы чтобы обеспечить хорошую погоду для урожая и иногда эти жертвы давали хороший результат, но далеко не всегда. Несмотря на обилие жертвоприношений, был голодный год. Еще и теперь в Неаполе в день святого Януария в его храме обносят среди молящихся чашу с кровью святого, кровь при этом кипит, и смотря по тому, кипение сильное или слабое, священнослужители узнают волю Бога и выводят предсказания на будущее, в том числе на урожай. Если кровь кипит плохо, то предлагают верующим жертвовать больше на храм, чтобы избежать неурожая и других неприятностей.

Такие виды предсказаний погоды еще долго останутся, может быть никогда не уйдут, но сейчас век точной науки, величайших технических достижений, однако метеорология никуда не уехала, как была, так и остается.

Непредсказываемое появление солнечных пятен неожиданно меняет погоду на всем земном шаре, так же как усиление потока космических лучей, оттого что где-то во вселенной взорвалась какая-то старая звезда, уже миллиарды лет назад, но только теперь мы это узнали. Неизвестно почему в атмосфере появляются воздушные ко-

лодцы, в которые иногда катастрофически ныряют самолеты, многие уже думают, что взрывы наших атомных и водородных бомб тоже меняют погоду, но ученые метеорологи с этим несогласны, слишком мелки наши человеческие фокусы для того, чтобы изменять законы природы.

Уже многие заинтересованы будущими полетами на другие планеты и даже начинают изучать тамошний климат, другим это кажется совсем ненужным, и они советуют лучше заняться нашей собственной земной погодой и насколько можно ее изучать.

ФЕЛЬЕТОННЫЕ ЗАПИСИ

Жюль Верн писал как будто для юношества, а его произведения читали с интересом и взрослые, и читают до сих пор. Некоторые его фантазии были пророческими, вроде воздушного корабля «Альбатроса», подводное плаванье капитана Немо, без пополнения топлива; ряд других фантазий оказался невыполнимым, на Северном полюсе нет вулканов, путешествие к центру земли немыслимо и такая пушка, выстрел из которой сдвинет земную ось, тоже невозможна.

И все-таки невыполнимые фантазии Жюль Верна менее абсурдны, нежели современные как будто научные мечтания о переселении людей на другие планеты в галактической системе или даже вне ее. А на такие темы пишутся сотни фантастических романов, и не только романы, а якобы совсем научные статьи и книги, и тысячи людей читают их, веря в авторитет так называемых ученых.

Жизни, вроде нашей, или нигде нет больше в космосе, или по уверению некоторых особенно резвых астрономов, есть не меньше ста тысяч обитаемых миров, и если принять второе, то ведь там эволюция началась на миллионы и на миллиарды лет раньше нашей, там есть существа достигшие гораздо большего развития нежели мы и они давным-давно дали бы нам знать о себе, или прилетели бы или что-нибудь забросили по крайней мере. Их техническая наука давно уже превзошла нашу — но на земле были только марсиане по фантазии Уэллса, а никаких материальных доказательств, даже ни куска металла из других миров мы до сих пор не получили. Фантазии о переселении на другие планеты слишком размножившихся людей — чистейшие сказки и можно только удивляться, как много желающих в них верить: мы зем-

ные существа, на земле появились и на земле должны жить, никуда переселиться не можем, нужно здесь устраиваться получше, а если слишком плодимся и грозит катастрофа от тесноты, то надо ограничить наши стремления к безрассудному размножению.

Важнее всех светил вселенной сам человек и его благополучие, самое важное и ценное как сделать его жизнь лучше. Для этого столько вопросов на самой земле, а оттого, что за пределами земной атмосферы летают целые омнибусы, наша жизнь ни на иoutu не улучшится, слишком много труда и рекламы отдается этим спутникам и только скрытые, преступные военные цели до известной степени могут объяснить это абсурдное увлечение и эти траты.

Наша жизнь ничуть не станет лучше оттого, что будет точно определен состав атмосферы Венеры или Марса, а что касается спиральных туманностей, отстоящих от нас на миллиарды световых лет, то это интересно только для сказок.

Стараемся изучать отдаленнейшие небесные тела, а собственную атмосферу, наш земной покров, знаем еще настолько мало, что не можем предсказать погоду даже за несколько дней, утверждаем что солнечные пятна влияют на нашу годовую температуру, но результаты совсем обратны предсказаниям. Пробовали устраивать дождь из соседних туч, но ничего кроме бесцельных расходов и даже судебных процессов не получилось: а вот то, что больше всего влияет на ухудшение нашего климата, бесконтрольное истребление лесов, наших земных, об этом забываем. Мечтаем о солнечных машинах, а каждое дерево, каждый кустарник и каждая травинка, наиболее современные солнечные машины, лучше которых нельзя построить, и их дала сама природа.

Это примитивно, но все-таки хочется сказать, что каждый зеленый листок творит из воздуха древесину и уголь, поглощает вредную для нас углекислоту и выделяет кислород, такой необходимый для нашего дыхания, что нужно беречь каждое дерево и всякую зеленую лужайку, но мы их нещадно уничтожаем, строя на них фабрики или расширяя дороги для автомобилей...

Вдумчивый собеседник увидел лежавшие рядом на столе, только что переписанные листки, спросил что в них и я коротко рассказал — после некоторого молчания, он сказал:

«Но почему же только о лесах и вообще зеленых растениях? Это очень важно и ценно, но почему же только об этом? Есть столько другого еще более важного!»

«Есть многое другое еще более важное чем охранение лесов и всего зеленого, но я закончил эти фельетонные записи лесами потому, что это возможно и сегодня при существующих государственных строях, хотя бы и враждебных, а все остальное, самое важное, немыслимо пока над нами висит эта мрачная туча коммунизма. Идет борьба двух систем, по одной нужно думать только так, как приказано кучкой людей, захвативших государственную машину, нужно жить так как она приказывает, хотя бы это было отвратно, а другая система, наша, дает свободу мышления, разрешает говорить и писать, что думаешь, хотя бы иногда и глупое, и жить как хочешь, без приказа, муштры и принудительного труда... Полное разоружение освободило бы труд миллионов людей, можно было бы накормить всех полуголодных, всем дать жилища, во многом сделать жизнь приятнее, но это маниловские мечтания, пока идет эта борьба двух мировоззрений и одна половина мира боится другой. Когда-нибудь все изменится, но сегоднягодны разговоры только о лесоохранении».

«А когда же наступит время для всего более важного?»

«Даже пророки нередко ошибаются, а я совсем не пророк, но твердо уверен, что наступит такое время, потому что люди мыслящие существа и теперь только временное поглупление...»

«Вы утешили меня вашим оптимизмом» — сказал собеседник и мы оба улыбнулись, а улыбка делает людей более привлекательными и примиряет.

Г Е С Т А П О

За долгие годы я прочел много детективных романов и хотя никогда не считал их высокой литературой, они были для меня большим развлечением, возбуждали мышление. После ряда других романов я решил написать роман детективный; русские писатели никогда детективных романов не писали и действительно, в русской жизни они были почти невозможны. У нас не было того метода расследования, какой был в Англии, а главное у нас можно было арестовывать без приказа судьи, можно было вломиться в квартиру в любое время дня и ночи с обыском, а потом все безнаказанно объяснить ошибкой или совсем не объяснить. Я был первым русским, написавшим детективный роман: в Англии его одобрили. Не будучи юристом, я все-таки знал кое-что из юриспруденции; готовясь писать детективный роман, прочел несколько книг по судебной медицине, токсикологии, по искусству допроса и особенно перекрестного допроса. Мне казалось, что если бы когда-нибудь по какому-нибудь случаю меня стали допрашивать, то самому опытному следователю было бы трудно справиться со мною.

Так я думал до первого случая в жизни, когда меня стали действительно допрашивать и при этом было сознание, что моя жизнь висит на волоске, хотя я никакой вины за собой не знал. Это было в Париже, когда он был занят немцами.

Я никак не мог предположить за что я арестован, в чем меня подозревают или обвиняют.

Когда я в былое время рассуждал теоретически о допросах, старался найти в любом положении лучший для допрашиваемого ответ, я упустил как раз из виду тот случай, какой выпал мне. Много раз написано и в изло-

жении судебных процессов и в детективных романах, что самый даже умный преступник, совершивший преступление обдуманное во всех деталях, все предусмотревший, все-таки что-то упускает, не предвидит, и это маленькое упущенное что-то, выдает его, разрушает все здание безопасности. При обдумывании детективного романа, я хотел найти такое преступление, так совершенное, таким умным преступником, что уже никакого неожиданного «что-то» не окажется.

Эдгар По более ста лет назад написал нечто вроде маленького рассказа «Дьявол Противоречия» и описывает там человека, совершившего убийство с такой предусмотрительностью и осторожностью, что доказать его участие в этом преступлении невозможно, но его самого, этого преступника вдруг захватывает демон противоречия, и ему почему-то хочется вопреки указаниям разума, рассказать о своем преступлении, покаяться — нечто вроде того, что было у Раскольникова в вымысле Достоевского. Он бежит от своего решения, старается заставить себя подчиниться разуму, а не этому демону, ищет людскую толпу, чтобы уйти от одиночества и этого навязчивого, неотразимого желания рассказать о своем преступлении, и все-таки в конце-концов, в этой людской толпе кричит, что он убийца, его арестовывают и он точно в полуознании повторяет свое признание. Я никогда не верил в возможность такого подчинения демону противоречия, выдуманному Эдгаром По, или вернее подчинения глупости наперекор разумному мышлению. Не только этот человек Эдгара По, но и Раскольников Достоевского были для меня только вымыслом. Но вот тут, при этом допросе, в это время, когда от самоуважения и всех самых основных достоинств человека мало оставалось, потому что рядом стояла смерть, я понял что для спасения жизни можно признаться в чем угодно, если это выход, если в этом спасение, если это никого другого не касается, никого не губит — и все-таки не в чем было бы признаться, потому что мне не предъявляли никакого обвинения, а в то же время я хорошо знал, что вот если укажут левую дверь, то там пытки, затем концентрационный лагерь и еще дальше мучительная смерть...

Было ясное сознание, что жизнь висит на волоске, передо мною немецкий офицер, гестапист, и в его полной бесконтрольной воле направить меня в эту левую дверь или отпустить для дальнейшей жизни, хотя бы и под постоянной угрозой, днем и ночью, в любой час, что арестуют опять и уже без всякого допроса пошлют на смерть: я хорошо понимал эту смертельную опасность, но все-таки мне в те минуты, в те сорок минут, не было так жутко, как жутко теперь, когда я об этом вспоминаю и переживаю вновь. Передумывание или даже просто рассказ о чем-то страшном пережитом, это новое переживание того же страха, того же несчастья, и лучше не вспоминать об этом. Это как в ссорах людей — поссорились, ссора болезненна для обеих сторон, но постепенно о ней забывают иногда под влиянием какого-то случайного обстоятельства, и восстанавливаются нормальные и даже дружеские отношения, все забыто, но вот кому-то третьему понадобится напомнить об этой ссоре и снова воскреснет неприязнь и вражда.

В обычной судебной практике, в правовом строе всякий арестованный знает, за что его арестовали или в чем его подозревают: тогда можно выбирать линию защиты, быстро обдумывать свои ответы, и ни в чем не попасться на противоречии. Но в моем случае был не правовой строй, а гестапо, и нельзя было найти линию защиты, и если я какой-нибудь фразой не погубил себя окончательно, то это только случай.

Иногда ожидание чего-то очень страшного страшнее этого самого страшного: когда оно случается, не успеваешь переживать страх. Но вот сейчас я понимаю, что воспоминание и передумывание о страшном моменте может быть еще страшнее. Может быть опять потому, что в самый момент не успевал переживать всей опасности.

Я сидел в четвертом или пятом этаже гестапо, в бывшем французском министерстве внутренних дел, и очень немногие уходили на волю из той комнаты, где я сидел. Допрашивавший меня гестапист не стесняясь и не скрывая сказал мне:

«Я могу сейчас вас отправить туда, где вы исчезнете...»

Когда я размышляю теперь как вообще умнее держать себя при допросе, когда не знаешь в чем тебя обвиняют, я тоже не могу найти должного образа поведения. Возмущаться, сердиться, улыбаться и относиться юмористически, стараться быть спокойным или, наоборот, подчеркивать свое волнение, свою обиженност, оправдываться? Но в чем оправдываться? Когда не знаешь в чем тебя обвиняют...

Очень труден случай, когда тебя допрашивают и не знаешь в чем хотят обвинить, но еще труднее, и даже трагичнее, когда вообще не хотят допрашивать и без допроса прямо посыпают в тюрьму, а оттуда в концентрационный лагерь или прямо в концентрационный лагерь с тем, чтобы там «исчезнуть».

И вот со мной был именно случай, когда не хотят допрашивать, а просто отсылают куда-то на исчезновение. И я это сразу понял, и вся работа мозга была направлена на то, чтобы заставить допрашивать меня — это было очень трудно сделать. Я начал с шутливых, наивных вопросов, вызывавших сначала улыбки, а потом смех. Я прежде всего спросил наивным тоном:

«Скажите, пожалуйста, это здесь гестапо?»

«Мы не можем отвечать на такие вопросы» — сердито ответили мне.

Я очень плохо вижу, но тут я делал вид, что вообще ничего не вижу и сел мимо стула — это создало ко мне некоторую симпатию, насколько симпатия возможна у гестапистов. Затем я задал вопрос, обреют ли мне немедленно голову по прибытии во Фрэн и можно ли там бриться хотя бы безопасной бритвой, на это опять ответили смехом и я чувствовал, что атмосфера несколько улучшается.

Говорят, что есть рыбьи слова производящие неотразимое действие, так вот эти мои дурацкие вопросы оказались рыбьими словами, во мне почувствовали писателя, при этом незлобивого, склонного к юмору, а юмор иногда творит чудеса. Эти мои рыбьи слова сделали то, что меня стали допрашивать. Моя жена, которую я почти силою втащил в автомобиль с собою, сидевшая тут же, сказала:

«Господин полковник, ведь мой муж не рядовой че-

ловек, такой один из тысяч, а может быть меньше, это известный писатель...»

Это опять вызвало улыбки. Затем я стал просить, чтобы разрешили жене привезти мне хотя бы перемену белья и теплые кальсоны и чулки, так как очень боюсь холода, а в тюрьме вероятно плохо топят. Полковник ответил, что он этого разрешить не может, я должен быть немедленно отправлен в тюрьму. Он добавил, что у него приказ о моем немедленном аресте и он ничего изменить не может.

«Но, господин полковник, теплые кальсоны и носки вы же можете разрешить, это в вашей власти...»

После еще нескольких довольно курьезных просьб, все время в полуслугливом тоне, полковник, наконец, согласился чтобы моя жена поехала за теплыми кальсонами и носками, как раз кстати надо арестовывать еще одного в Везинэ и моя жена поедет вместе с гестапистами — я добавил еще маленькую подушку, им было смешно, что человек, которого арестовывают с тем, чтобы он навсегда исчезнул, выпрашивает теплые кальсоны и маленькую подушку. Потом оказалось, что гестапист, ехавший для ареста в Везинэ, хотел захватить мою жену, как переводчицу, узнавши что она хорошо говорит и по-немецки и по-французски. В Везинэ они никого не арестовали, не нашли, вели только переговоры с его женой и соседями. Для меня все это было отсрочкой и я не ошибся в расчете: гестаписты ездили с женой почти два часа, а я за это время между прочим рассказывал, что мой отец родился в Пруссии и до женитьбы был прусским подданным, что я в своем журнале «Столица и Усадьба», в одном из самых первых номеров, напечатал фотографию германского посольства в Петербурге и всего состава посольства (это было до войны 1914 г.). Потом упомянул о том, что в 1920-1921 г.г. я издавал в Берлине русскую газету; о том, что двенадцать моих книг были напечатаны в Берлине и ни одна из них не запрещена и теперь наконец я сказал самое главное:

«Да, удивительно, меня высыпали из Франции перед войной, а теперь вы меня хотите высыпать...»

Полковник заинтересовался:

«За что вас высыпали?»

«Не знаю, вероятно подозревали во мне немецкие симпатии».

Я действительно не знал тогда за что меня хотят выслать, никаких немецких симпатий, понятно, у меня не было: теперь мне известно, что это было просто шантажное дело, теплая компания русских требовала от меня пятьдесят тысяч франков и грозила мне высылкой, а когда я денег не дал, они стали писать доносы в Парижскую префектуру. Полное отсутствие какой-либо вины за мною и шантажность этого дела была потом установлена специальной анкетой по распоряжению министра Сарро и высылка была отменена. Мне сразу прислали две новых карт д'идантитэ, одну из Парижской префектуры, а другую из Версальской. Этих подробностей я не рассказывал.. Кончилось тем, что полковник гестапист приказал другому гестаписту сесть за машинку и они стали записывать мои показания очень похожие на бойкий фельетон. Атмосфера все улучшалась, фельетон занял три или четыре страницы и когда, наконец, моя жена вернулась с чемоданом, полковник сказал ей, что она может взять меня и чемодан домой.

Я оказался дома, но сколько ни думал, все-таки не мог понять в чем же меня подозревали, за что меня арестовали. Дальнейшее показало, что я действительно никак не мог бы догадаться...

Месяца через три меня опять арестовали и повезли на рю дэ Соссэ, откуда как известно мало кто уходил на волю. Там видимо уже был составленный ранее протокол, уже была канва допроса, но оттуда я вышел только чудом, так мне кажется теперь, и воспоминания об этих арестах может быть страшнее, чем самые аресты.

И только тут в конце допроса гестапист сказал, наконец, мне в чем меня обвиняют:

«Вы служили осведомителем при Парижской префектуре по германским делам, вы выдавали нацистов...»

Я только развел руками, а моя жена, человек очень экспансивный, не удержалась вскрикнуть и даже привскочить на стуле. Я часто сержусь на жену за ее несдержанность и экспансивность, но в данном случае ее восклица-

ние было убедительнее многого другого. Действительно, нельзя было выдумать ничего более абсурдного как то, что я служил в Парижской префектуре! Однако это абсурднейшее обвинение могло стоить мне жизни.

Мне страшно теперь, когда я вспоминаю все это, и не только страшно, а нарастает в душе возмущение, самый острый протест: подумать ведь только — какой-то неведомый мне дотоле человек в немецкой форме решает мою судьбу, решает вопрос жить мне или не жить?

Часто нам кажется страшным то, что вовсе не страшно, и наоборот, мы не видим настоящего «страшного». Многие люди боятся грозы, а между тем статистика показывает, что молния убивает одного из миллиона, не больше. А в автомобиль садятся без всякого страха и та же статистика устанавливает, что несчастные случаи при езде в автомобиле в сотни раз чаще чем от молнии.

Сидя в кресле перед гестапистом можно не сознавать ясно смертельной опасности, и только позже, уже при воспоминании дрожь проходит по телу.

Почти пять лет каждый стук мотора, а тем более звонок у ворот, заставлял вздрогивать, вскакивать, настороживаться — не немцы ли, с обыском и арестом? Пять лет парадная дверь была заперта наглухо и ключ спрятан, чтобы кто-нибудь случайно не отомкнул ее, потому что из передней была лестница наверх, и если бы они вошли через парадную дверь, то никому нельзя было бы незаметно подняться на второй этаж или спуститься вниз, а иногда это могло иметь значение. Надо было все время готовить соответствующую декорацию, более приемлемую для немцев: у меня, например, тысячи две английских книг и только полсотни немецких, но надо было так делать, чтобы на виду были немецкие книги и чтобы на ночном столике никак не лежала английская, хотя их больше всего читал... То же и собаку надо было держать все время на виду, потому что однажды вошедший во двор немец, держа рука на браунинге сказал:

«Если она будет лезть, я ее застрелю...»

Все дни и бессонные часы ночи были заполнены мыслями о немцах, не только о самой жизни или ценностях, которые они могли отобрать, а даже о пустяках, хотя и

пустяки в нашей жизни не менее важны. У нас было две собаки, одна маленькая белая, другая большая черная, понятно мы ими дорожили, любили их, как всегда собаки почти члены семьи... И вот расклеивают объявления, что немцам нужно собрать в парижском районе десять тысяч больших собак, выше стольких-то сантиметров — и наш черный Мурза как раз подходил — стали его прятать, выдумывать разные способы, как его спасти.

Немцы собирали постельное белье для своих госпиталей, собирали самым простым способом, приходили, обыскивали и брали все что им подходило. Поэтому все простыни, полотенца, салфетки давно уже были спрятаны и часть их погибла, потому что они от сырости покрылись плесенью... Пошел слух, что забирают всю мужскую одежду, а у меня было несколько пиджаков и пальто — завязали все это в узел и зарыли под полом гаража, там это лежало несколько месяцев и тоже не улучшилось в качестве... Забирали велосипеды, просто ловили велосипедистов на улице, ссажали с велосипеда и выдавали какую-то бумажку. Я разобрал свой велосипед на части и долго мудрил куда эти части запрятать так чтобы не нашли ни при каком обыске. В конце концов, действительно нашел такие места: например колеса были подвязаны к крыше курятника и замаскированы!... Стыдно вспоминать теперь чем был занят, до какого дошел унижения, но жалко было и Мурзы, и пиджаков, и велосипеда. Автомобиль давно уже перестал существовать, его бросили когда возвращались в Париж, потому что не было бензину и он пропал. После каждой бомбардировки бомбами или обстрела тяжелыми зенитными орудиями, в доме что-нибудь рушилось, обсыпалось, разбивалось, но об этом думали уже меньше всего, страшнее всего были живые немцы.

Много еще другого, ежечасно и ежеминутно приходилось иметь в виду, это физически, а психически чувствовал себя не человеком, а какой-то мразью, которой распоряжается немец в военной форме, или даже в штатском — между прочим самые опасные гестаписты были в штатском.

То там, то здесь, то далеко, то ближе слышалась канонада и гадал, разгадывал что это значит, кто стреляет

по ком. Где-то вдали начинала гудеть сирена, едва слышно, но слух обострился, начинала гудеть и наша, собака выла, хотелось выть самому. Слышалось жужжание далеко вверху, все ближе, воздух вибрировал, и совсем рядом начинали грохотать большие зенитные пушки, стекла дрожали, слышно было как на крышу падают мелкие осколки разрывавшихся в воздухе снарядов. Иногда только вдали падали бомбы, а иногда и совсем близко, стены дрожали, звенело и падало то одно, то другое разбитое стекло... Устроил кровать в маленькой комнатке подвала, целые ночи валялся на ней или сидел в холодном винном погребе, где был толстый свод. Неделями совсем не спал, казалось что схожу с ума...

Так прожито почти пять лет и за эти пять лет состарился на пятнадцать, а жизнь одна и время назад не идет. И все-таки теперь думаешь, как я счастлив, больше не приедут гестаписты, больше не гудит сирена и больше не падают бомбы.

РУССКИЙ ЯЗЫК

К дифирамбам русскому узыку, уже классическим, Гоголя и Тургенева, можно и нужно еще добавить.

Я не филолог по специальности, но семьдесят лет изучаю свой родной русский язык и редко бывал день, чтобы не лазили в словари или не спорили о правильном произношении русского слова. Знаю и другие языки, но поверхностно, а в русском рылся до глубин, стремился понять его дух и всевозможные оттенки выражений, меняющиеся от порядка слов, от ударений, от удачно подобранного слова хотя бы и редкого, как будто устаревшего.

Это самый богатый язык из всех существующих: в Академическом Словаре царского времени буква К занимает 3.089 столбцов убористого шрифта в книге большого формата и все-таки К не закончено, доведено только до «КРО», а больше всего слов в русском языке на буквы П и С.

Значительным, но преходящим затруднением для изучения русского языка остается наш своеобразный алфавит, кириллица, и не раз возникала мысль о том, чтобы перевести наше правописание на общеевропейский латинский шрифт. Вот у меня лежит целая грамматика и орфографический словарь, составленный профессором международного права Ященко. Он настаивал на введении латинского шрифта и даже письма все писал латинскими буквами. Но эта мечта невыполнима, так же как оказался невыполнимым план Бернарда Шоу упростить английское правописание, на что он завещал весь свой капитал. В родственном славянском языке, польском, приняли латинские буквы, но для этого оказалось необходимым некоторые звуки писать тремя или даже четырьмя буквами и еще с

особыми дополнительными значками — следовать их примеру вероятно не придется.

Русский язык по своей грамматике ближе всего к классическому латинскому языку. Падежи образуются окончаниями, а не членами, и все буквы читаются.

Не зная правописания, любое русское слово по произношению можно легко найти в большом словаре, оно будет под той первой буквой, какая слышна. Совсем не так с другими языками.

При громадном количестве слов богатство русского языка и оттенки выражений еще увеличиваются тем, что в русском языке есть многократный вид и есть уменьшительный, увеличительный, ласкательный и уничижительный от того же самого слова, чего нет ни в одном языке — дом, домик, домишко, домице, домок... старик, стариушка, старикашка, старишишка, старец, старичок — и в каждом из этих слов есть какой-то тонкий оттенок вполне понятный хорошо знающему языку.

Почему-то принято думать, что например по-французски можно выражаться гораздо точнее, этот язык был взят как дипломатический, а на русском иногда не хватает точных выражений — это только для тех, кто плохо знает русский язык, а при полном его знании он может быть самым точным и может передавать все оттенки даже невозможные на других языках. В научных сочинениях большинство слов от латинских и греческих, и образованный русский понятно эти слова должен знать, и они постепенно становятся международными и абсурдно стремление заменить их какими-то своими национальными словами.

Говорят и пишут о московском и петербургском произношении. Я жил долго и в Москве и в Петербурге, старался подмечать оттенки произношения и пришел к выводу, что образованные люди и в Москве и в Петербурге говорили одинаково. Есть один настоящий русский язык, а местные говоры только придатки и пониманию языка не мешают, а областные слова увеличивают богатство языка.

Так называемое оканье и аканье касается только малообразованных людей или совсем не учившихся. Прощедший курс университета говорит по-русски не с ока-

нем и не с аканьем, а так же как говорят окружающие. Даже если он приехал с оканьем и аканьем, то через год-два уже ничего не останется и даже нельзя отличить с севера он или с юга, разве что иногда неправильные ударения в словах, особенно у южан.

Русский язык богат и красочен, но кое-что надо систематизировать. Нужно вставить в рамки, но не нужно рамки сужать, они должны быть просторными, даже ноге вредно, если башмак узок, а для языка тем хуже...

Есть капризы языка, которые нельзя подвести ни под какое правило. Приехали из Гаванны, долго жили на Кубе, бывал на Кавказе и жил одно время в Альпах; эта раковина с острова Таити, называется каури... В одном случае на, в другом в, в одном случае из, в другом с. Никак нельзя объяснить почему именно так, но так должно быть, и это ясно для русского уха и глаза.

Детей называют теперь ребятами, а в былые времена командир или даже сам царь приветствовал войска — «здраво ребята!» и это чисто по-русски. Дети не ребята, у меня никогда ни тех, ни других не было, но я очень обиделся бы если бы моих детей называли ребятами. В былое время спрашивали и спрашивают теперь: «сколько у вас детей?», но не сколько ребят, называть детей ребятами это нарочитое стремление огрубить русский язык, ведь даже теперь называют «детский приют», а не ребячий приют.

Нет ясной грани между живой и мертвой природой, но есть определенная черта между человеком и всем остальным живым. У человека есть чувство любви, какого нет у животных, нужно кого-то любить, иначе это не человек, а животное, и можно вот любить свой родной русский язык и постоянными мыслями о совершенствовании его наполнять пустоту жизни. Культурность человека прежде всего определяется богатством и ясностью его языка. Кто логично мыслит, тот логично и говорит, иначе это пустая болтовня и в былые годы много потрачено времени на эту болтовню, особенно она свойственна русским.

МИСТИКА ДОМОВ

Уже давно, тихонько, даже мелодично, но совсем не-понятно гудит эта дверь в моей спальне. Не знал даже что это гудит дверь, какая-то ночная эолова арфа, эолова арфа издает звуки при ветре, а эта без всякого ветра, как понял теперь, от малейшего дрожания земли или воздуха, от прошедшего вдали поезда или пролетевшего аэроплана.

Дом, где я живу около Парижа — на берегу Сены, старый с толстыми стенами, каких теперь не строят. Здесь было когда-то многое причуд и фантазий, кое-что осталось, но многое истлело, облупилось, обвалилось и совсем развалилось. Дом этот построен на русские деньги в начале семидесятых годов знаменитой опереточной ди-вой, блиставшей тогда в Петербурге. Некрасов в своей поэме «Современники» отводит довольно много строк восхищения и иронии Анне Жюдик. Известный театрал, директор Горного Департамента, долголетний сотрудник «Нового Времени», Скальковский, в одной из своих книг точно устанавливает, что Анна Жюдик в первый приезд увезла из Петербурга бриллиантов больше чем на сто тысяч, а сколько во второй — точно не установлено...

На эти русские деньги она купила разрушенное поместье в Шату, в двенадцати километрах от центра Парижа.

В 1871 году здесь были немцы, осаждавшие Париж и французы с Мон-Валерьен обстреливали Шату из пушек, почти все здания были разрушены, мосты через Сену взорваны, немцы в Париж не вошли.

Анна Жюдик облюбовала это место и на развалинах прежнего выстроила новый дом, а затем он переходил к ряду владельцев из артистического мира. Тут родился ки-

нематографический артист Макс Линдер, жил художник Фламенк, жила известная артистка Сесиль Сорель, родственница Жюдик, часто бывал Мопассан — напротив, через Сену, была известная тогда «Гренуйер» с ресторанчиками и наемными лодками, это было любимое место Мопассана, описанное им в двух его произведениях.

Последней артисткой, владевшей домом, была тоже известная Фальконети, у которой был свой театр в Париже; она очень широко жила, было четыре садовника, два шоferа, яхта у своей пристани на Сене, в саду фонтаны, каскады, большая вольера, статуи и вазы, тут были замешаны тоже поклонники таланта и женственности, конца не было капризам и причудам — но время идет, все кончается, она обанкротилась, замкнула дом и уехала, не выпустивши даже воду из водопроводных труб и из проводки отопления, зимой все замерзло и лопнуло, вода потекла по стенам обитых шелком, паркеты растрескались и покоробились, дом был продан с аукциона...

Фальконети уехала в Аргентину, там умерла. К нам как-то позвонила у калитки молодая барышня, просила разрешения войти в дом — «дочь Фальконети, только что приехала из Буэнос-Айреса», ей хотелось видеть те комнаты, где она провела детство. Ее пригласили, она обошла дом и сад, прослезилась и уходя сказала:

«Как удивительно, мне казалось, что такие были большие комнаты, а теперь они совсем небольшие...»

Комнаты остались прежние, но то, что кажется очень большим в детстве, становится иногда маленьким для взрослого, а иногда бывает наоборот.

Эта двойная дверь, одна из затей Фальконети и случилось так, что она теперь в моей спальне и что мы живем в доме, построенном на русские деньги и этим дом особенно мил. Когда по ночам двойная дверь начинает издавать свои таинственные звуки, мне чудится, что кто-то из прежних обитателей дома хочет что-то сказать и я стараюсь понять, и как будто иногда понимаю...

РАЗГОВОР О ЧЕРТЯХ

«Черт бы все это побрал, зачем я влез в эту глупую историю?.. а он к сожалению не возьмет, потому что нет чертей» — сказал первый собеседник, он же хозяин.

«Вы так сказать категорически решили, что чертей не существует?» — спросил второй.

«А вы уверены, что они есть, очень завидую вашей убежденности, я сожалею, что их нет. Подумайте как потеряла бы мировая литература и даже все искусство, если бы исключить всякого вида чертей, ведьм и других несуществующих существ. Сколько их, этих существ, созданных фантазией человека, сколько разновидностей. Недавно один антропософ и оккультист сказал мне, что нельзя говорить вообще о чертях, все они различны, и у каждой разновидности свои функции, и это давно отмечено и в литературных произведениях и в Священных Писаниях. Демон не то что черт, Сатана это не то что Люцифер или Вельзевул, или Асмодей, но я складываю всех их в одну кучу вместе с ведьмами, вампирами, инкубами и суккубами, под общим названием черти».

«А так нельзя, я так сказать только на-днях узнал из советской Энциклопедии, что Вельзевул это повелитель мух, и об этом сказано в Библии, не указано в какой книге и в какой главе, надо будет найти» — улыбаясь возразил собеседник.

«Все равно для ясности и упрощения вопроса я все это именую чертями, и вот подумайте сколько прекрасного, незаменимого, такого интересного и всеми принятого ушло бы из литературы на всех языках. Уже «Фауста» не было бы. Какой же «Фауст», если нет черта Мефистофеля? Не было бы «Потерянного Рая» Мильтона, где ведется такой интересный спор между Богом и Сatanой, по-

бледнел бы шекспировский «Макбет», потому что не могло быть предсказания ведьм, что лес пойдет на него... Гомер обошелся без чертей, у него всякие другие фантастические существа, боги и полубоги, при этом как будто все они бессмертны. И вот, я не знаю, например, фавны, они тоже были бессмертными. Нельзя было убить фавна, и стрелы Амура никого не убивали, только приносили любовные желания. Терпешних чертей еще тогда не было, их выдумали позже.

Сколько пропало бы у русских писателей, ушли бы все «Вечера на Хуторе близ Диканьки», «Миргород» и даже не было бы окончания для гоголевской «Шинели» и «Портрета», у Достоевского Иван Карамазов не мог бы разговаривать с чертом, а это такой важный эпизод в «Братьях Карамазовых». У Пушкина чертей мало, только кусочек «Фауста» и еще кажется в одном маленьком стихотворении, но зато целиком пропал бы лермонтовский «Демон» и даже мудрому Льву Толстому, больше склонному к ангелам нежели к чертям, пришлось бы кое-что вычеркнуть.

Почему-то совсем нет чертей у Тургенева, только в небольшом «Рассказе Отца Алексея», сын которого увидел в лесу зеленого стариичка, а потом выплюнул и растер ногой причастие, но нельзя приписывать всякое бредовое явление или галлюцинацию бедным чертям. Совсем нет чертей у Максима Горького, нет даже у Леонида Андреева, потому что Некто в Сером в «Жизни Человека» вовсе не черт, это скорее рок, судьба, и у Куприна нет нигде чертей, его замечательная «Олеся» несомненно общается с какими-то тайными силами, но прямо черта нет. Скандинавские писатели склонны к мистике и гаинственному, но у Ибсена тоже нет чертей. Гномы, эльфы и скандинавские троллы это ведь не черти, они ничего злого не делают и не толкают людей на пакостный поступок, а пуговичник в «Пер Гинте» это тоже не черт, это какой-то блеститель мирового порядка, переливающий как бракованные пуговицы неподходящих людей...

Вот у Гауптмана в «Потонувшем Колоколе» есть водяной или леший, который кричит из колодца «брэ-ке-ке-ке» и без него пьеса много потеряла бы, но зрители его

не видят и может быть это не настоящий черт, а просто воображение окружающих, слуховая галлюцинация... Сколько пропало бы превосходных так необходимых и ценных сказок у разных народов, очень скучно было бы без чертей, а вот я, к сожалению, перестал верить в их существование, хочу вернуться назад, снова поверить, но пока еще не дошел...»

**

Позвонили у калитки, залаял полупудель Бокс и в кабинет вошел уже весьма пожилой человек. Хозяин приветственно встал ему навстречу, хотя видимо был удивлен его приходу.

«Здравствуйте, здравствуйте, давненько не были, где вы пропадали?... Не угодно ли сигару, мы вот курим тут, подарили мне несколько гаванских сигар, сам теперь не покупаю, очень дороги. Не курите, я забыл, вы ведь философ и богослов и кажется склонны к аскетизму?»

«Нет я совсем не аскет, когда-то курил и не был врачом алкоголя, но такой непорядок в легких, что курить эскулапы решительно запретили. А я входя подслушал, что вы тут о чертях говорите, первый дом такой встречаю. Куда ни придешь, везде о политике, о Хрущеве, о Кеннеди и особенно о де Голле...»

«Да, мы о чертях говорим, и вы очень кстати как философ и богослов. Ведь все Священное Писание переполнено чертями».

«Нет, черти появились собственно только в христианском учении, раньше были добрые и злые боги, но просто чертей не знали».

«Это очень интересно и вот вопрос: а вот этот змий, что соблазнил Еву, из-за чего наши прародители были изгнаны из рая и родился первородный грех, так вот этот змий, это кто был сам Сатана или какой-то подчиненный черт?»

«Вы касаетесь как раз самого трудного богословского вопроса. До сих пор не установлено, как нужно толковать этого змия, слова черт или Сатана в Ветхом Завете нет».

«Очень интересно, как вы кстати пришли. И особенно интересно слышать от такого знатока как вы, что черти

появились только в христианском учении. А вот еще вопрос специалисту, как ученые богословы относятся к древним богам греческим и римским?»

«Христианское богословие считает, что этих вымыщенных богов понятно никогда не было, и вся древняя мифология просто сказки, хотя бы и весьма поэтичные».

«Значит вся мифология египетская, вавилонская, индусская, шинтоистская — все сказки, все наスマрку и только древне-еврейская принята христианскими богословами?»

«Да, так выходит и иначе быть не может» — ответил специалист, хотя не совсем уверенно и подумавши добавил:

«Насколько я знаю по прежним разговорам, вы придаете громадное значение всяким религиям и считаете, что какие-либо запреты или гонения на религиозные верования только недомысле правителей, а для того чтобы поддерживать веру не надо ставить никаких колючих ненужных вопросов, нужно просто верить, не сомневаясь» — сказал это уже совсем убежденно.

Разговор о чертях еще долго продолжался, но так и не пришли к окончательному выводу, есть ли действительно черти и нужно ли их делить на разные разновидности. Последней заключительной фразой были слова хозяина:

«Мы вот этот разговор с приятелем начали с того, что я пожалел, что потерял веру в чертей, и совершенно серьезно могу сказать, что очень сожалею об этом и постараюсь снова в чертей поверить, с чертами жизнь забавнее, интереснее, уютнее, и есть на кого сваливать вину за свои мерзкие поступки».

ЗАБЫЛИ ЧЕЛОВЕКА

Если древнюю египетскую пирамиду, еще более громадную чем пирамида Хеопса, представить себе состоящей сплошь из людей, то внизу неисчислимые массы, а на самом верху только маленькая площадка и на ней могло бы уместиться только полсотни людей. На нижних и средних площадках громадная толпа и каждому в этой толпе видно только в одну сторону горизонта, даже если рядом стоящие не заслоняют вовсе все окружающее.

В периоды расцвета культуры в древние времена были люди, философы и ученые, обладавшие всеми знаниями, какие были тогда, знаний было еще так немного, что за годы их можно было все воспринять — теперь это невозможно; количество знаний так велико и культурная жизнь так усложнилась, что неизбежно явилась специализация, и даже избравши какую-нибудь отрасль знания, еще и в ней нужно выбрать определенную часть, еще больше специализироваться. Все меньше духовной элиты, пилотов человечества, все специалисты, часто совсем невежественные в других областях.

Основание человеческой пирамиды все ширится, пирамида быстро растет, но не в высоту, а вширь и на верхней площадке совсем пусто. А ведь только стоящие там и ценны для прогресса человеческой мысли и совершенствования людей, только им видно во все стороны горизонта.

Если население нашей планеты будет безудержно расти, если прогрессом мы будем считать завоевание механики, ускорение передвижений, производственные и спортивные рекорды, то человечеству грозит в недалеком будущем страшная катастрофа. Всеобъемлющие математиче-

ские формулы не разрешат вопроса, даже оздоровление человеческого тела ничего не даст, нужно оздоровление духа и какими путями придти к этому, не мне судить, я не стою на верхней площадке пирамиды, но кто-то должен там стоять, и только тогда человечеству предстоит лучшее будущее.

О СТАРОСТИ

Самая совершенная машина из наиболее стойких материалов, при самом правильном уходе, все-таки изнашивается: то же и с человеческим организмом, но все-таки человек совсем не машина, ничего общего с ней не имеет. Машина мертвая, а человек живой, и здесь незасыпаемая пропасть, есть много и других живых существ, но человек стоит совсем особняком, у него есть психика, творческое мышление, сила воли...

Не атлеты, геркулесы, чемпионы спорта, боксеры тяжелого веса были нужными отметными и яркими людьми, и даже долговечностью не отличались. Много больших и ярких людей были болезненными и хилыми, малого роста, даже непривлекательной внешности, вроде Сократа. Если Гомер действительно существовал, то он был слепым, Мильтон несомненно уже слепым написал свои лучшие произведения, также Аксель Мунтэ. Чехов все годы талантливого творчества кашлял кровью, Достоевский с ранних лет страдал от ауры, это преддверие падучей болезни, и ожидание ее висело на нем тяжелым грузом, но это не помешало ему создать мировые произведения. Александр Македонский был очень слабого сложения, аDarwin подолгу не вставал с постели в годы творческой работы. Гений музыкального творчества, стоящий на верхней ступеньке лестницы композиторов, Бетховен, был глухим: парадоксально, невообразимо, но несомненно так. Не может быть автомобиля без колес, но человек не машина и может слышать звуки без слуха. Мышление, творческая мысль, сильная воля отличают человека от всего остального и долго борются со старостью.

В машине можно менять запасные части, до извест-

ной степени это возможно и человеку, стекла для глаз, искусственное усиление слуха, вставные зубы и целые челюсти, и даже кости или тележка, в которой можно передвигаться с места на место — и мышление остается.

Есть в старости и свое приятное — нет больше несбыточных планов, уже не лезешь вверх по социальной или иной лестнице, нет химерических надежд, а потому и больших разочарований, сел уже в колечко, примирился, и в этом много прелести. В умеренных климатах осень тоже приятное время, даже уже совсем накануне зимы. У деревьев завидно лучше, на зимы засыпают, облетают все листья, а весной снова почки, новая свежая зелень, новая жизнь до осени. У нас хуже, все только один раз, когда листья завянут, засохнут и облетят, уже конец, повторения не будет. Разве что у тех, кто верит в перевоплощение, это счастливые натуры и не нужно разуверять их... А скептикам, перевоплощения неприемлющим, нужно как можно полнее использовать это воплощение.

Но чтобы старость была не медленным умиранием, а действительно приятным периодом жизни, нужно к ней подготовиться: много впечатлений, много знаний, умственный багаж, большой чемодан или даже багажный вагон, в котором потом можно рыться, что-то находить, вспоминать и интересоваться новым в дополнение к тому, что уже знаешь. Чем больше знаешь, тем больше интересного находишь.

Когда старик выходит в отставку ему скучно жить, и эта скуча хуже всякой хвори и прочих неприятностей.

Слово «скуча», крайне важное слово, недооцененное, скуча часто хуже всяких болезней, из-за скучи старики ссорятся в старческих домах, озлобляются, и вот большой запас знаний — единственное лекарство от этой скучки.

Вся наша культурность или некультурность состоит из прошлого, что за жизнь слышали, видели или читали, из этого и сложилась наша личность. Отрицать прошлое это отрицать самого себя, нельзя от него уйти. Я сам несколько раз критиковал, что все пишут воспоминания, это им самим интересно и никому другому, но это неверно,

прошлое живет в нас, мы из него сформированы и нет никакого нового человека, все тот же самый, с той же печенькой и селезенкой, с теми же эмоциями и функциями организма, а что обстановка изменилась, так это нисколько не изменило самого человека, все тот же и попрежнему есть только приятное и неприятное, а хорошо или плохо это понятия растяжимые, неопределенные...

ЕДИНСТВЕННОЕ НЕСОМНЕННОЕ

Желания, планы, надежды выполняются редко, только тогда когда они вполне возможные, что-нибудь маленькое. Но и в таких случаях выполнение их нами же подготовлено логичным мышлением, какой-то долгой работой, а иначе рассчитывать на случай и на нем строить свою жизнь — катастрофично. Самое верное, самое логичное предположение может оказаться неверным — ничего не случится или случится совсем обратное и только одно предположение всегда верно, неизменно, никаких исключений...

В национальной лотерее два миллиона билетов и на один из них непременно падет главный выигрыш, кто-то выиграет, это случай, но он все-таки тоже подготовлен, куплен билет, без него нельзя было бы выиграть. Можно рассчитывать на любой самый невероятный случай, кроме одного, общего для всех — избежать смерти. Такого случая быть не может, ни одного из миллиона, ни одного из миллиарда.

Чем умнее человек, чем мысли его глубже, тем чаще он думает о смерти. Эта мысль всегда живет у человека, иногда он забывает, отгоняет ее, но в какие-то минуты она опять появляется. Одним она приходит только в известном возрасте, а у других с детства.

В последнее время критики западного мира как бы с грустью отмечают, что в литературных произведениях все больше мыслей о смерти, некоторым это кажется странным, а так и должно быть, иначе недомыслие.

Бунин был иногда очень словоохотлив, но стоило только упомянуть смерть, как он сердился и даже ругался, а о смерти все время думал, что ясно читается между строк его произведений. За несколько дней до смерти, уже

безнадежно больной, неделями привязанный к постели, он написал мне длинное письмо, почему-то красными чернилами, узнавши, что у меня тоже бессонница, приглашал приехать вечером к нему и просидеть ночь в разговоре — но о смерти в этом письме не было ни слова.

У некоторых людей эта мысль остается скрытой, о ней никому не говорят, не записывают, но все равно она с нами. Самыми откровенными людьми оказываются писатели, самый болтливый человек, постоянно рассказывающий о своих переживаниях, впечатлениях, о всем случившемся с ним, все-таки что-то утаивает, не совсем все рассказывает, а писатель под видом мыслей своих героев обнаруживает самые глубокие тайники своей души, полагая, что читатель не отнесет это к нему самому, а только к выдуманному им персонажу.

Бунин именно меня приглашал, так как знал по многим прежним разговорам, что я о смерти говорить не стану, а буду уверять его, что все пройдет, поправится, мало ли таких случаев, что человек серьезно болен, врачи махнули рукой, а он потом живет двадцать лет...

Мой старый приятель известный петербургский адвокат Андреевский всю жизнь писал одну книгу, «Книга о Смерти», получилось два тома. В книге было много обычных переживаний и размышлений о здешних интересах, даже об увлечениях, много о женщинах, но книга называлась «Книга о Смерти», он любил жизнь, искал впечатлений, и мысль о смерти заставляла его торопиться в преклонном уже возрасте.

Другой мой близкий приятель Н. Д. Авксентьев, яркий человек, всех располагавший к себе, замечательный оратор, тоже очень любил жизнь и тоже боялся смерти, но относился к ней по особенному: любил ходить на похороны, у себя дома по утрам напевал мотивы из чина похоронения, даже любил говорить о покойниках, но не раз как будто совсем серьезно и откровенно говорил мне, что в нем живет уверенность жить очень долго, и даже никогда не умереть... Я посмеивался, не понимал его любви к похоронным мотивам, но он продолжал уверять, что не шутит... Но так или иначе и его уже нет, как и многих, многих других, с которыми проходила жизнь.

РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ

Не радостны слепого дни, да впрочем дней и нет
Что день что ночь, одно и то же — тоскливо, одиноко,
Нет примирения и вдруг протест —
Против кого, к кому возможно обратиться за защитой?
Кто видит, не поймет слепого и объяснить ему нельзя
При всем желаньи.

Важны и слух и обонянье, но стократ важнее зренье,
Когда оно ушло слепой и в общем мире не живет
Мирок свой у него совсем с иным мышлением, чужим
для зрячих,

Теперь он как бы человек нездешний.
Нет дней или ночей, и солнца нет, луны и звезд,
Нет светлого, нет темного — как хорошо и ламп не
нужно и свечей,
По звуку только можно знать зажглась ли чиркнутая
спичка — не для света,
Зажечь сигару, но брызнуло от спички, горит халат
По запаху понятно, скорее потушить, вот тут,
отсюда дым!...

三

Привычно руку протянул, взял верхнюю, погладил
переплет,
Раскрыл заглавный лист, чтобы названье видеть,
вдруг вспомнил что слепой
Обратно нервно сунул книгу и гневный жест рукой,
Мизерный жалкий гнев, так просто, ты слепой
и это помни.
Ты с книгами провел две трети жизни, а вот теперь
они мертвы!
Нет, книги живы и будут жить, а ты полумертвец
и помни это,
Лишь с помощью другого ты можешь с книгой
другом быть, как прежде...
Слепой любил цветы, теперь остались только те,
что сильно пахнут.
Деревьев тоже нет, одни стволы что тронуть можно,
а крон не видит...
Вот помню вековой платан, назад лет двадцать
обрубили толстый сук,
Но выросли другие, какой теперь он формы мне
хотелось знать
Но не узнаю никогда...
Снять можно с нескольких сторон и даже в точных
красках,
Но для чего, бесцельно, нет фотографий для меня!



В Платоновой пещере были только тени,
но у слепого нет и теней!
Мирок его из звуков, запахов, прикосновений
и мыслей, мыслей без конца
Одна другую тянет и часто ночью не заснуть...
Август, летают паутинки, на каждой — паучок
И всякий человек его увидит, слепых не так уж много
Вот паутинка нежно прикоснулась к руке или к лицу,
слепому так приятно
Что приобщился к общей жизни, хотя не видит
паучка.
Как будто полной тишины нигде нельзя найти,

Быть может там, высоко, в космосе,
где атмосферы нет,
Геройски смелый космонавт наверно слышит
пульс свой —
Ведь абсолютной тишины как будто нет нигде?...
Когда-то это было, уж давно, в Египте, в Ассуане.
Отель роскошный «Катаракт», среди песков пустыни,
Спуск плавный к Нилу, где ночью я сижу в саду чтоб
слушать тишину.
Лишь изредка вдали шакал завоет,
Ищет падаль — нет даже ветерка и не шуршит песок,
И все-таки нет полной тишины, и может быть
страшна такая тишина?...

**

А эти паучки на самодельных паутинках,
Их гонит ветерком, летят туда куда он дует, а не туда
где больше комаров и мошек —
Желанье двигаться, другое что-то видеть и людям
часто так, им лишь бы ехать...
И я когда-то ездил много, но нет поездок для слепого,
Как нет красивых зданий, нет дворцов и нет
пейзажей, водопадов,
Нет ровно ничего, лишь звуки, звуки, звуки и запахи...
В автомобиле перегар бензина, нет вида из окна,
мучительна поездка.
«Хлеба и зрелиц»: древний лозунг — хлеб есть
но зрелиц для слепого нет...
Величественный храм Петра, когда-то видел я его
и снова входишь;
Совсем другое, только эхо и запах ладана,
величие ушло,
В громадном куполе Бог-Саваоф, но чуда нет —
слепой его не видит...
Пешком взбираются на крышу храма, откуда виден
древний Рим,
Широкий горизонт, но ничего нет для слепого,
открытку разве
Послать отсюда можно с ключами рая, что на марке,

2

Жизнь слепых снаружи только знают, порой она
смешна, порой жалка,
А чаще безразлична для других, но мир внутренний
слепого
Никто не описал и зрячий самый умный описать
не может.
Ведь были же писатели слепые и ни один нигде не
записал свои переживания.
Начать хотя бы с древнего Гомера, его всегда слепым
изображают,
Был он один иль несколько Гомеров, а он слепой
собрал все вместе
И получились Илиада и Одиссея, но в них нигде
о слепоте.
А Одиссей Циклопу выжег глаз, но это третий глаз,
глаз мудрости,
Без глаза мудрости он поглупел и Одиссей бежал
в барабанной шкуре.
И Мильтон тоже был слепым и лучшее он написал
уже при слепоте
Но у него нигде ни слова о том что чувствует слепой.
У Диккенса слепая, полна любви и ласки, но наивна,
смешна, жалка.
Она слепая от рожденья — это совсем другое,
и нет потерянного рая,
Даже чистилища, и там был свет и тени,
она ж не знала их...
Слепым был Аксель Мунтэ, талантливый писатель,

При этом доктор медицины и лучшее свое слепым
уж написал —
И тоже к удивлению о слепоте нигде ни слова!
У Мопассана рассказик о слепом, ушел из дома,
с дорожки сбился,
Шел снег, морозило и много позже нашли на поле
ледяную кочку,
А в ней слепого труп: никто не горевал, слепой
всегда обуза.

Умнейший человек с большим талантом,

Герберт Уэллс

Написал объемистую повесть «В Стране Слепых».

Слепым он не был, но проник в мирок слепого,

однако многого не понял.

Но вот писатель и слепой впервые описал слепого...

Самодовольная улыбка, ненадолго, никто улыбки
этой не видал.

Невзгоды есть у всех, и даже горе легче если
поделиться,

Кому-то рассказать, хотя ему и безразлично
Но тут с самим собою поделился своей печалью
неизбытной.

Трагедия слепого для зрячего скучна,
Но для него быть может утешение: какое счастье
зрячим быть!

**

Он приехал читать свои новеллы, скучновато было
слушать,
Он увлекся, последний поезд пропустил,
остался ночевать.

Я рано встал, уже сидел за кофе, когда вошел он:
«Какая за ночь перемена, все покрыто толстым слоем
снега
Блестящей белой пеленой, на листьях тоже снег,
какая красота!»

Комок поднялся в горле, спазма горло сжала,
я молчал,
Хотел взять чашку кофе, но не мог, рука дрожала,

Он что-то говорил, но я не отвечал, и он уехал
не понявши что со мною,
Решил должно быть что причуды старика.
Я утром как всегда смотрел в окно зачем-то и видел
сад
Я ничего не видел, но в воображеньи был сад зеленый
«Какая красота!» ее нет больше для слепого
и не будет
Искать какую-то другую надо, в себе самом быть
может.

**

Но кто был зрячим, тот знает краски и оттенки,
а что теперь он видит?
И не темно и не светло, ни серо, ни туманно,
Нет линий, блесток, пятен, нет движенья никакого,
Нет даже молний и зигзагов при ударах грома,
нет ни-че-го!
Ничто — какого цвета? Как рассказать другим
что кажется слепому
Когда и для себя нет слов, чтоб как-нибудь назвать.
Тоскливо, безнадежно и с этим надо жить, пока
захочешь...
Вот в сновиденьях есть и очертания и краски:
об этом написал еще Шекспир,
Так думать Гамлета заставил: так может быть уснуть
скорей,
Надолго, навсегда, там будут сны?
Но несмотря на все живешь и даже дальше хочешь
жить...

О ГЛАВЛЕНИЕ

ПОРТРЕТЫ НЕОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ:

	стр.
Автопортрет	7
«Сверхчеловек» наизнанку	10
Орден Балетоманов, Кшесинская	34
А. С. Суворин — «Новое Время»	49
Юрий Беляев	64
А. Амфитеатров	68
Человек, который всё знал	69
Капризы рока, А. И. Гучков	80
Журналист Шебуев	91
В. Регинин	95
Семейный портрет без ретуши	97
Таланты капризны и с причудами	105
Легендарный авантюрист корнет Савин	108
«Художник» Мясоедов и другие	114
Разговор со старым революционером	119
Талант во власти призраков	124
П. И. Балинский и его придворный шут	130
Н. В. Брянчанинов	141
Академик Н. И. Вавилов	143
П. Боранецкий	146
И. И. Колышко — «Баян»	151
Человек с тезой — Профессор А. А. Пиленко	158
Ошибки, заблуждения и обман	166
Самый странный писатель, какого знал	171
Бальмонт	183
О Бунине (Из старых записей)	189
Тэффи и другие ушедшие	198

ОЧЕРКИ И НАБРОСКИ:

Журнал «Столица и Усадьба»	241
Разговор с Ю. Н. М.	253
Из прошлого	256
Капризы мысли	259
Нечто метеорологическое	262
Фельетонные записи	265
Гестапо	268
Русский Язык	277
Мистика домов	280
Разговор о чертях	282
Забыли человека	286
О старости	288
Единственное несомненное	291
Разговор с самим собой	293

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

- «ЗДЕСЬ» — Харьков, 1909 (книга конфискована)
«О ПРОЧЕМ» — Петербург, 1912 (четыре издания)
«В СТРАНЕ ЛЮБВИ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ» — Петербург,
1914 (два издания)
«ЧТОБЫ ЖИЗНЬ НЕ БЫЛА ТАК ПЕЧАЛЬНА» —
Петроград, 1917
«БОГОМОЛЫ В КОРОБОЧКЕ» — Берлин, 1921
(два издания)
«СТРАННЫЕ РАССКАЗЫ» — Берлин, 1922
«ГОРОД СФИНКС» — Берлин, 1922
«РАДОСТЬ БЫТИЯ» — Берлин, 1923
«ДЕТСТВО АРИСТАРХОВА» — Берлин, 1924
«СЕГОДНЯ» — Ленинград, 1925
«БОГ И ДЕНЬГИ» — Берлин, 1926 (два тома)
«МОНТЕ-КАРЛО» — Берлин, 1927
«ЛЮДИ В ПАУТИНЕ» — Берлин, 1930
«БАРБАДОСЫ И КАРАКАСЫ» — Берлин, 1932
«СИДОРОВО УЧЕНЬЕ» — Берлин и Париж, 1933, 1950
(четыре издания)
«ХОРОШО ЖИЛИ В ПЕТЕРБУРГЕ» — Берлин, 1933
«ДЬЯВОЛЕНOK ПОД СТОЛОМ» — Берлин, 1933
«ФУГА» — Париж, 1935
«МИЛЛИОН» — Париж, 1936
«ОБРЫВКИ МЫСЛИ» — Берлин, 1937
«ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА АЗАРА» — Париж, 1938
«В ЦАРСТВЕ ДУРАКОВ» — Париж, 1939
«СЕНСАЦИЯ ГРАФА АЗАРА» — Париж, 1940
«ФЕНЬКА» — Париж, 1945
«ДРОЗОФИЛЫ И МЫ» — Париж, 1947
«МОЖЕТ БЫТЬ» — Париж, 1949
«ЗАВЕЩАНИЕ МУРОВА» — Нью-Йорк, 1960
«ГОЛОСА ГОРНОЙ ПЕЩЕРЫ» — Буэнос-Айрес, 1966

«СТОЛИЦА И УСАДЬБА» — Петербург, 1913 - 1917

Иллюстрированный журнал совершенно нового типа, был основан автором и он же был единственным издателем и редактором, в каждом номере его статьи. Журнал закрепил некоторые черты былой русской жизни, культурной, приятной, красивой, хотя и не всем доступной, навсегда ушедшей, разрушенной революцией. Выискивались мемуарные записи из семейных архивов, старые альбомы, фотограф журнала ездил по России, делая снимки старинных усадеб, обстановки, росписи, отдельных художественных произведений. Журнал этот теперь библиографическая редкость.



ACHEVE D'IMPRIMER SUR
LES PRESSES DE LA SOCIETE
D'IMPRIMERIE PERIODIQUES
ET D'EDITIONS, 32, RUE DE
MENILMONTANT, PARIS (20^e)
EN AVRIL 1971.

